



Варлам
ШАЛАМОВ
Воспоминания

Мемуары

Мемуары

Варлам ШАЛАМОВ

Воспоминания



ИЗДАТЕЛЬСТВО
Олимп Астрель
Москва
2001

УДК 882/98-94
ББК 84(2Рос-Рус)6
Ш18

Серийное оформление
Власов С. Е.

Компьютерный дизайн
Барков С. В.

Подготовка текста и комментарии
И. П. Сиротинской

Шаламов В. Т.

Ш18 Воспоминания. — М.: «Издательство «Олимп», «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2001. — 384 с.

ISBN 5-17-004492-5 («Издательство АСТ»)
ISBN 5-8195-0165-9 («Издательство «Олимп»)
ISBN 5-271-01411-8 («Издательство Астрель»)

В этом уникальном издании собраны воспоминания Варлама Тихоновича Шаламова — поэта и прозаика, чье творчество стало откровением для нескольких поколений русских читателей. Детство, юность, участие в литературной жизни Москвы 20-х годов, арест, лагеря, возвращение. Кристальная честность и взыскательность к себе отличают автора этих воспоминаний. Значительная часть материала публикуется впервые.

УДК 882/98-94
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 5-17-004492-5 («Издательство АСТ»)
ISBN 5-8195-0165-9 («Издательство «Олимп»)
ISBN 5-271-01411-8 («Издательство Астрель»)

© И. П. Сиротинская, 1989, 2000
© «Издательство «Олимп», 2000
© «Издательство Астрель», 2000

Несколько моих жизней¹

Я пишу стихи с детства. Мне кажется, что я писал стихи всегда. И все же...

Мне пятьдесят семь лет. Около двадцати лет я провел в лагерях и в ссылке. По существу, я еще не старый человек, ибо время останавливается на пороге того мира, где я провел двадцать лет. «Подземный» опыт не увеличивает общий опыт жизни — «там» все масштабы смешены, и знания, приобретенные «там», для «вольной жизни» не годятся. Мне не трудно вернуться к ощущениям детских лет. Колыму же я никогда не забуду. И все же это жизни разные. «Там» я не всегда писал стихи. Мне приходилось выбирать между жизнью и стихами и делать выбор (всегда!) в пользу жизни.

Я хорошо помню Первую мировую войну, «германскую» войну, телеги с новобранцами, пьяными, «Последний нынешний денечек», немецких военнопленных, переловивших

¹ Впервые: Стихотворения. М. 1988.

всех городских голубей. С 1915 года голубь перестал считаться священной птицей в Вологде. Оба моих брата были на первой войне. Второй брат, красноармеец химической роты, убит на фронте во время гражданской войны. Отец ослеп после смерти сына и целых тринадцать лет еще жил — слепым...

Случилось так, что в жизни моей не было человека, который открыл бы мне поэзию, русскую поэзию, который прочел бы со мной живым языком живые стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова. Я двигался ошупью от книги к книге медленным и неэкономным путем. Хлебников стал моей потребностью раньше, чем Пушкин, Северянин — раньше, чем Блок, раньше Асеев, чем Анненский. Не говоря уже о вершине русской поэзии — Тютчеве. Не было в моей юности человека, который научил бы меня любить стихи. Этим человеком бывает школьный учитель, старший брат, отец, мать. Мама моя могла бы это сделать, как я догадывался позже, когда думал о ней уже после самой последней разлуки. Мама моя была человеком крайне тонкой нервной организации. Помню, она не могла сдержать слез, слушая музыку — всякую музыку, не исключая и самой бравурной. Симфонический оркестр, рояль и скрипка приводили ее в трепет, почти к истерии. Мама моя знала бесконечное количество стихов — главным образом классиков. Всевозможные стихотворные цитаты хранились в маминой памяти на все случаи жизни, — я думаю, что стихи играли в ее жизни роль очень большую и вполне реальную.

Стихи в маминой памяти закреплялись как жизненные

наблюдения, но не как музыкальные аккорды. Мама и не пыталась понять тайну воздействия искусства на человека.

Не отличая минора от мажора, мама плакала. Тогда было время явления детекторных приемников, гигантских антенн. Я хотел поставить ящик с наушниками в комнату мамы.

— Нет, нет. Я буду целый день плакать.

Через много лет мне рассказывал Пастернак, что не может в кино смотреть крупный план — слезы текут неудержимо.

— Лошадь какую-нибудь покажут в кинохронике, а я реву навзрыд.

Внезапные слезы взрослого человека не такая уж редкость...

Я хорошо помню февральскую революцию — как легко рухнул огромный чугунный орел, повязанный канатами и сорванный с фронтона мужской гимназии.

Помню и октябрьский переворот — в Вологде более будничной, чем свержение самодержавия, но в то же время и более значительный по разговорам взрослых, по тревоге общей...

Я хорошо помню Кедрова — командующего фронтом, помню его вагон. Помню латышей — в синих галифе, танцующих в городском саду без дам, друг с другом...

Едва кончив готовить уроки, я принимался за таинственную игру... шепками, спичечными коробками и разыгрывал про себя Гоголя, Пушкина и особенно Гюго и Александра Дюма...

Этот театрализованный пересказ всего прочитанного

длился все детство. Отцовский книжный шкаф всегда был в моем распоряжении. Впрочем, Александр Дюма был не из этого шкафа.

В 1918 году были конфискованы помещичьи библиотеки и создана на месте городской тюрьмы в центре города рабочая библиотека. Год знакомства с этой библиотекой был очень ярок для меня. Дюма, Конан Дойль, Майн Рид, Виктор Гюго — все в золотых переплетах — ждали меня каждый день. Я читал и переигрывал все прочитанные романы подряд.

Помню бывшие в большой моде антирелигиозные диспуты. Я сам был участником этих диспутов. Мой отец — слепой священник — ходил сражаться за Бога. Сам я лишен религиозного чувства. Но отец мой был верующим человеком и эти выступления считал своим долгом, нравственной обязанностью. Я водил его под руку, как поводырь. И учился крепости душевной...

В 1926 году был впервые объявлен прием в вуз по свободному конкурсу. Была, стало быть, возможность проявить себя и получить высшее образование.

Два года работы дубильщиком на кожевенном заводе (в г. Сетуни, под Москвой) и ликвидатором неграмотности не могли сказаться благотворно на успехах моего конкурсного экзамена...

Надо было жить экономно, пробыться лето, проучиться до осенних экзаменов, ничего не покупать, найти дешевую столовую, за квартиру не платить, достать билет в библиотеку, а главное — поступить на курсы подготовки в вуз.

Курсы были платные и довольно дорогие — что-то руб-

лей сорок мне пришлось отдать за право учиться на них. На этих курсах можно было и ночевать — на тех же столах, где мы учились...

Я был принят в университет...

Москва тогдашних лет просто кипела жизнью. Вели бесконечные споры о будущем земного шара...

В Московском университете, сотрясаемом теми же волнами, диспуты были особенно остры. Всякие решения правительства обсуждались тут же, как в Конвенте...

То же было и в клубах. В клубе «Трехгорки» пожилая ткачиха на митинге отвергла объяснение финансовой реформы, которое дал местный секретарь ячейки.

— Наркома давайте, а ты что-то непонятно говоришь.

И нарком приехал — заместитель наркома финансов Пятаков — и долго объяснял разъяренной старой ткачихе, в чем суть реформы...

Эти споры велись буквально обо всем. И о том, будут ли духи при коммунизме... И о том, существуют ли общие жены в фаланге Фурье... Нужна ли адвокатура, нужна ли поэзия, живопись, скульптура, и если нужна — то в какой форме..

Нам казалось недостаточным видеть, знать, жить. Нам хотелось действовать самим, пока не прошли сроки бессмертия...

Жизнь моя поделилась на две классические части — стихи и действительность. Я писал стихи, ходил в литературные кружки, занимался — вошел в это время в молодой Леф, несколько раз был в «Красном студенчестве» у Сельвинского... встречался с Сергеем Михайловичем Третьяковым — «фактографистом».

Сергей Михайлович Третьяков, высокий, узкогрудый, был человеком решенных вопросов. Он и знать не хотел о каких-то сомнениях. Хочешь работать — научим, поможем, не хочешь — вот тебе бог и вот порог.

Научиться у него работе журналиста было можно... Поэтов ни будущих, ни настоящих Третьяков не любил. Он и сам был не поэт, хотя сочинял стихи и даже целую поэму «Рычи, Китай», переделанную потом в пьесу. На Малую Бронную ходил я недолго из-за своей строптивости и из-за того, что мне было жалко стихов — не чьих-нибудь стихов, а стихов вообще. Стихам не было места в «литературе факта»...

— А что бросается в глаза раньше всего, когдаходишь в комнату?

— Зеркала, — сказал я.

— Зеркала? — раздумывая, спросил Третьяков. — Не зеркала, а кубатура.

Я работал тогда в радиогазете «Рабочий полдень».

— Вот, — сказал Сергей Михайлович, — напишите для «Нового Лефа» заметку «Язык радиорепортера». Я слышал, что надо избегать шипящих и так далее. Напишите?

— Я, Сергей Михайлович, хотел бы написать по общим вопросам, — робко забормотал я.

Узкое лицо Третьякова передернулось, и голос его зазвенел:

— По общим вопросам мы сами пишем.

Больше я на Малой Бронной не бывал. Избавленный от духовного гнета «Левого фронта», я яростно писал стихи о дожде и солнце, обо всем, что в Лефе запрещалось...

На две части, две стороны распадалась всегда моя жизнь, с самого далекого детства...

Первая — это искусство, литература. Я уверен был, что мне суждено было сказать свое слово... и именно в литературе, в художественной прозе, в поэзии.

Вторая была — участие в общественных сражениях тогдашних, невозможность уйти от них, при моем главном (кредо) — соответствии слова и дела...

19 февраля 1929 года я был арестован. Я работал на Березниках... Берзин звал меня на Колыму, на колонизацию края, но я отказался. У меня были другие планы...

Вернулся в Москву в 1932 году и крепко стоял на всех четырех лапах. Стал работать в журналах, писать, перестал замечать время, научился отличать в стихах свое и чужое. Каленым железом старался все чужое вытравить. Писал день и ночь. Думал над рассказом, над его возможностями и формой. Научился, как казалось мне, понимать, зачем нужен дождь в рассказе «Мадемуазель Фифи» Мопассана. Написал 150 сюжетов рассказов, не использованных еще, около 200 стихотворений. Увы, жена тогдашняя моя мало понимала в стихах и рассказах и сберегла напечатанное и не сберегла написанного, пока я был на Колыме...

Я понял также, что в искусстве места хватит всем и не нужно тесниться и выталкивать кого-то из писательских рядов. Напиши сам, свое... Я написал несколько рассказов, и их охотно напечатали... Я набирал силу. Стихи писались, но не читались никому. Я должен был добиться прежде всего «лица необщего выражения». Готовилась книжка рассказов. План был такой: в 1938 году первая книжка — прозы. Потом вторая книжка. Сборник стихов.

Я тогда как жил? Напишу, редакционной машинистке

продиктую — «Броня — первая птица»! — подписываю, адрес ставлю и несю в редакцию — журнала, газеты — в этом нет различия. Секретари отвечали обычно: зайдите через неделю. Я заходил через неделю и получал ответ — всегда положительный. Так было с «Колхозником» горьковским, с «Октябрем», с «Прожектором», с «Гудком», с «Ленинградской правдой», с «Вокруг света», в любом журнале петушьё слово действовало безотказно, я даже и понять не мог, как это могут рассказ не принять, не считать такой случай для себя возможным. Такая была уверенность, твердость руки такая. Казалось, нашел уже тон, зачин и стиль и действовал с «лица необшим выраженьем».

Этот способ действовал безотказно: сто процентов попадания. Для себя, про себя я считал тогда, что не только талант скажется, но и биография скажется всегда и из-за моей спины продиктует, напишет моим пером все, что нужно...

В ночь на 12 января 1937 года в мою дверь постучали...

С первой тюремной минуты мне было ясно, что никаких ошибок в арестах нет, что идет планомерное истребление целой «социальной» группы — всех, кто запомнил из русской истории последних лет не то, что в ней следовало запомнить...

С 1937 года по 1956 год я был в лагерях и ссылке. Условия Севера исключают вовсе возможность писать и хранить рассказы и стихи — даже если бы «написалось». Я четыре года не держал в руках книги, газеты. Но потом оказалось, что стихи иногда можно писать и хранить. Многие из написанного — до ста стихотворений — пропало безвозвратно. Но

кое-что сохранилось. В 1949 году я, работая фельдшером в лагере, попал на «лесную командировку» — и все свободное время писал: на обороте старых рецептурных книг, на полосках оберточной бумаги, на каких-то кульках.

В 1951 году я освободился из заключения, но выехать с Колымы не смог. Я работал фельдшером близ Оймякона в верховьях Индигирки, на полосе холода, и писал день и ночь на самодельных тетрадях.

В 1953 году я уехал с Колымы, поселился в Калининской области на небольшом торфопредприятии, работал там два с половиной года агентом по техническому снабжению. Торфяные разработки с сезонниками-«торфушками» были местом, где крестьянин становился рабочим, впервые приобщался к рабочей психологии. Там было немало интересного, но у меня не было времени. Мне было больше 45 лет, я старался обогнать время и писал день и ночь — стихи и рассказы. Каждый день я боялся, что силы кончатся, что я уже не напишу ни строки, не сумею написать всего, что хотел.

В 1953 году в Москве я встретился с Пастернаком, который незаслуженно высоко оценил мои стихи, присланные ему в 1952 году.

Осенью 1956 года я был реабилитирован, вернулся в Москву, работая в журнале «Москва», писал статьи и заметки по вопросам истории культуры, науки, искусства.

Многие журналы Союза брали у меня стихи в 1956 году, но в 1957 году вернули все назад. Только журнал «Знамя» напечатал шесть стихотворений «Стихи о Севере».

В 1958 году в журнале «Москва» № 3 опубликовано пять моих стихотворений...

В издательстве «Советский писатель» в 1961 году вышел небольшой сборник «Огниво»...

Написал несколько десятков рассказов на северном материале, десятка два очерков.

Проза будущего кажется мне прозой простой, где нет никакой витиеватости, с точным языком, где лишь время от времени возникает новое, впервые увиденное — деталь или подробность, описанная ярко. Этим деталям читатель должен удивиться и поверить всему рассказу...

Что касается стихов, то космос поэзии — это ее точность, подробность. Ямб и хорей, на славу послужившие лучшим русским поэтам, не использовали и в тысячной доле своих удивительных возможностей. Плодотворные поиски интонации, метафоры, образа — безграничны...

Вот почти все, что мне хотелось сказать. Это — не автобиография... Это — литературная нить моей судьбы.

1964 г.

Рассказы о детстве

Ворисгофер

По вечерам за столом, под большой керосиновой лампой-«молнией» читали — каждый свое, а иногда кто-нибудь читал вслух. За этим же столом делал я и свои школьные уроки.

Отец говорил с нами мало, но иногда поворачивал к свету книгу, которую я читал.

— Мережковский. «Воскресшие боги». У нас ведь есть в шкафу — в другом издании, черная обложка.

— Это не «Воскресшие боги».

— А что же?

— Это — статьи.

— Что еще за статьи? — И отец взял у меня книгу из рук.

— Не мир, но меч. Это тебе, пожалуй, рано.

Мне было десять лет.

В другой раз большая пестрая обложка привлекла внимание отца.

— А это?

— Один французский автор.

— А именно?

— Понсон дю Террайль.

— Название? — Отец уже сердился.

— «Похождения Рокамболя».

Я был тут же выдран за уши. Мне было запрещено приносить Рокамболя в квартиру, квартиру — где, подобно Рокамболу, изгонялся Пинкертон и Ник Картер и пользовался почетом Конан Дойль.

Конан Дойль, конечно, был получше Понсон дю Террайля, но и Понсон дю Террайль был неплох. Рокамболя же мне пришлось дочитывать у кого-то из товарищей.

Но жизнь шла, и вот отца посетил наш учитель географии Владимир Константинович, мой классный наставник.

В нашей квартире, из-за большой семьи, тесноты, двери закрывались плохо, и я легко услышал разговор.

— Способности вашего сына очень большие, Тихон Николаевич. Надо не прозевать времени — открыть ему дорогу к книге.

— Резон, — сказал отец. Думал и решал он, как всегда, недолго, а признание, успех — были для отца аргументом веским, чуть не единственным.

Вскоре я был отведен к [...],¹ знаменитой вологодской ссыльной даме — седой старушке — хозяйке большой библиотеки.

¹ В рукописи пропущено.

Седая дама, наведя на меня пенсне, как лорнет, то приближая, то удаляя, внимательно меня оглядела...

— Это — кто же?

— Это сын Тихона Николаевича.

— Тихону Николаевичу, кажется, не везет с сыновьями.

— Это — младший.

— А-а... Слышала, слышала. Ну, покажись. — Рука дамы легла на мое плечо. — Сейчас я покажу тебе сокровища.

Дама встала с кресла бойко, прошла со мной в конец комнаты и откинула занавеску. Длинные ряды книжных полок уходили вглубь, в бесконечность. Я был взволнован, потрясен этим счастьем. Сейчас меня подведут к книгам и я буду перебирать, гладить, листать, узнавать. Я ждал, что хозяйка подведет меня к полкам, толкнет и я останусь тут надолго — на много часов, дней и лет.

Но случилось не так.

— Ты должен читать путешествия? Да?

— Да.

— Майна Рида?

— Я читал Майна Рида.

— Жюль Верна?

— Я не люблю Жюль Верна.

— Ливингстона?

— Я читал Ливингстона.

— Стенли?

— Я читал Стенли.

— А Элиза Реклю? «Человек и земля».

— Я читал Реклю.

— Хорошо, — сказала старушка. — Я знаю, что тебе дать. Я дам тебе Ворисгофера.

И кто-то незримый, скрытый в полках, сказал громко:

— Да! Да! Ворисгофер воспитывает характер.

Я осторожно взял Ворисгофера.

— А еще?

— Пока все. Через две недели прочтешь, не спеша. Запишешь содержание и расскажешь мне — или вот Николаю Ивановичу — если меня дома не будет. — Перст седой дамы был устремлен в сторону незримого в книжных полках.

Надо ли говорить, что я не был больше в этой общественной библиотеке.

Мой классный наставник Ельцов, оставивший в то время школу и ставший директором Вологодской Центральной библиотеки — дал мне билет в читальный зал и абонемент, и я читал там запоем все свободное время.

Берданка

Мне исполнилось десять лет. По семейной традиции мальчику в этот день дарилось ружье — не тулка, не венская централка или бескурковое немецкое, а первое ружье: русская берданка шестнадцатого калибра.

Но я, который на все охоты ездил с величайшим неудовольствием и, к позору всей семьи — и мужчин и женщин, не умел стрелять, — как я приму этот подарок.

— Отец хочет тебе на день рождения подарить берданку, собственное ружье, — сказала мама.

— Мне не надо ружья, — сказал я угрюмо.

Все замолчали.

Отец, которого эта обидная неожиданность тревожила

недолго, уже нашел официальный выход, вполне «паблисити».

— Хорошо. Мы будем совершать подвиги, а ты — их описывать. Договоримся.

— Договоримся, — сказал я. Самое главное, чтобы от- стали насчет ружья, а подарка, может быть, и не надо ника- кого.

В раннем детстве мне дарили игрушки — мечи, кинжалы, пистолеты, которые мне не нравились, оловянные солдатики.

Лисичка, меховая лисичка с поюшей пружинкой и плю- шевый медведь — много лет хранил я их в своих вешах.

Но уже давно я хранил в своем волшебном ящике мно- жество бумажек от конфет, — портреты генералов — Руз- ский, Брусилов, Иванов, Алексеев, Козьма Крючков, повто- ренные тысячей конфетных зеркал, — все это не имело для меня никакого значения. Это мог быть и Толстой. Тарас Буль- ба и Андрей Болконский, и Пьер Безухов, и Симурден из «Девяносто третьего года» Гюго. Я разыгрывал в лицах все пьесы, все романы, все повести, которые я прочел, все кино- картины, которые я просмотрел. И родители не могли бы мне сделать подарка лучше.

Я разыгрывал сцены из Библии, весь этот набор карти- нок, сложенных конвертиком конфетных обложек — это и был мой волшебный мир, о котором не знали родители.

Любой прочитанный роман я должен был проиграть — один, шепотом.

Никто этого не знал и не узнал никогда.

Для этой Аргонды не нужно было даже одиночества.

А из игрушек — лисичка и медвежонок. А теперь бердан- ка, чтобы перестрелять своих прежних друзей.

И «Детство Темы» Гарина я тоже проиграл своими конфетными бумажками и только тогда (а не в чтении) заплакал, жалея Жучку.

У меня не было Жучки. Собака была явно отцовской, братишки. На меня Орест или Скорый и смотреть не хотел, когда начинали собираться на охоту, а только выли, лаяли и по пятам ходили за братом.

Как вологодская кружевница шьет по узору не импровизируя, так я по узору романа, фильма переигрывал все дома.

И «Охотники за скальпами» и «Рокамболь», «Христос и Антихрист» и «Война и мир» — все проигрывалось так.

Это была моя тайна.

Передовых статей и вообще статей таким способом усваивать было нельзя — все это относилось только к художественной литературе.

Никто не мог мне подарить ничего более чудесного, чем мой волшебный ящик, который я тогда вовсе не называл волшебным ящиком, а просто недоумевал, как старшие — родители, родственники, братья, сестры и товарищи по школе — не могут понять простой механики этого превращения — этот театр, который надо было только шептать. Меня не подслушивали и не следили, что мне шепталось.

А шептался просто ход романа в моем пересказе — герои встречались друг с другом, спорили, сражались, искали правду, защищали животных.

Эта игра касалась только романов. Я не играл обертками конфет в нашу семью, в самого себя.

Зачем мне был такой подарок, как берданка?

Я не помню себя неграмотным. Я читаю и пишу печатными буквами с трех лет.

Отец не забыл разговора. 5 июня 1917 года отец мне вручил большую толстую тетрадь в золотом переплете с золотым тиснением — «Дневник Варлама Шаламова».

Подарок был вполне в стиле, в характере, в духе отца.

Немножко «паблисити», немножко уважения к собственному мнению десятилетнего сына (отказ от берданки) — оригинально, можно показать гостям обложку, конечно, самому прочесть запись и заглянуть в душу сыну. Это не какой-нибудь альбом для романсов и мелодекламаций, которыми увлекалась Вологда тех лет. Не мешанство — факты, цифры, сбор документов, умственная тренировка. Словом, отец был доволен своим подарком.

Я же в этом парадном дневнике записал, принуждая себя, пять-шесть страниц. Года за два до этого в общей тетради я уже вел такой дневник — вел и уничтожил, сжег. Мои романы, мои исследования символизма и бессмертия, мои споры с Мережковским были записаны в других тетрадях, неизвестных отцу.

Конечно, несколько страниц я записал — для отца, вклеил несколько газетных вырезок, прокламаций. Написал стихотворение «Пишу дневник», которое было отцом просмотрено весьма неуверенно — он ничего не понимал в стихах.

Но подошел восемнадцатый год, и дневник был забыт, отложен в долгий ящик. Забыт и мной и отцом. Хранился у сестры, конечно, сожжен среди прочих бумаг после моего ареста.

Сколько моих следов в жизни уничтожено огнем — трусливыми руками родственников.

1960-е годы

Двадцатые годы¹

Заметки студента МГУ

Дорогие юные друзья!

Предлагаемые воспоминания Варлама Тихоновича Шалимова, большого русского поэта и прозаика, моего современника, я прочитал семь лет назад, еще при жизни поэта, и тогда же подумал: как было бы прекрасно, если бы это вы тоже могли прочесть и перенестись в те неповторимые годы. «Заметки студента МГУ», названные В. Т. Шаламовым «Двадцатые годы», — публикация очень актуальная. Вы почувствуете, как мы, тогда молодые, стремились к знанию, общению, как спорили, протестовали, любили, отвергали — в общем, жили! Жили ярко, хотя и испытывали в те годы большие трудности и с одеждой, и с едой, и со всеми мелочами и крупными жестокостями быта.

¹ Впервые: Юность, 1987. № 11, 12.

Варлам Тихонович Шаламов родился в Вологде в 1907 году в семье священника, многодетной и дружной, с прочными семейными традициями. На его долю выпало и счастливое время, и горестное, и трагическое. Судьба ни в чем не пощадила этого мужественного человека, но он до конца своих дней оставался именно человеком... Он умер 17 января 1982 года. Прожив жизнь невероятно многострадальную, он оставил документ времени, правды, истории в своих «Колымских рассказах», в биографическом романе «Четвертая Вологда», в стихотворениях «Колымские тетради» и во множестве статей о времени и литературе.

Молодость — это время сближений, время поиска смысла жизни, выбора цели. Но только тот ищет правильно, кто помнит, что цель никогда не оправдывает средства. Мне хочется, чтобы вы не забывали об этом в любых обстоятельствах, берегли добро, правду, природу, историю, честь и честность.

Д. С. Лихачев, академик

В. Т. Шаламов как личность, как человек сформировался в двадцатые годы. Многих его личных качеств, его мемуаров в публицистике не понять, если не иметь в виду этого обстоятельства. Бурлящей атмосферой двадцатых годов воспитана была его резкость оценок и суждений. В общественных и литературных сражениях тех лет сложилось его кредо — соответствие слова и дела, что и определило в конечном счете его судьбу. К любому человеку, к каждому писателю он тоже подходит с этой простой и высокой меркой — с требованием единства слова и поступков.

Его воспоминания «Двадцатые годы» написаны не искусственным пером литературоведа, это пристрастный рассказ об увлечениях своей студенческой молодости, о поисках истины и своего пути в литературе и в жизни.

Публикатором исправлены некоторые фактические неточности в тексте.

Подлинник рукописи хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства.

И. П. Сиротинская

...Двадцатые годы — это время литературных сражений, поэтических битв на семи московских холмах: в Политехническом музее, в Коммунистической аудитории 1-го МГУ, в клубе Университета, в Колонном зале Дома союзов. Интерес к выступлению поэтов, писателей был неизменно велик. Даже такие клубы, как Госбанковский на Неглинном, собирали на литературные вечера полные залы.

Имажинисты, комфуты, ничевоки, крестьянские поэты; «Кузница», Леф, «Перевал», РАПП, конструктивисты, оригиналисты-фразари и прочие, им же имя легион...

Битвы-диспуты устраивались зимой по крайней мере раз в месяц, а то и чаще.

В Колонном зале, где часто устраивались литературные вечера, никогда не бывало диспутов.

Выступления поэтов, писателей, критиков были двух родов: либо литературные диспуты-поединки, где две группы сражались между собой большим числом ораторов, либо нечто вроде концертов, где читали стихи и прозу представители многих литературных направлений.

Вечера первого рода кончались обычно чтением стихов. Но не всегда. Помнится, на диспуте «Леф или блеф» для чтения стихов не хватило времени — так много было выступавших...

Москва двадцатых годов напоминала огромный университет культуры, да она и была таким университетом.

Диспут «Богема» шел в Политехническом музее. Доклад, большой и добротный, делал Михаил Александрович Рейснер, профессор истории права 1-го МГУ, отец Ларисы Михайловны. Сама Лариса Михайловна в то время уже умерла.

Докладчик рассказывал о французской богеме, о художниках Монмартра, о Рембо и Верлене, о протесте против капиталистического строя. У нас нет социальной почвы для богемы — таков был вывод Рейснера. «Есенинщина» — последняя вспышка затухающего костра.

Несколько ораторов развивали и поддерживали докладчика. Зал скучал. Сразу стало видно, что народу очень много, что в зале душно, потно, жарко, хочется на улицу.

Но вот на кафедру вышел некий Шипулин — молодой человек студенческого вида. Побледнев от злости и волнения, он жаловался залу на редакции журналов, на преследования, на бюрократизм. Он, Шипулин, написал гениальную поэму и назвал ее «Физиократ». Поэму нигде не печатают. Поэма гениальна. В Свердловске отвечают так же, как в Москве. Он, Шипулин, купил на последние деньги билет на диспут. Пришел на это высокое собрание, чтобы заставить себя выслушать. Лучше всего, если он прочитает поэму «Физиократ» здесь же вслух.

Толстый сверток был извлечен из кармана. Чтение «Фи-

зиократа» длилось около получаса. Это был бред, графоманство самой чистой воды.

Но главное было сделано: Шипулин со своим «Физиократом» зажег огонь диспута. Было что громить. Энергия диспутантов нашла выход и приложение.

— Уважаемый докладчик говорит, что у нас нет богемы, — выкрикивал Рыклин. — Вот она! Гражданин Шипулин сочиняет поэму «Физиократ». Ходит по Москве, всем говорит, что он — гений.

— Ну, жене можно сказать, — откликается Михаил Левидов из президиума.

Рыклин сгибается в сторону Левидова:

— Товариш Левидов, вы оскорбляете достоинство советской женщины.

Одобрительный гул, аплодисменты.

Рыклин был тогда молодым, задорным. Левидов — известный журналист двадцатых годов, считавшийся полезным участником всяких литературных и общественных споров того времени, «испытанный остряк», сам себя называвший «комфутом», то есть коммунистическим футуристом (!).

Двадцатые годы были временем ораторов. Едва ли не самым любимым оратором был Анатолий Васильевич Луначарский. Раз тридцать я слышал его выступления — по самым разнообразным поводам и вопросам, — всегда блистательные, законченные, всегда — ораторское совершенство. Часто Луначарский уходил от темы в сторону, рассказывая попутно массу интересного, полезного, важного. Казалось, что накопленных знаний так много, что они стремятся вырваться против воли оратора. Да так оно и было.

Выступления его — доклады о поездках — в Женеву, на-

пример. Я и сейчас помню рассказ о речи Бриана, когда Германию принимали в Лигу Наций.

«Бриан заговорил: «Молчите, пушки, молчите, пулеметы. Вы не имеете здесь слова. Здесь говорит мир!» И все заплакали, прожженные дипломаты заплакали, и я сам почувствовал, как слеза пробежала по моей щеке».

Доклады Луначарского к Октябрьским годовщинам были каждый раз оживлены новыми подробностями.

Часто это были импровизации. В 1928 году он приехал в Плехановский институт, чтобы прочесть доклад о международном положении. Его попросили, пока он снимал шубу, сказать кое-что о десятилетии рабфаков. Луначарский сказал на эту тему двухчасовую речь. Да какую речь!

После каждой его речи мы чувствовали себя обогащенными. Радость отдачи знания была в нем. Если Ломоносов был «первым русским университетом», то Луначарский был первым советским университетом.

Мне приходилось говорить с ним и по деловым вопросам, и по каким-то пустякам — в те времена попасть к наркомом было просто. Любая ткачиха «Трехгорки» могла выйти на трибуну и сказать секретарю ячейки: «Что-то ты плохо объясняешь про червонец. Звони-ка в правительство, пусть нарком приезжает». И нарком приезжал и рассказывал: вот так-то и так-то. И ткачиха говорила:

— То-то. Теперь я все поняла.

Когда дверь кабинета Луначарского была закрыта, в Наркомпросе шутили: «Нарком стихи пишет».

Нам нравилось в десятый раз расспрашивать его о Каприйской школе, о Богданове, который был еще жив, преподавал в университете. Богданов умер в 1928 году. Он был

универсально одаренным человеком. Философ махистского толка, он написал два утопических романа: «Инженер Мэнни», «Красная звезда». «Пролеткульт» связан с его именем. В университете он читал лекции. Написал книжку—учебник «Краткий курс экономической науки».

Жизнь не пошла по тому пути, на который ее звал и вел Богданов. Он постарался занять себя наукой, создал первый институт переливания крови, много в нем работал, выступил с теорией, доказывая, что два литра крови человек может дать вполне безопасно. Всего крови в организме человека пять литров. Три находятся в непрерывной циркуляции, а два — в так называемом «депо». Вот на этом основании и построил Богданов свою теорию. Ему говорили, что человек умрет, если у него отнять два литра крови. Богданов доказывал свое. Он был директором Института переливания крови. Он провел опыт на самом себе — и умер.

Никто не знает, было ли это самоубийством.

Богданов с Луначарским были в дружбе и в родстве. Сестра Богданова — первая жена Луначарского. Второй женой была актриса Малого театра Н. А. Розенель.

Маяковский был любимцем Луначарского. В выступлениях, в письменных и устных, Луначарский всячески подчеркивал эту свою симпатию...

Приятель мой так сказал про Луначарского:

— Немножко краснобай, но как много знает!

Почти не уступал Луначарскому, а кое в чем и превосходил его митрополит Александр Введенский, красочная фигура двадцатых годов. Высокий, черноволосый, коротко подстриженный, с черной маленькой бородкой и огромным носом, резким профилем, в черной рясе с золотым крестом,

Введенский производил сильное впечатление. Шрам на голове дополнял картину. Введенский был вождем так называемой «новой церкви», и какая-то старуха при выходе Введенского из храма Христа Спасителя ударила его камнем, и Введенский несколько месяцев лежал в больнице. На память Введенский цитировал на разных языках целые страницы. Блестящие качества обоих диспутантов привлекали на сражения Луначарский — Введенский большое количество людей.

На диспуте «Бог ли Христос» в бывшей опере Зимина (филиал Большого театра) на Б. Дмитровке Введенский в своем заключительном слове (порядок диспута был таков: доклад Луначарского, содоклад Введенского, прения и заключительные слова: сначала Введенского, потом Луначарского) сказал:

— Не принимайте так горячо к сердцу наши споры. Мы с Анатолием Васильевичем большие друзья. Мы — враги только на этой трибуне. Просто мы не сходимся в решении некоторых вопросов. Например, Анатолий Васильевич считает, что человек произошел от обезьяны. Я думаю иначе. Ну, что ж, — каждому его родственники лучше известны.

Аплодисментам, казалось, не будет конца. Все ждали заключительного слова Луначарского — как он ответит на столь удачную остроту. Но Луначарский оказался на высоте — он с блеском и одушевлением говорил: да, человек произошел от обезьяны, но, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, он далеко опередил животный мир и стал тем, чем он есть. И в этом наша гордость, наша слава!

Словом, Анатолий Васильевич не отмолчался, а развернул аргументы еще ярче, еще убедительней...

Нам нравилось, что носовой платок наркома всегда белоснежен, надушен, что костюм его безупречен. В двадцатые годы все носили шинели, кожаные куртки, кители. Моя соседка по аудитории ходила в мужской гимнастерке и на ремне носила браунинг. В Луначарском, в его внешнем виде была какая-то правда будущего нашей страны. Это был не протест против курток, а указание, что время курток проходит, что существует и за граница, целый мир, где куртка — костюм не вполне подходящий.

Луначарский редактировал первый тонкий советский журнал «Красная нива». Там печаталась сначала уэллсовская «Пища богов», а потом — в стиле тех лет — коллективный роман тридцати писателей. Каждый из тридцати писал особую главу. Новшество было встречено с большим интересом, и писатели в этой игре принимали живое участие, но толку, разумеется, не вышло никакого. Роман этот был даже не закончен, оставлен.

В этом журнале была напечатана фотография «Красин в Париже». Красин был тогда послом. Он выходил из какого-то дворца с колоннами. На голове его был цилиндр, в руках — белые перчатки. Мы были потрясены, едва успокоились.

Луначарский, правда, цилиндра в Москве не носил, но костюм его был всегда отглажен, рубашка свежа, ботинки старого покроя — с «резиночками».

Он любил говорить, а мы любили его слушать.

На партийной чистке зал был переполнен в день, когда проходил чистку Луначарский. Каприйская школа, группа «Вперед», богостроительство — все это проходило перед нами в живых образных картинах, нарисованных умно и живо.

Часа три рассказывал Луначарский о себе, и все слушали, затаив дыхание, — так все это было интересно, поучительно.

Председатель уже готовился вымолвить «считать проверенным», как вдруг откуда-то из задних рядов, от печки раздался голос:

— А скажите, Анатолий Васильевич, как это вы поезд остановили?

Луначарский махнул рукой:

— Ах, этот поезд, поезд... Никакого поезда я не останавливал. Ведь тысячу раз я об этом рассказывал. Вот как было дело. Я с женой уезжал в Ленинград. Я поехал на вокзал раньше и приехал вовремя. А жена задержалась. Знаете — женские сборы. Я хожу вдоль вагона, жду, посматриваю в стороны. Подходит начальник вокзала:

— Почему вы не садитесь в вагон, товарищ Луначарский? Опаздывает кто-нибудь?

— Да, видите, жена задержалась.

— Да вы не беспокойтесь. Не волнуйтесь, все будет в порядке.

Действительно, прошло две-три минуты, пришла моя жена, мы сели в вагон, и поезд двинулся.

— Вот как было дело. А вы — «нарком поезд остановил».

Емельян Ярославский, в кожаной куртке, в кепке, стоял перед занавесом Театра Революции. Он выступал с воспоминаниями об Октябре. «Были и в наших рядах товарищи, которые ахали и охали, когда большевики стреляли по Кремлю. Пусть нынешний нарком просвещения вспомнит это время».

Луначарский мог ходатайствовать о людях искусства, о памятниках искусства, мог писать пьесы и говорить «мой

театр». «Освобожденный Дон Кихот», «Бархат и лохмотья», «Канцлер и Слесарь» — все это род лирико-философских драм... Мог ездить во главе дипломатической миссии на международные конференции, но политики он не делал и не был ни вождем, ни крупным теоретиком...

У молодежи к нему было чуть-чуть ироническое отношение, совмешенное с глубокой нежностью и уважением. Анатолий Васильевич встречался с молодежью с восторгом. С его литературными вкусами считались. Но, конечно, не Луначарский делал большую политику.

Двадцатые годы нельзя представить себе без «Синей блузы». Искусства советского, нового искусства без «Синей блузы» представить нельзя. «Синяя блуза» была гораздо большим, чем эстрадная форма, малая форма. Новизна ее театральных идей привлекла к себе самых лучших писателей, поэтов, самых интересных молодых режиссеров того времени.

Маяковский, Асеев, Третьяков, Арго, позднее Кирсанов охотно писали для «Синей блузы».

Сергей Юткевич ставил в коллективе «СБ» оратории, скетчи.

Борис Тенин, нынешний известный киноактер, начинал в «Синей блузе»...

Константин Листов начинал как композитор «Синей блузы». Ему принадлежат и знаменитые марши-«антрэ»:

Мы синеблузники,
Мы профсоюзники,
Мы не бояны-соловьи,
Мы только гайки
Великой спайки
Одной трудящейся семьи.

«Синяя блуза» — живая газета. Да, «Синяя блуза» была живой газетой. До наших дней дожили агитбригады, культбригады — род художественной самодеятельности, начало которой было положено «Синей блузой».

Пятнадцать — двадцать человек, одетых в синие блузы, разыгрывают перед зрителями сценки, скетчи, оратории.

Выходили они под марш, превращая любую площадку в сцену. «Синяя блуза» служила современности: по-газетному была растратчиков, хапуг и в ораториях — по международной политике, вступала в диспут с Чемберленом.

За серьезным материалом шел развлекательный — фельетон, короткий скетч.

Грима у синяблузников не было, занавеса не было.

Впоследствии введены были «аппликации», накладки, помогающие зрителю разобраться в героях очередной сценки.

Все в темпе, под музыку.

Пока академические театры раскачивались и приглядывались к революции, «Синяя блуза» вышла на авансцену времени, казалась новым явлением быта, новой дорогой искусства.

«Эстрадные группы» — или, как их называли, «коллективы» «Синей блузы» — росли повсеместно. К пятилетней годовщине «Синей блузы» было в СССР 400 коллективов. В «Синей блузе» не было актеров-профессионалов — по первоначальному замыслу. Новый товарищ надевал синюю блузу, прикалывал эмалированный значок и выходил на сцену клуба, на любые подмостки...

Плакатность, апелляция к разуму зрителя больше, чем к чувству, острый отклик на «злобу дня» составили ту особенность «Синей блузы», которая оказалась вечным ее вкладом

в искусство, в мировое искусство. Ибо театр Бертольта Брехта, знакомый москвичам, рожден от «Синей блузы» и вдохновлен «Синей блузой». Сам Брехт это подчеркивал неоднократно.

Успех нового искусства был велик. «Синяя блуза» была первым советским театром, выехавшим за границу. Триумфальная поездка по Германии, по Скандинавии. Приглашение в Америку, аншлаги всюду.

Каждый день рождал новые находки. Первые синеблузники относились к делу бережно, благоговейно. Казалось, что, надев синюю блузу, человек изменился и способен только на хорошее.

«Синяя блуза» издавала репертуарные сборники, альманахи, которые быстро превратились в журнал «Синяя блуза». Он существовал четыре года. В первых синеблузных выпусках скетчи, оратории, фельетоны не подписывались вовсе — работа синеблузная считалась коллективной, и Маяковский соседствовал с Ивановым или Сидоровым, и льва можно было узнать только по когтям.

Но вскоре этот порядок, несколько напоминавший пуританские нравы основателей Художественного театра, был изменен. Материал стал печататься с подписью автора, и только завзятые энтузиасты-«синеблузники» подписывали свои вешки инициалами.

Новизна «синеблузной» философии была разносторонняя. Один из ее вождей говорил:

— «Синяя блуза» отрицает плагиат. Мы можем взять для пользы все лучшее, что создала литература, поэзия, скомпоновать, монтажировать — и дать новый текст для исполнителя. Актеров в «Синей блузе» не было — были исполнители.

Редактором всех «синезеленых» журналов, основателем, идеологом и вождем «Синей блузы» был Борис Семенович Южанин, молодой журналист, только что пришедший из армии, с гражданской войны.

Его все знали, все любили — за доверчивость, за приветливость, скромность, за наивность и — за принципиальность, за фанатизм.

Выдержать пришлось много боев. Искусство ли «Синяя блуза»? Не занимает ли она больше места в жизни, чем ей положено? И что «Синяя блуза» по сравнению с академическими театрами, которые уже возвращались к активной жизни? Художественный уже поставил «Бронепоезд», а Малый — «Любовь Яровую». Зритель отхлынул от «Синей блузы», а закрепить движение и его находки на большой высоте Южанин не сумел. Это удалось только Бертольту Брехту.

В ответственный момент, когда решалась судьба «Синей блузы» и на горизонте вырисовывались дальнейшие ее рубежи, произошла катастрофа.

Южанин был арестован за попытку перейти границу, приговорен к трехлетнему заключению в лагерь и отправлен на Северный Урал.

Разбитые очки, чуть зажившие мозоли на ладонях, грязное загорелое тело, рваные штаны и «сменка», которые дали Борису Южанину «блатные», раздев его дочиста на этапе, — и широко раскрытые, близорукие, крупные южанинские глаза.

— Вы знаете, я ничего не помню, что со мной было. Психоз какой-то. Почему я очутился в Батуме — я не знаю.

В тогдашнем лагере манией начальства — знаменитого

Берзина — было использовать каждого заключенного по специальности. Это было романтическое начало знаменитой «перековки». В соответствии с традициями Берзина Южанин был назначен организатором лагерной «Синей блузы» и редактором местного журнала. Писал оратории, скетчи.

Через год Южанин вернулся в Москву, жил в Мытищах, в тридцатые годы работал на радио...

Сейчас, в музее, в Доме художественной самодеятельности, под стеклом хранится синяя блуза с эмалированным значком «синемлузника».

В музей приходит и Южанин. Он постарел, поседел. Он был раздавлен лагерем. Никогда не оправился после этой катастрофы. Еще бы — ведь потом был тридцать седьмой год, была война.

Спрос на художественную литературу рос. Создано было новое акционерное общество, огромное издательство «Земля и фабрика». С маркой «ЗИФ» выходили книги русские и переводные. Альманахи. «Недра». Журнал «30 дней», переданный ЗИФу «Гудком», вскоре занял свое особое место среди других журналов, энергично привлекая талантливую молодежь. Именно в «30 днях» начали печататься Ильф и Петров. После большого перерыва начал выступать там с очерками Михаил Булгаков. Лет пять после «Роковых яиц» он жил рассказиками для «Медицинского работника» — профсоюзного «тонкого» журнала. Булгаков, врач по образованию, почти для каждого номера ежемесячника давал очерк или рассказ вроде «Случаев из практики».

Во главе издательства «Земля и фабрика» был поставлен человек очень большого организационного опыта, крупный

русский поэт-акмеист Владимир Нарбут. Нарбут был редактором «30 дней», «Всемирного следопыта»...

После Октябрьской революции оказалось, что Нарбут — член партии большевиков. Он воевал всю гражданскую, потерял на войне левую руку.

Чтобы кровь текла, а не стихи —
с Нарбута отрубленной руки.

Это Асеев двадцатых годов...

Кончилась гражданская война, и Нарбут возглавил второе по величине издательство в СССР.

Размах у него был большой, прибыли издательства огромны, замыслы — велики.

Внезапно он был исключен из партии и снят с работы.

Постановление ЦКК по его делу было опубликовано в газетах. Оказывается, будучи захвачен белыми в Ростове и находясь в контрразведке, Нарбут позволил себе дать показания, «порочащие его как члена партии». Более того: когда факты стали известны — продолжал все отрицать. Упорство усугубляет вину.

Нарбут был сослан в Нарым, кажется, и года через два вернулся.

В начале тридцатых годов он занимался вместе с Зенкевичем пропагандой «научной поэзии». Тогда я и познакомился с Нарбутом на каком-то собрании.

Писатель Дмитрий Сверчков, который весьма активно Нарбуту помогал, был тогда членом Верхсуда. В 1937 году сгинули оба: и Нарбут и Сверчков. Нарбут был на Колыме, там, кажется, и умер.

Но имени его не исключить ни из истории русской поэ-

зии, ни из организационных великанских дел двадцатых годов...

Имя Пильняка было самым крупным писательским именем двадцатых годов. «Серапионовы братья» в Ленинграде (Федин, Каверин, Никитин, Зошенко, Всеволод Иванов, Тихонов) приглядывались к революции. Группа распалась после смерти Льва Лунца, и бывшие «Серапионы» еще не определили своего отношения к революции. В Москве же Пильняк уже выступил с «Голым годом», с фейерверком рассказов и повестей. Писал Пильняк много. Книги путевых очерков, романы выходили один за другим. Чуть ли не в каждом номере «Нового мира», например, еще в 1928 году был новый рассказ Пильняка.

Своим учеником Пильняк называл Петра Павленко, подписывал вместе с ним несколько первых (для Павленко) рассказов... Рассказы были очень хороши, по-пильняковски увлекающи, смутны. Но когда Павленко изготовил свой первый самостоятельный роман «Баррикады», с первых страниц было видно, что это совсем не Пильняк. Роман хвалили, но очень сдержанно. Следующий роман «На востоке» был откровенно плох. Учеба у Пильняка не помогла Павленко.

Пильняк был плохой оратор, редко выступал, много писал, ездил.

Когда Андрей Белый умер, некролог в «Известиях» был подписан Пильняком, Пастернаком и... Санниковым.

«Мы считаем себя его учениками». Фраза была понятной в устах Пильняка, Пастернака, но Санников?

Пильняк много ездил. В комнате у него на всю стену был натянут шелковый ковер с изображением дракона. Пильняк привез его из Японии. Была написана книга «Корни японско-

го солнца». Еще раньше — толстый том «О'кэй» о путешествии в Америку.

Недавно где-то я усмотрел статью об Ильфе и Петрове, в которой заявлялось, что путешествие Ильфа и Петрова в Америку было «первым путешествием советских писателей за рубеж».

Но Пильняк и в Европу и в Америку уже ездил, и не один раз.

Маяковский ездил в Америку и Мексику. Эренбург жил за границей постоянно, романы о заграничье писал.

Но в путешествии Ильфа и Петрова был особый смысл.

Дело в том, что тогдашняя Америка ошеломляла всех; кто ее видел. Пильняковский «О'кэй» — лучший тому пример. У нас была переведена книга знаменитого немецкого журналиста: «Эгон Эрвин Киш имеет честь представить вам американский рай». Это было вроде «О'кэя», но менее рекламно.

Послали сатириков, чтобы развенчать Америку, но «Одноэтажная Америка» ошеломила и их.

Пильняк, идя от знаменитых ритмов «Петербурга» Белого, искал новых путей для новой прозы...

«Попутчик», — как говорили тогда.

По молодости лет мы часто не знали, кто попутчик, а кто — нет. Например, Всеволод Иванов ходил в брюках гольф, в каких-то узорных шерстяных носках — явный попутчик. Да еще в круглых роговых очках. Читая разносные статьи по поводу «Тайное тайных» и вспоминая брюки гольф, мы понимали, как опасно быть «Серапионом».

О чем он говорил в тот давний вечер в Политехническом?

О трудности писательского пути, о том, что он, Иванов, в юности переписал от руки «Войну и мир» — хотелось понять, ошутить, как пишутся такие строки...

Никогда, ни на одном литературном диспуте не выступал Андрей Соболев. Попутчик?

Соболев был политкаторжанин, прошедший знаменитую Байкальскую «Колесуху» — концлагерь царского времени.

Талантливый человек, русский интеллигент по своим знакомствам и связям, Соболев много печатался, но искал не славу, а что-то другое. Совесть русской интеллигенции, принимающая ответственность за все, что делается вокруг, — вот кем был Соболев.

Нэп Соболев принимал очень болезненно. Поездка за границу мало помогла, не успокоила. Соболев много работал на Капри. «Рассказ о голубом покое» был одной из вещей, написанных тогда. Был написан наконец давно задуманный роман, который Соболев считал главным своим трудом. Соболев, как и Маяковский, не любил черновики. И вот, когда все было готово, отпечатано, проверено, когда все черновики сожжены, а перепечатанный беловик уложен в аккуратную стопку на письменном столе, — Соболев открыл окно комнаты, где он жил и работал.

Порыв сирокко, итальянского ветра, выдул рукопись в окно, и роман исчез бесследно в мгновение ока.

Соболев сошел с ума. После месяца, проведенного в психиатрической лечебнице, Соболев уехал на родину, подавленный, угнетенный. В Москве его встретили весьма сердечно.

ЗИФ готовил полное собрание сочинений Соболева. Камерный театр поставил его «Рассказ о голубом покое».

Пьесу назвали «Сирокко», она не один сезон шла в Камерном театре.

Но жизнь Соболя уже кончилась. Осенью 1926 года на Тверском бульваре близ Никитских ворот Соболев выстрелил себе в живот из револьвера и умер через несколько часов, не приходя в сознание. Пушкинская рана. Было не поздно сделать операцию, извлечь пулю, зашить кишки, но в 1926 году еще не было пенициллина и сульфамидов. Соболев умер.

Если Есенин и Соболев покидали жизнь из-за конфликта со временем — он был у Есенина мельче, у Соболева глубже, — то смерть Рейснер была вовсе бессмысленна.

Молодая женщина, надежда литературы, красавица, героиня гражданской войны, тридцати лет от роду умерла от брюшного тифа. Бред какой-то. Никто не верил. Но Рейснер умерла. Я видел ее несколько раз в редакциях журналов, на улице. На литературных диспутах она не бывала.

Я был на ее похоронах. Гроб стоял в Доме печати на Никитском бульваре. Двор был весь забит народом — военными, дипломатами, писателями. Вынесли гроб, и последний раз мелькнули каштановые косы, кольцами уложенные вокруг головы.

За гробом вели под руки Карла Радека. Лицо его было почти зеленое, грязное, и неостанавливающиеся слезы проложили дорожку на щеках с рыжими бакенбардами.

Радек был ее вторым мужем. Первым мужем был Федор Раскольников, мичман Раскольников Октябрьских дней, топивший по приказанию Ленина Черноморский флот, командовавший миноносцами на Волге. Рейснер была с ним и на Волге и в Афганистане, где Раскольников был послом.

Через много лет я заговорил о Рейснер с Пастернаком.

— Да, да, да, — загудел Пастернак, — стою раз на вечере каком-то, слышу — чей-то женский голос говорит, да так, что заслушаться можно. Все дело, все в точку. Повернулся — Лариса Рейснер. И тут же был ей представлен. Ее обаяния, я думаю, никто не избег. Когда умерла Лариса Михайловна, Радек попросил меня написать о ней стихотворение. И я его написал.

Бреди же в глубь преданья, героиня.

— Оно не так начинается.

— Я уж не помню, как оно начинается. Но суть в этом четверостишии. Теперь, когда я написал «Доктора Живаго», имя главной героини я дал в память Ларисы Михайловны...

Каждая новая книжка Ларисы Рейснер встречалась с жадным интересом. Еще бы. Это были записи не просто очевидца, а бойца.

Чуть-чуть цветистый слог Рейснер казался нам тогда большим бесспорным достоинством. Мы были молоды и еще не научились ценить простоту. Некоторые строки из «Азиатских повестей» я помню наизусть и сейчас, хотя никогда их не перечитывал, не учил. Последняя вещь Ларисы Михайловны — «Декабристы» — блестящие очерки о людях Сенатской площади. Конечно, очерки эти — поэтическая по преимуществу картина. Вряд ли исторически справедливо изображен Трубецкой — ведь он был на каторге в Нерчинске со всеми своими товарищами, и никто никогда ни на каторге, ни в ссылке не сделал ему никакого упрека. Упрек сделали потомки, а товарищи знали, очевидно, то, чего мы не знаем. Екатерина Трубецкая, его жена, — великий символ русской женщины.

Каховский у Рейснер тоже изображен не очень надежно:

«сотня душ», которыми он владел, не такое маленькое состояние, чтобы причислить Каховского чуть ли не к пролетариям. Отношения Каховского с Рылеевым и весь этот «индивидуально-классовый анализ» десятка декабристов выглядят весьма наивно. «Декабристы» — поэма, а не историческая работа.

Смотрите, как из плоского
 статьи кастета
 к громам душа Полонского
 и к молниям вздета.

(Асеев)

Вячеслав Полонский вовсе не был каким-то мальчиком для битья, мишенью для острот Маяковского. Скорее наоборот. Остроумный человек, талантливый оратор, Полонский расправлялся с Маяковским легко. Это ему принадлежит уничтожающий вопрос «Леф или блеф», приводивший Маяковского в состояние крайнего раздражения. Это он широко использовал крокодильскую карикатуру на Маяковского из его обращения к Пушкину:

После смерти
 нам
 стоять почти что рядом —
 Вы на Пе, а я на ЭМ...

Крокодильская карикатура показывала, что между «М» и «П» есть две буквы, составляющие многозначительное «НО»!

Полонский был автором большой монографии о Бакунине, ряда работ по современной литературе, по искусству вообще.

Диспуты его с Маяковским носили характер игры в

«кошки-мышки», где «мышкой» был Маяковский, а «кошкой» — Полонский.

Маяковский оборонялся как умел. И злился здорово. Зажигал папиросу от папиросы.

Иногда оборона приводила к успеху. На диспут «Леф или блеф» в клуб 1-го МГУ Маяковский вместе с Шкловским и кем-то еще пришел пораньше, прошелся по сцене, поднял для чего-то табуретку в воздух, опустил. Вышел на авансцену к залу, еще не полному. Еще шли по проходам, усаживались, двигали стульями.

Маяковский крикнул что-то. Зал затих.

— Ну что же, давайте начинать!

— Давайте, давайте.

— Да как начинать. От Лефа-то явились, а вот от блефа-то нет...

Хохот, аплодисменты.

Двадцатые годы были временем ораторов. И Маяковский был оратором не из последних. Оратором особого склада, непохожим на других. Это был «разговор с публикой» — так это называлось. Фейерверк острот, далеко не всегда удачных. Говорили, что остроты потоньше заготовлены заранее, а те, что поглубже, похамоватее, сочинены на месте.

Я не вижу в этом большого греха, зная, как много значения придавал Маяковский «звуковой» стороне своих выступлений. Отсюда и пресловутые «лесенки», исправляющие недочеты слога. По собственным словам Маяковского, такую строку, как «шкурой ревности медведь лежит когтист», только лесенка и спасает.

В том, что заготовку острот Маяковский делал частью своей литературной и общественной деятельности, тоже нет

ничего плохого. Заготовка острот была вполне в духе того эпатажа, которым всю жизнь занимался Маяковский. Но записки не были фальшивыми, то есть заготовленными или подобранными заранее. Обывательский интерес столь ограничен, а глупость столь разнообразна, что возможности острить на каждом вечере у Маяковского были почти неограниченны.

Большое количество стихов Маяковского печаталось в профсоюзных журналах — их была тогда бездна, и размещены были они во Дворце труда на Солянке, в бывшем Институте благородных девиц, воспетом Ильфом и Петровым в «12 стульях».

В герое «Гаврииады» легко узнавался Маяковский, автор профсоюзной халтуры и поэмы, «посвященной некоей Хине Члек», то есть «Лиле Брик».

Читал Маяковский великолепно. Читал обычно только что написанное, только что напечатанное. Но свою «профсоюзную» халтуру не читал никогда...

Впервые я услышал Маяковского в Колонном зале Дома союзов на большом литературном вечере. Читал он американские стихи «Кемп «Нит гедайге» и «Теодора Нетте».

Звонким тенором читал «Феликса» Безыменский — отлично читал, хоть стихи и не были первосортными, Кирсанов читал «Плач быка», Сельвинский — «Цыганский вальс на гитаре», «Нашу биографию», «Мотькэ-Малхамовеса».

Место Маяковского в сердце сегодняшней молодежи занимает Евтушенко. Только успех Евтушенко гораздо больше. Успех менее скандален, привлекает больше сердец. Тема-то у Евтушенко, с которой он пришел в литературу, очень хоро-

ша: «Люди лучше, чем о них думают». И всем кажется, что они действительно лучше, — вот и Евтушенко это говорит.

К сожалению, «корневые рифмы» портят многие его стихи. Стихи Евтушенко не все удачны, но живая душа поэта есть в них безусловно. Стремление откликнуться на вопросы времени, дать на них ответ — и добрый ответ! — всегда есть в стихах Евтушенко.

Я включил недавно телевизор во время его вечера в клубе 1-го МГУ. Это был тот самый зал, где проходил диспут «Леф или блеф», где Маяковский много раз читал стихи, где Пастернак читал «Второе рождение».

Евтушенко был на месте в этом зале. Только жаль, что его чтение испорчено режиссерской «постановкой», — поэт не должен этого делать. Пастернак читает стихи как Пастернак, Маяковский — как Маяковский, а Евтушенко — как актер Моргунов. Раньше он читал лучше.

Телевизионная камера двигалась по залу — все молодежь, только молодежь.

Аудиторией Пастернака были писатели, актеры, художники, ученые — о каждом сидящем в зале можно было говорить с эстрады.

Аудитория Маяковского делилась на две группы: студенческая молодежь — друзья и немолодая интеллигенция первых рядов — враги.

У Евтушенко же были все друзья и все молодые.

Евтушенко родился в рубашке. В нем видят первого поэта, который говорит смело — после эпохи двадцатилетия мрачного молчания, подхалимажа и лжи.

Евтушенко — поэт, рожденный идеями XX и XXII съездов партии. Родись бы такой Евтушенко лет на десять раньше —

он бы или не пикнул слова, или писал бы «культовые» стихи, или... разделил бы судьбу Павла Васильева.

Каждый год рождается достаточно талантов, не меньше, чем родилось вчера и чем родится завтра. Вопрос в том, чтобы их вырастить, выходить, не заглушить...

Толстый журнал «Леф» перестал выходить в 1925 году. Перегруппировав силы, лефовцы добились выхода своего ежемесячника — на этот раз в виде «тонкого» журнала. «Новый Леф» начал выходить с января 1927 года. В первом его номере было помещено известное «Письмо писателя Владимира Владимировича Маяковского писателю Алексею Максимовичу Горькому». Текст этого стихотворения хорошо известен. Публикация же его чуть не привела к крупному недоразумению.

А. М. Горький написал из Сорренто письмо в адрес Воронского, редактора «Красной нови», требуя оградить свое имя от оскорблений подобного рода.

В это время шли переговоры о переезде Горького на постоянное жительство на родину... В ответном письме Воронский заверял Горького, что Маяковский будет поставлен на место, что повторений подобного «ерничества», как выразился Воронский, больше не будет.

На первой читке поэмы «Хорошо!» в Политехническом музее народу было, как всегда, много. Чтение шло хорошо, аплодировали дружно и много. Маяковский подходил к краю эстрады, сгибался, брал протянутые ему записки, читал, разглаживал на ладонях, складывал пополам. Ответив, комкал, прятал в карман.

Внезапно с краю шестого ряда встал человек — невысокий, темноволосый, в пенсне.

— Товариш Маяковский, вы не ответили на мою записку.

— И отвечать не буду.

Зал загудел. Желанный скандал назревал. Казалось, какой может быть скандал после читки большой серьезной поэмы? Что за притча?

— Напрасно. Вам бы следовало ответить на мою записку.

— Вы — «шантажист»!!

— А вы, Маяковский...

Но голос человека в пенсне потонул в шуме выкриков:

— Объясните, в чем дело!

Маяковский протянул руку, усилил бас:

— Извольте, я объясню. Вот этот человек... — Маяковский протянул указательный палец в сторону человека в пенсне. Тот заложил руки за спину. — Этот человек — его фамилия Альвэк. Он обвиняет меня в том, что я украл рукописи Хлебникова, держу их у себя и помаленьку печатаю. А у меня действительно были рукописи Хлебникова: «Ладомир» и кое-что другое. Я все эти рукописи передал Роману Якобсону (в Московский лингвистический кружок). У меня есть расписка Якобсона. Этот человек преследует меня. Он написал книжку, где пытается опорочить меня.

Бледный Альвэк поднимает обе руки кверху, пытаясь что-то сказать. Из рядов возникает неизвестный молодой человек с пышными русыми волосами.

Он подбирается к Альвэку, что-то кричит. Его оттесняют от Альвэка. Тогда он вынимает из кармана небольшую брошюрку, рвет ее на мелкие куски и, изловчившись, бросает в лицо Альвэку, крича:

— Вот ваша книжка! Вот ваша книжка!

Начинается драка. В дело вмешивается милиция, та самая, про которую было только что читано:

Розовые лица,
Револьвер желт,
Моя милиция
Меня бережет, —

и вытесняет Альвэка из зала.

На следующий день в Ленинской библиотеке я беру эту брошюру. Имя автора — Альвэк. Название — «Нахлебники Хлебникова». В книге помещено «Открытое письмо В. В. Маяковскому», подписанное художником П. В. Митуричем...

Автор письма требует, чтобы Маяковский вернул и обнародовал стихи Хлебникова — те многочисленные рукописи, которые он, Маяковский, захватил после смерти Хлебникова и держит у себя.

Кроме «открытого письма», есть нечто вроде анализа текстов, дающих автору право обвинять Маяковского и Асеева в плагиате.

У Хлебникова: «Поднявшие бивень белых вод» (так у Альвэка).

У Асеева:

Белые бивни
бьют
в ют.
(Черный принц)

У Маяковского:

И скоро,
дружбы не тая,
бью по плечу его я...

У Хлебникова: «Хватай за ус созвездье Водолея, бей по плечу созвездье Псов».

Плагиат Маяковского явно сомнителен. Да и Асеева. Не такое уж великое дело эти «белые бивни», чтобы заводить целый судебный процесс.

Конечно, Маяковский был нахрапист, откровенно грубоват, со слабыми противниками расправлялся внешне блистательно. Во встречах же с такими диспутантами, как Полонский, терялся, огрызался не всегда удачно и всегда с большим волнением.

Не думаю, что Маяковский заботился о «паблисити», о рекламе. Искреннее волнение было на его лице, в его жестах. «Публика» первых рядов не была его судьей. В первых рядах рассаживались обычно или литературные враги, или «чаюшие скандала». Маяковский протягивал руки к галерке, к последним рядам.

Взаимная «амнистия» друзей, захваливание друг друга было тогда бытом не только лефовцев, но и любой другой литературной группы.

Я искал стихи Маяковского, Асеева, Хлебникова в ранних изданиях, в первых изданиях. С волнением брал в руки зеленый альманах «Взял», рогожную обложку «Пошечины общественному вкусу». Мне хотелось понять, как выглядели эти стихи в тот день, когда журнал, книга вышли из печати.

В Ленинской библиотеке в то время можно было держать за собой выписанные книги сколько угодно. Гора футуристических альманахов все росла — до дня, когда в библиотеке со мной заговорили две девушки. Узнав, что я интересуюсь футуризмом и Лефом, девушки эти пригласили меня в литературный кружок, которым руководил Осип Максимович

Брик. В ближайший четверг я пришел в Гендриков переулок и остановился у двери, на которой были прикреплены одна над другой две одинаковые медные дощечки, верхняя: «Брик», нижняя: «Маяковский».

«Занятия» кружка меня поразили. Все вымученно острили, больше всего насчет конструктивистов. Брик поддакивал каждому. Наконец шум несколько утих, и Брик, развалясь на диване, неторопливо начал:

— Сегодня мы собирались поговорить о станковой картине. — Он задумался, поблескивая очками. — Впрочем... моя жена недавно приехала из Парижа и привезла замечательную пластинку «Прилет Линдберга на аэродром Бурже после перелета через Атлантический океан». Чудесная пластинка. — Завели патефон. — Слышите? Как море! Это шум толпы. А то мотор зарокотал. Слышите выкрики? А это голос Линдберга.

Пластинка, безусловно, заслуживала внимания. В таком роде были и другие занятия «Молодого Лефа».

В тридцать пятом году написал я воспоминания о Маяковском, предложил в «Прожектор». Потребовалась виза. Визировали тогда материал такого рода или Л. Ю. Брик, или О. М. Брик. В Гендриковом был Музей Маяковского. Я нашел новый адрес Брика в Спасопесковском. Записал новый его телефон, позвонил... О. М. меня узнал, поблагодарил за написанное, обещал посмотреть и визировать. В тот же час я отправился на Арбат, в Спасопесковский. Жил Брик в новом каменном доме. На дверях его новой квартиры снова были две одинаковые медные дощечки. Сердце мое застучало. Я подошел ближе. Да, дощечка Брика была той же самой, а другая была новая, по формату дощечки Маяков-

ского из Гендрикова. Но на ней была вырезана тем же шрифтом другая фамилия — «Примаков».

Лиля Юрьевна и Осип Максимович жили на квартире Примакова. Мне это не понравилось. Почему-то было больно, неприятно. Я больше в этой квартире не бывал.

Но это все было позже, а пока я искал, где живет поэзия. Где настоящее?

Мне кажется, Маяковский был жертвой своих собственных литературных теорий, честно, но узко понятой задачи служения современности, неправильно понятой задачи искусства. Необычайная сердечность поэмы «Про это» подсказывала ему более правильные творческие пути, чем стихотворение «Лучший стих» и сомнительные остроты по поводу «Резинотреста».

Бессмысленная, бесцельная «борьба» с Пушкиным, с Блоком, наивное и упрямое упование на так называемое «мастерство», при ясном понимании роли поэта, его места в обществе, его значения — вот подтекст трагедии 14 апреля. Большая жизнь, разменянная на пустяки.

Мариенгоф в «Романе без вранья» пишет, что Есенин догнал славу на другой день после смерти. Маяковский догнал славу через пять лет после смерти, после известных усилий Сталина. При жизни же слава Маяковского была не столько поэтической, сколько славой шума, скандала: «обругал», «обозвал», «обхамил». На литературных площадках его теснили конструктивисты.

Большая часть литературных споров, в которых участвовали «лефы», уходила на выяснение, кто у кого украл метафору, интонацию, образ. Чей, например, приоритет в слове

«земшар». Кто первый придумал это изящное слово? Безыменский или Маяковский? Кто у кого украл?

Маяковский кончил стихотворение на смерть Есенина строками: «В этой жизни помереть не трудно. Сделать жизнь значительно трудней». Это написано в 1926 году.

А в 1924 году Безыменский написал стихотворение на смерть поэта Николая Кузнецова («О знамени и поросенке»), где были такие строки: «Умереть? — Да это, брат, не трудно. Жить смоги! А это тяжелей».

Таких предметов спора в двадцатые годы было великое множество.

Крайне неприятной была какая-то звериная ненависть к Блоку, пренебрежительный, издевательский тон по отношению к нему, усвоенный всеми лефовцами.

Изобретательство вымученных острот, пустые разговоры, которыми занимались в лефовском окружении Маяковский, Брик, пугали меня. Поэзия, по моему глубокому внутреннему чутью, там жить не могла.

«Возможно, — думал я много после, вспоминая это время, — что Маяковский и Брик на эти занятия и вечера выносили лишь позу, наигрыш, что наедине с самим собой Маяковский был другим — с болью, с тяжестью на сердце, с душевной тревогой. А балаганил только на людях?» Возможно, что это и так. Но такое поведение неправильно — ведь они занимались с молодежью, которой нужно было открыть не секреты рифм, а секреты души.

Именно личное общение с Бриком и его тогдашними учениками, общение с Маяковским на вечерах, докладах — я посещал все его выступления в тогдашней Москве — приве-

ли меня к мысли о ненужности искусства вообще, ненужности стихов.

В большом волнении написал я письмо Сергею Михайловичу Третьякову. Третьяков мне ответил, и мы несколько раз встречались на Малой Бронной, где он жил тогда.

Третьякова я знал по статьям, по выступлениям, по пьесам, по журналистике. Роль его в левовских делах двадцатых годов была велика. Он возглавлял группу, враждебную Маяковскому, и вытеснил в конце концов Маяковского из «Нового Лефа», заменив его на посту редактора журнала.

Высокого роста, широкоплечий, с наголо выбритой маленькой головой, с птичьим профилем, тонкогубый, очень организованный, Сергей Михайлович Третьяков был пуристом и фанатиком. Принципиальный очеркист, «фактовик», разносторонне и широко образованный, Третьяков был рыцарем, пропагандистом документа, факта, газетной информации. Его влияние в Лефе было очень велико. Все то, за что Маяковский агитировал стихами — современность, газетность, — шло от Третьякова. Именно Третьяков, а не Маяковский был душой Лефа. Во всяком случае, «Нового Лефа».

Поэма «Про это» была напечатана в «Лефе». В «Лефе» была напечатана и поэма Третьякова «Рычи, Китай», переделанная позднее в пьесу и поставленная Мейерхольдом, имевшая очень большой успех...

«Рычи, Китай» написана Третьяковым на китайском материале. Третьяков был профессором русской литературы в Китае в самом начале двадцатых годов. А еще немного раньше Третьяков был министром народного просвещения в правительстве Дальневосточной республики.

У теоретика и вождя литературы факта был большой круг единомышленников, все расширявшийся: Дзига Вертов — в кинематографе, Родченко — в фотографии.

«Математика, — говаривал А. Н. Крылов, — это мельница. Она мелет все, что под нее подкладывают». А фотография? Снять можно ручей так, что на снимке он будет выглядеть как Миссисипи. По фотографии угла дома нельзя понять, что это — пирамида Хеопса или дачный сарай.

Человеческое лицо имеет тысячу выражений. Фотография ловит одно из них. Знаменитый фотограф Бруссар, снимавший лет шесть назад Москву, в Третьяковской галерее хотел снять военного с ребенком на руках, остановившегося близ картины. Но военный отошел, и Бруссар вслух пожалел о том, что пропал такой важный сюжет.

— Мы вернем военного. Попросим его еще раз встать.

— Да разве это можно? — сказал Бруссар.— Этого нельзя.

Документальное кино — хороший памятник времени, но разве оно может передать «душу времени»?

Живопись точнее фотографии. Разве портреты Серова не ответили на этот вопрос самым исчерпывающим образом?

Журналистика «лефовского образца» предполагала крайнюю профессионализацию литератора, мастера, «умеющего написать» все, что закажут.

Слов нет, мастерство — дело хорошее. Но нет специалистов слова, мастеров слова.

В Америке, говорят, в одном из газетных конкурсов пер-

вую и вторую премии получил один и тот же журналист, написавший каждую из статей с противоположных идейных позиций.

Такому ли мастерству надо учиться?

Третьяков учил журналистике, очерковой работе неустанно, живо и интересно. Всякая беседа была занятием, полезным профессионалам.

— Надо сделать вот что, — говорил Третьяков, сидя за письменным столом, аккуратно покрытым толстым стеклом.— Надо взять дом. Старый московский дом. Тот, что стоит на углу Мясницкой. И описать все его квартиры: людей, которые там живут, стены, мебель. Снять «фотографию» дома. Мы обязательно сделаем эту работу.

Все было интересно, полезно, но... главного не было и здесь. Здесь был догматизм, уость, еще большая, чем в Лефе, который разрывался от противоречий. Маяковский хотел писать стихи и был изгнан из «Нового Лефа». Писание стихов казалось Третьякову пустяками...

Третьяков одобрял Арсеньева, писал о нем много. Горького считал выдающимся мемуаристом. Но опыт «биоинтервью» его книги «Дэн Ши-хуа» не был удачен. Это была квалифицированная «литзапись» — не больше.

Я учился у Третьякова газетному делу, журналистике. Но решение вопросов «общего» порядка не казалось мне убедительным. Меня беспокоило, как собрались вместе столь разные люди, как Третьяков, Асеев, Шкловский. Мне казалось, я легко подскажу выход.

Третьяков слушал меня чрезвычайно неодобрительно.

— Да-да... Нет-нет... Да, конечно. Вы просто всего не зна-

ете... — И перевел разговор на другое: — Вы ведь работаете в «Радиогазете»?

— Да. В «Рабочем полдне» МГСПС.

— Вот и напишите для «Нового Лефа» статью «Язык радиорепортера». Я слышал, что на радио надо меньше употреблять шипящих, особым образом строить фразу — глагол выносить вперед. Фразы должны быть короткими. Словом, исследуйте этот вопрос.

— Я хотел бы написать кое-что по общим вопросам...

Третьяков посмотрел на меня недружелюбно. Тонкие губы его скривила усмешка.

— По общим вопросам мы сами пишем.

Больше я не был у Третьякова. Много лет спустя попалась мне в руки передовая «Литературной газеты»: «Расстрелянный японский шпион Сергей Третьяков...»

В 1956 году он был реабилитирован.

Асеев был непременным участником всех лефовских и нелефовских литературных вечеров, участником всех диспутов, споров. Асееву принадлежит знаменитый термин того времени «социальный заказ». Над этим термином много иронизировали, но суть его была — слушать, понимать, выполнять требования времени («Слушать музыку революции», — говорил Блок).

В ритмике «Черного принца» Асеева были скрыты все будущие «находки» «тактовика» Сельвинского.

«Черный принц» читался всюду. Это было ритменное открытие, новость.

Нэп внес немало смущения в души людей.

Асеев написал «Автобиографию Москвы»:

Под оскорблениями,
 под револьверами,
по переулкам
 мы
 пройдем впотъмах... —

«Электриаду» и лучшую свою вещь — поэму «Лирическое отступление»:

Как я стану твоим поэтом,
коммунизма племя,
если крашено —
 рыжим цветом,
а не красным — время?!

Эти строчки твердили на каждом углу Москвы.

Маяковский написал в это время «Про это».

«Синие гусары» написаны в 1926 году — к столетию декабристов. К этому же времени относится великолепное стихотворение «Чернышевский» (1929).

И мы говорили: вот если запретить писать стихи? Не то что запретить официально и можно будет как-нибудь писать для себя, втайне от всех, а нельзя никак — просто стихи будут исключены из жизни общества. Что будут делать поэты? Безыменский, например, бесспорно, будет на партийной работе, Жаров и Уткин — на комсомольской, Сельвинский будет работать бухгалтером в «Пушторге». А Асеев? Асеев перестанет жить. Мы думали, что и Асеев считает, что поэзия — судьба, а не ремесло. Маяковский показал это 14 апреля 1930 года — после того, как десять лет страстно уверял в обратном.

Так думали мы про Асеева в начале двадцатых годов. Но это продолжалось недолго.

Нас смушала искусственность его поэзии, холодок «мастерства», который, уничтожая поэта, делал его «специалистом», выполняющим «социальный заказ». Этот асеевский термин в большом ходу был в те годы. Сам Асеев толковал его уже более лично, чем тогдашние критики. Но термин был подхвачен, распространен. Позднее я увидел, что мастерство — далеко не главное в поэзии. Больше того. Мастерство может только оттолкнуть. Я понял, что поэт должен сказать свое, не обращая внимания на форму, пытаюсь донести до читателя новое и важное, что поэт в жизни увидел. И это новое и важное не может быть словесной побрякушкой. Чеховские слова насчет однозначности новизны и талантливости верны. Их потом повторил Пастернак:

Талант — единственная новость,
Которая всегда нова.

Уже в «Лирическом отступлении» было много мертвых строк. Самое лучшее — начало:

Читатель — стой!
Здесь часового будка,
Здесь штык и крик.
И лозунг. И пароль.
А прежде —
здесь синела незабудка
веселую мальчишеской порой, —

и т. д.

«Конная Буденного» была очень хороша, но она никого не волновала.

Поэма «Семен Проскаков» — о судьбе расстрелянного Колчаком дальневосточного партизана — была явной неудачей. Принимали ее вежливо-холодно.

Деятельность Асеева в качестве судейского репортера на процессе атамана Анненкова вызывала недоумение:

Вот он сидит — «потомок» декабриста,

— и т. д.

Напряженная работа над «газетным» стихом, во славу левовских теорий и вопреки неожиданно вырвавшемуся признанию:

Я лирик
по складу своей души,
по самой
строчечной сути, —

удивляла.

Внезапно Асеев получил письмо. Герой поэмы Семен Проскаков оказался живым и присылал «приветы товарищам по редакции». Поэма была уже мертва, а герой жив. Было тут какое-то противоречие искусства и жизни, неестественность такого рода поэзии.

В конце двадцатых годов и позднее в течение ряда лет Асеев поставлял в газеты так называемые «праздничные» стихи — «К 1-му мая», «К 7 ноября»...

Стихотворный «отклик на злобу дня» стал главным жанром Асеева. Поэма «Маяковский начинается» мало что изменила.

Но в начале двадцатых годов это был популярный, любимый Москвой поэт, от которого ждали стихов больше даже, чем от Маяковского. От Маяковского ждали шума, скандала, хорошей остроты, веселого спора-зрелища. Асеев казался нам больше поэтом, чем Маяковский, и, уж конечно, мы не считали поэтом Третьякова. Впрочем, вскоре он и сам себя перестал считать поэтом.

В одном из номеров журнала «Новый Леф» просил своих друзей присылать в редакцию «новые рифмы», «необыкновенные рифмы».

Маяковский и его друзья ставили дело «заготовки рифм» на широкие рельсы.

Сейчас я вспоминаю эту просьбу с улыбкой, но тогда я откликнулся на нее серьезно, наскоро заготовил несколько десятков рифм вроде «ангела — Англией», добавил несколько своих стихотворений и отправил, вовсе не ожидая ответа.

Через некоторое время я получил письмо Николая Асеева. Это было первое полученное мною в жизни письмо от известного литератора, да и стихов своих, хоть я писал их с детства, я никому не показывал.

Асеев благодарил за рифмы, написал, что у меня «чуткое на рифмы ухо», что касается стихотворений, то «если это первые мои стихи», то они заслуживают внимания, но главное — это «лица необщее выраженье» и т. д.

Много позже я понял, что никаких «первых стихов» не бывает, что поэт пишет всю жизнь и не писать не может, что так называемые «заготовки» — суета сует и только мешают пробиться истинному поэтическому потоку, что стихи — это не рифмы, а судьба, что цитата из Баратынского о «лица необщем выраженье» — банальность. Что «заготовки» не более нужны поэту, чем абрамовский словарь русских синонимов.

Кстати об Абрамове. К. Абрамов был автором многих брошюр популярных... Это были весьма толковые книжки — на уровне знаний начала века. Эти брошюры давали полезные сведения общекультурного характера — вроде нынешних брошюр Общества популяризации научных знаний. Поэ-

тов всегда было много. В аннотации на книжку Абрамова «Дар слова», напечатанную в 1912 году, сказано: «Полное и всестороннее ознакомление с трудностями поэтического творчества несомненно отобьет у непризванных охоту заниматься не соответствующим их таланту делом».

«Научиться писать стихи нельзя» — вот формула Абрамова. Книжка его — очень грамотно составленная небольшая антология современной тогдашней русской поэзии. Его толковая книжка и написана для того, чтобы защититься от потока стихотворений, заливающих издательства. Но поток не перестал быть мошным.

...Творческий процесс — это скорее процесс отбрасывания, отбора тех молниеносных, проходящих в мозгу сравнений, мыслей, образов и слов, вызванных рифмой, аллитерацией.

Лэфовцы говорили: мы обладаем «мастерством». Мы «специалисты» слова. Это мастерство мы ставим на пользу советской власти, готовы рифмовать ее лозунги и газетные статьи, писать фельетоны в стихах и вообще сочинять полезное.

Оказалось, что для настоящих стихов мастерства мало. Нужна собственная кровь, и пока эта кровь не выступила на строчках, поэта в настоящем смысле слова нет, а есть только версификатор. Поэзия — судьба, а не ремесло.

Евтушенко написал стихотворение «Карьера» — многословное, не очень верное с фактической стороны. На эту же самую тему исчерпывающим образом высказался Блок. Он сказал: «У поэта нет карьеры. У поэта есть судьба». Вот уровни суждений двух поэтов по одному и тому же вопросу.

Я стал ходить во Дворец труда, в кружок при журнале «Красное студенчество», которым руководил Илья Сельвинский.

Здесь была уже сухая абракадабра. Мне хотелось больших разговоров об искусстве — меня угошали самодельными ямбами Митрейкина. Эти ямбы обсуждались подробно. Каждый слушатель должен был выступить. Заключительное слово произносил сам «мэтр» — Сельвинский, откинувшись на стуле, он изрекал после чтения первого ученика:

— Во второй строфе слышатся ритмы Гете, а в третьей — дыхание Байрона.

Первый ученик Митрейкин, давно потерявший способность краснеть, самодовольно улыбался. Это было еще хуже Лефа. Дважды послушав «тактовые» откровения Сельвинского и приватные беседы поэтов друг с другом во время «перекуров», я перестал ходить в «Красное студенчество».

Конструктивисты выпустили три сборника с претенциозными названиями: «Мена всех», «Госплан литературы», «Бизнес».

Услуги теоретика при конструктивистах выполнял Корнелий Зелинский.

Попытка записать стихотворение так, как оно говорится, приводила к следующим «достижениям»:

Нночь-чи? Сон'ы. Прох?ла'дыда.
Здесь в аллеях загалохше?го са'д'ы
И идоносятся толико стаон'ы? гит-та'оры
Та'ратинна-та'ратинна *ten*.

(Сельвинский,
«Цыганский вальс на гитаре»)

Все это знал еще Тургенев.

Понимая, что наблюдение такого рода можно «обы-

грать» только иронически, Тургенев вложил стихотворную тираду в уста комического персонажа. Тургенев чувствовал русский язык много лучше, чем его потомки.

В «Конторе» («Записки охотника») есть такие «конструктивистские» находки:

«Сидел дюжий парень с гитарой и не без удали напевал известный романс:

Э-я фа пасатыню удаляюсь
Ата прекарасаных седешенеха мест... и проч.».

По образцу лэфовцев конструктивисты готовили «смену». Молодые ученики Сельвинского назывались «констромольцами». Сколько-нибудь значительных поэтов из них не вышло.

Зато объявили себя конструктивистами Антокольский, Багрицкий и Луговской...

Мы хотели знать, как пишутся стихи, кто их имеет право писать и кто не имеет. Мы хотели знать, стоят ли поэты своих собственных стихов, хотели понять тот удивительный феномен, когда плохой человек пишет стихи, пронизанные высоким благородством. И чтобы нам объяснили — для чего нужны стихи в жизни. И будут ли в завтрашнем дне?..

Я поздно понял, что в глазах современников оценка поэта, писателя неизбежно другая, чем у потомков. Помимо таланта, литературных достоинств, живой поэт должен быть большой нравственной величиной. С его моральным обликом современники не могут не считаться... Нравственный авторитет собирается по капле всю жизнь. Стоит лишь оступиться, сделать неверный шаг, как хрупкий стеклянный сосуд

с живой кровью разбивается вдребезги. На этом пути не прощают ошибок.

Тогда я еще не понимал, что поэзия — это личный опыт, личная боль и в то же время боль и опыт поколения.

Я не понимал еще тогда, что писатель, поэт не открывают никаких путей. По тем дорогам, по которым прошел большой поэт, уже нельзя ходить. Что стихи рождаются от жизни, а не от стихов. Я понял, что дело в видении мира. Если бы я видел так, как Пушкин, — я и писал бы как Пушкин. Я понял также, что нет стихов квалифицированных и неквалифицированных. Что есть стихи и не стихи. Что поэзия — это душевный опыт и что лицейский Пушкин еще не поэт. Что Пушкин — это поэт для взрослых, и более того: когда человек поймет, что Пушкин — великий из великих, он, этот человек, и становится взрослым. В юности мы этого не понимаем, часто отдаем предпочтение Лермонтову. Но годы идут, и оценки наши меняются.

И еще: Пушкин не тот поэт, с которого надо начинать приобщение к русской поэзии. Он слишком сложен, не всегда понятен, он адресуется к людям, которые уже кое-что смыслят в стихах и многое смыслят в жизни. Начинать надо с Некрасова, Алексея Константиновича Толстого. А Пушкин — это вторая ступень. А дальше — Лермонтов, Тютчев, Баратынский; все это поэты, требующие не то что подготовки, а уже воспитанной любви к поэзии. Я делал сотни опытов в своей жизни: какое стихотворение человек запоминает первым в жизни. В дореволюционном школьном репертуаре было много различных «птичек божьих», но девяносто девять процентов опрошенных запомнили некрасовское «Как звать тебя? — Власом».

Вот характеристика двадцатых годов, сделанная Пастернаком в 1952 году (из письма к В. Т. Шаламову от 9 июля 1952 года. — И. С.).

«Наступили двадцатые годы с их фальшью для многих и перерождением живых душевных самобытностей в механические навыки и схемы, период, для Маяковского еще более убийственный и обезличивающий, чем для меня, неблагополучный и для Есенина, период, в течение которого, например, Андрею Белому могло казаться, что он останется художником и спасет свое искусство, если будет писать противное тому, что он думает, сохранив особенности своей техники, а Леонов считал, что можно быть последователем Достоевского, ограничиваясь внешней цветистостью якобы от него пошедшего слога. Именно в те годы сложилась та чудовишная «советская» поэзия, эклектически украшательская, отчасти пошедшая от конструктивизма, по сравнению с которой пришедшие ей на смену Твардовский, Исаковский и Сурков, настоящие все же поэты, кажутся мне богами».

И далее в том же письме:

«Из своего я признаю только лучшее из раннего («Февраль, достать чернил и плакать...», «Был утренник, сводило челюсти...») и самое позднее, начиная со стихотворения «На ранних поездах». Мне кажется, моей настоящей стихией были именно такие характеристики действительности или природы, гармонически развитые из какой-нибудь счастливо наблюдаемой и точно названной частности, как в поэзии Иннокентия Анненского и у Льва Толстого, и очень горько, что очень рано, при столкновении с литературным нигилизмом Маяковского, а потом и с общественным нигилизмом революции я стал стыдиться этой прирожденной своей тяги

к мягкости и благозвучию и исковеркал столько хорошего, что, может быть, могло бы вылиться гораздо значительнее и лучше».

Вряд ли можно с такой оценкой двадцатых годов согласиться. Но несомненно одно — внутренняя фальшь ошущалась Пастернаком с великой болью всю его творческую жизнь. Он считал, что поздно вышел на правильную дорогу. И все же — самое лучшее, самое главное — в осужденных им сборниках стихов. Ибо емкости строки, свежести наблюдения, чистоты голоса «Сестры моей жизни» и некоторых стихов более позднего времени Пастернак не достиг. В стихотворениях из романа в прозе много замечательного, но это все же не откровения «Сестры моей жизни». Пастернак говорил: «Я хочу сказать многое для немногих». Ему удалось сказать многое для многих.

Главные литературные группы — «Перевал» и РАПП — непрерывно росли «на местах». В городах рождались эти группы «парно»...

От «Перевала» в дискуссиях принимали обычно участие А. Лежнев, Дмитрий Горбов, позднее Давид Тальников. В ответственных случаях выступал сам Воронский.

Воронский был не только редактором «Красной нови» и журнала «Прожектор». Он был капитальным по тому времени теоретиком искусства и литературы — автором книги «Искусство видеть мир». Он написал десятки критических статей, писательских портретов, полемических статей по вопросам литературы.

...Профессиональный революционер, Воронский был личным другом Ленина, посещавшим его в Горках в дни бо-

лезни, до самой смерти. Был консультантом Ленина по вопросам эмигрантской литературы в начале двадцатых годов.

В диспутах с Маяковским Воронский, помнится, вовсе не выступал.

Знаменитый четырехтомник Есенина (с березкой) выпущен под редакцией Воронского и с его очень теплой вступительной статьей.

Есенинская поэма «Анна Снегина» посвящена Воронскому.

Воронский стоял во главе большого издательства «Круг».

Словом, роль его в двадцатые годы была весьма приметной. Он был одним из главных строителей молодой советской литературы, воспитал и оказывал помощь многим писателям.

Года два назад критик Машбиц-Веров, живущий ныне в Саратове, в статье в «Литературную газету» звал Леонова и Федина рассказать о роли Воронского в становлении их как писателей.

Издательство «Круг» и редакция «Красная новь» были в Кривоколенном переулке.

Я пришел на одно из редакционных собраний.

Была зима, но не топили, и все сидели в шубах, в шапках. Электричество почему-то не горело. Стол, за которым сидел Воронский, стоял у окна, и было видно, как падают черные снежинки. На плечи Воронского была накинута шуба, меховая шапка надвинута на самые брови. На столе горела керосиновая лампа-«десятилинейка», освещая сбоку силуэт лица Воронского, блеск его пенсне — огромная тень головы передвигалась по потолку, пока Воронский говорил. О чем шла речь? О достоинствах чьей-то повести, предназначенной для

очередного альманаха. На диване напротив тесно сидели люди, кто-то курил, и холодный голубой дым медленно поднимался к потолку.

Рядом с диваном на стульях, а то и прямо на полу сидели люди. Перед тем как начать говорить, вставали, двигались чуть вперед, и луч керосиновой лампы ловил их лица, и тогда я их узнавал: Дмитрий Горбов, Борис Пильняк, Артем Веселый...

В начале революции Воронский работал в Иванове редактором областной газеты «Рабочий край». Потом переехал в Москву, изложил Ленину план создания первого «толстого» литературно-художественного журнала. Организационное собрание журнала «Красная новь» состоялось в квартире Ленина, в Кремле. Присутствовали: Н. К. Крупская, В. И. Ленин, А. М. Горький, А. К. Воронский. Доклад о журнале был сделан Воронским, и было решено, что художественной частью будет заведовать Горький, а редактором журнала станет Воронский. Для первого номера Ленин дал статью о продналоге, а писатель Всеволод Иванов — свою первую повесть «Партизаны».

Горький связал Воронского с ленинградскими писателями — с бывшими «Серапионами».

Ленин угадал в Воронском талант литературного критика, так же как в Вацлаве Воровском угадал дипломата, а в Цюрупе — крупного государственного деятеля. Встречаясь когда-то в ссылке со многими людьми, Ленин оценивал их будущие возможности в качестве строителей государства, искусства...

В тридцатых годах я был на «чистке» Воронского. Его спросили: «Почему вы, видный литературный критик, не на-

писали в последние годы ни одной критической статьи, а пишете романы, биографии?»

Воронский помолчал, вытер носовым платком стекла пенсне: «По возвращении из ссылки я сломал свое перо журналиста».

...Нэп вызвал к жизни «Смену вех». И. Лежнев редактировал журнал сменовеховцев «Россия», где печатали роман Михаила Булгакова «Белая гвардия».

Роман этот вызвал большой интерес. Было сразу видно, что в русскую литературу пришел новый большой талант.

Булгаков, альбинос со светло-голубыми глазами, с мало-выразительным лицом, был живым опровержением всяких «френологических» теорий. В детстве моем бытовало мнение, что объем головы, высота лба — верные внешние признаки мудрости. Мозг Тургенева весил необыкновенно много. Но время подрезало эти теории: мозг Анатоля Франса весил ничтожно мало. Что же касается моих многих наблюдений, то самым умным и самым достойным человеком, встреченным мной в жизни, был некто Демидов, харьковский физик. Узкие, в шелочку, глаза, невысокий лоб с множеством складок, скошенный подбородок.

Михаил Булгаков — киевлянин. Валентин Катаев — одесит. Они первые приехали в Москву с юга страны, первыми завоевали писательское место.

Одесса и вообще юг сыграли заметную роль в «географии» молодой советской литературы. Бабель, Петров, Олеша, Багрицкий, Паустовский, Ильф, Кирсанов — все они с юга.

Виктор Шкловский когда-то писал о «юго-западной

школе» нашей литературы, а первый сборник стихов Багрицкого так и называется — «Юго-запад».

Потом, в конце тридцатых годов, многих литераторов переместили на северо-восток нашей страны. Это обстоятельство иронически обыграно в названии сборника стихов В. Португалова, вышедшего в 1960 году. Португалов, чья биография, вынесенная в аннотацию, сама звучит как стихи, посвятил свой сборник Багрицкому и назвал книжку — «Северо-Восток».

Булгаков выступает с фантастической повестью «Роковые яйца», со сборником рассказов «Дьяволиада».

Рассказы и особенно повесть встречают резкую критику газет.

Булгаков работает в «Гудке», пишет очерки для «30 дней», рассказы для «Медицинского работника». Он переделал в пьесу свой роман «Белая гвардия».

«Дни Турбиных» — это не просто инсценировка романа. Некоторые действующие лица отброшены, одни характеры усилены, другие — смягчены...

«Дни Турбиных», постановка которых была разрешена только лишь Художественному театру. С Хмелевым и Добро-нравовым в роли Алексея Турбина и Тарасовой и Еланской в роли Лены — пьеса имела огромный, ни с чем не сравнимый успех.

Первая редакция (ближе стоящая к тональности романа) особенно вызывала много шума, крика, вплоть до скандалов и свиста в театре. Пьесу сняли как прославляющую бело-гвардейцев.

Вскоре «Дни Турбиных» были восстановлены в новой ре-

дакции. Эта новая редакция была чисто театральной. Текст был тот же самый, но знаменитое «Боже, царя храни», которое пели офицеры на елке — торжественно, во второй редакции пели пьяным нестройным хором.

Словом, в игре актеров было усилено критическое «отношение к образу». Помните Вахтангова: актер должен играть не образ, а свое отношение к образу.

Конечно, навечно запомнятся нам и Хмелев — Алексей Турбин, и Яншин — Лариосик. Именно этой ролью Яншин и начал свой славный театральный путь.

На премьере первой редакции «Дней Турбиных» был скандал. Какой-то военный и комсомолец громко свистели, и их вывели из зала.

Луначарский в большой статье, помещенной в «Известиях», опубликованной ко времени возобновления пьесы, разъяснял мотивы Реперткома, вновь разрешающего «Дни Турбиных» к постановке. Пьеса талантлива. Главная мысль ее в том, что если белые идеи и были гнилыми идеями, обреченными на гибель, то люди, которые их защищали, были — сплошь и рядом — вовсе неплохими людьми.

Что же касается шиканья в зале, то Луначарский разъяснял, что шиканье наряду с аплодисментами — вполне правомерный способ публичного выражения своих симпатий и антипатий в театре, своего отношения к спектаклю, и поэтому администрации Художественного театра на сей предмет сделано строгое внушение.

«Дни Турбиных» в Художественном театре, несомненно, самая яркая пьеса двадцатых годов.

Выдающийся драматург, Булгаков ставил одну пьесу за другой: «Зойкина квартира» у Вахтангова, «Багровый ост-

ров» в Камерном театре, «Мольер» в Художественном. Готовился в МХАТе «Бег». Для Художественного театра, чьим автором Булгаков работает ряд лет при горячей поддержке Станиславского, Булгаков пишет пьесу «Мертвые души» по Гоголю.

Проза Булгакова — и его первый роман, и повести — испытывала сильное влияние гоголевской прозы. Если Пильняк получил гоголевское наследство из рук Андрея Белого, то Булгаков на всю жизнь был представителем непосредственно гоголевских традиций. Это сказывалось не только в его словаре, но и в совершенном знании сцены, театра, и в пристрастии к фантастическим сюжетам, в любви к драматургической форме.

Пьеса «Мертвые души» написана очень тонко. Там есть «досочиненный» вполне в гоголевском плане пролог, есть действующие лица, «о которых и не слышно было никогда».

Конечно, лучше Булгакова никто бы не инсценировал Гоголя.

...Плотников, учитель русской литературы в Якутии, проработавший среди якутов двадцать пять лет, всю жизнь собирал якутский эпос. Все сказы и легенды якутского народа были Плотниковым собраны, переведены на русский язык классическим размером «Гайаваты» Лонгфелло в переводе Бунина. Толстый сборник якутского фольклора под названием «Янгал-Маа», что значит «тундра», был Плотниковым упакован и направлен посылкой в журнал «Новый мир». Редакции журнала рукописи Плотникова показались «самотетом», литературным сырьем, которое должно было получить обработку, прежде чем попасть в печать. Материал же был

очень интересен, своеобразен, уникален. Ничего не сообщая Плотникову, редакция журнала передала рукопись поэту Сергею Клычкову, автору «Чертухинского балакиря», и Сергей Клычков, отложив все дела, в довольно короткое время привел рукопись в христианский вид. Исключив всякие повторения эпизодов, выправив сюжетное начало, переделав «Янгал-Маа» от строки до строки, Клычков сдал в «Новый мир» перевод с якутского, названный им «Мадур-Ваза Победитель» по имени главного героя якутского эпоса. Поэма — так назвал свое произведение Клычков — включала ни много ни мало как тридцать шесть тысяч стихотворных строк.

Журнал с поэмой Клыčkова вышел в свет и дошел до Якутска. Потрясенный Плотников бросился в Москву, требуя расследования, обвиняя Клыčkова в плагиате, требуя выплаты денег ему, Плотникову, за двадцатипятилетний его труд. Оказалось, что деньги Клычков получил уже давно. Оказалось, что издательство «Academia» заключило с Клычковым договор на издание «Мадур-Вазы» и тоже заплатило ему деньги сполна.

Было расследование. Работа Клыčkова над рукописью Плотникова была признана имеющей самостоятельное художественное значение, и все претензии к Клычкову разом отпали. Редакции журнала был объявлен выговор. А издательству «Academia» было предложено заключить договор с Плотниковым и издать его рукопись вместе с произведением Клыčkова.

Так вышла в свет удивительная книга, где напечатаны два одинаковых, по существу, текста — без всяких объяснений.

Книгу Плотникова и Клычкова и сейчас можно видеть в Ленинской библиотеке.

...Тогда же в редакциях научных журналов, в коридорах научных институтов появлялась маленькая фигурка старичка в сером пиджаке, с небольшой бородкой, с неизменной палкой в руках. За его спиной обычно возникал шепот удивления. Старичок был автором многих работ по электротехнике, редактором технической энциклопедии по вопросам электротехники, создателем еще нового у нас тогда дела — первых «пластмасс».

Говорили, что темы многих диссертаций родились из случайных бесед со старичком — бесед, в которых он никому не отказывал.

Гонорара за свои статьи старичок не брал. Жил одиноко. Его звали Павел Флоренский (1882—1943. — *И. С.*). В дореволюционное время он был священником — профессором Духовной академии, виднейшим теоретиком православия, автором фундаментального на сей счет труда.

В науке это была фигура мирового значения...

...В Кунцеве образовалось нечто вроде предместного укрепления одесситов перед Москвой. Там жили Кирсанов, Багрицкий, Бродский, Олендер, Кольчев.

Кирсанов выступал на каждом литературном вечере, даже если его и не приглашали.

Публике нравилась его неисчерпаемая энергия, а главное — великолепное чтение. Читал он настолько здорово, что чуть не всякое прочтенное им стихотворение казалось замечательным — до тех пор, пока не удавалось прочесть его, взять в руки. Тогда впечатление менялось. Кирсанов не-

даром был крайним сторонником «звучащей поэзии» — бóльшим, чем его старшие товарищи — Маяковский и Асеев. С широковещательными речами Кирсанов по молодости лет еще не выступал. Чтение стихов — и ничего больше. Но на всех сценах и авансиенах протискивалась его энергичная фигурка, слышался звонкий голос, что его обижают, что ему Уткин и Жаров не дают читать стихи, что у него стихи — хорошие, пусть только разрешат ему прочесть, и он себя покажет. Обычно прочесть ему разрешали — для слушателей это было неожиданным и приятным сюрпризом. Читал он «Плач Быка», «Германию», все те стихи, которые вошли в его сборник «Опыты».

...Эстрадную популярность в Москве Кирсанов завоевал себе быстро.

Когда Полонский на одном из диспутов сказал «какой-то Кирсанов», Виктор Шкловский заметил, что «если Полонский не знает Кирсанова, то это факт биографии Полонского, а не Кирсанова».

Остроты, полемику — пусть даже самую грубую — в двадцатые годы очень любили.

Самым остроумным оратором литературных диспутов того времени я считал Виктора Шкловского.

Несравненный полемист, эрудит, Шкловский привлекал к себе всеобщее внимание. Книги его читались нарасхват. Каждая строчка там была умна, остроумна, нова. Его лысый череп приветствовали все.

Свой своеобразный литературный стиль Шкловский заимствовал у Василия Розанова, автора «Опавших листьев» и других интересных книг. Но кто в двадцатые годы знал, и помнил, и почитал Розанова?

Слог Шкловского казался всем открытием.

Пародист Александр Архангельский написал очень удачную пародию на Шкловского и назвал ее «Сухой монтаж». В первом издании (в той же Библиотечке «Огонька») название это было сохранено. Но в дальнейшем Архангельский изменил его на «Сентиментальный монтаж».

Библиотечка «Огонька», которой занимался Ефим Зозуля, много значила в литературной жизни тогдашней... Это был по-газетному оперативный издательский отклик на злобу дня, на новинки художественной литературы. Библиотечка «Огонька» знакомила с новыми именами в прозе и поэзии, вслед за журналами и много раньше отдельных изданий. Библиотечка была на переднем крае литературы. Успех писателя, поэта — новое или старое имя — это все равно — сейчас же находил отражение в библиотечке «Огонька». Для многих библиотечка была подтверждением успеха в дороге к большому читателю. Михаил Кольцов с Зозулей обдумывали это издание.

...В середине двадцатых годов выдвинулся молодой писатель Н. Г. Смирнов. Он выпустил увлекательную книгу, роман «Дневник шпиона». Знание дела, обнаруженное Смирновым, привело его неожиданно на Лубянку, где он в течение двух месяцев показывал — какими материалами он пользовался для своего «Дневника шпиона». Смирнов владел английским языком, достал несколько мемуарных книг английских (в том числе воспоминания Сиднея Рейли, известного в Москве по заговору Локкарта), читал английские газеты. Когда все разъяснилось, Смирнова освободили.

«Дневник шпиона» пользовался шумным успехом, но больших художественных достоинств не имел. Впрочем,

Смирнов был безусловно талантливее писателя Николая Шпанова.

Поэт северянинского толка Лев Никулин выпустил толстую книжку «Адьютанты господ бога». Это был роман на ту же «модную» тему о «последних днях самодержавия». Я не остановил бы внимания на этой книжке, если бы не особые обстоятельства. Через много лет мне пришлось познакомиться с неким Осипенко — бывшим секретарем митрополита Питирима, покровителя Распутина. Петербургский митрополит Питирим и ввел Распутина в царское окружение. Молодой Осипенко играл там не последнюю роль, во всяком случае, видел очень много. На все мои просьбы хоть что-нибудь рассказать о Распутине Осипенко отвечал категорическим «нервным» отказом. В разговоре я случайно упомянул о книге Никулина.

— Вот с этой проклятой книги все и началось, — с чувством произнес Осипенко.

Выяснилось, что Осипенко самым хладнокровным образом работал в Ленинградской милиции делопроизводителем, твердо надеясь на «перемены». Так прошло несколько лет. Вышли «Адьютанты господ бога», где Осипенко был одним из главных героев. Его разоблачили, судили и сослали на пять лет. Это был самый первый случай активного вторжения писателя в жизнь, какой я наблюдал. Никулин и до сих пор не знает об этой истории. Он работал по архивам, по чужим воспоминаниям...

Горький двадцатых годов — это Горький Сорренто, ведущий большую переписку с советскими писателями и вообще с советскими людьми... Время от времени в газетах публико-

вались письма работниц и рабочих Горькому и ответы Горького на них, где он объяснял, почему он живет за границей: лечится, пишет...

Начинающие писатели паковали рукописи и посылали их в Сорренто Горькому. Горький все читал и на все отвечал самым сочувственным образом, только в случаях крайнего «графоманства» отвечая осудительно.

Его толкование таланта как труда, недостаточно четкое и неверное, родило множество претенциозных бездарностей. Бездарные люди ссылались на горьковский авторитет и заваливали редакции журналов рукописями и угрожающими оскорбительными письмами.

«Горький — отец самотека», — говорили в одной из редакций.

Мне кажется, что Горький действовал из самых лучших побуждений — желая разбудить «дремлющие силы», открыть дорогу всем, кто может писать.

Что касается таланта и труда, то мне больше нравится известная формула Шолом-Алейхема: талант — это такая штука, что если уж он есть, то есть, а если уж его нет — то нет. Суть дела, мне кажется, в том, что труд есть потребность таланта. Всякий талант — не только качество, а (и обязательно!) количество. Талант работает очень много.

Горькому очень верили. Его советы задержали на много лет развитие такого крупнейшего самобытного таланта, как Андрей Платонов. Платонов почти все написанное посылал Горькому. Горький отсоветовал ему печатать два романа, десятки рассказов...

Горький двадцатых годов — это автор книг «Детство», «Мои университеты», «В людях», романа «Дело Артамоно-

вых», воспоминаний о Ленине, о Толстом. Все это издавалось, читалось, но никто не знал, вернется ли Горький в Советский Союз.

Оценка его творчества в целом была иной, чем в тридцатые годы, иной, чем сейчас.

Вацлав Боровский, крупный литературовед-марксист, в своих дореволюционных статьях о Горьком не считал его писателем рабочего класса (он считал его живописцем люмпен-пролетариата и купечества, в некоторой степени бытописателем интеллигенции, а «Мать» считал художественно слабым произведением).

С такими же примерно оценками выступал и Луначарский в первой половине двадцатых годов. Каясь в своих собственных «богостроительских» грехах, Луначарский не упускал возможности заметить, что в этих грехах повинен и Горький.

Зимой 1926—1927 года в Коммунистической аудитории университета при баснословном стечении народа — студенчества и пришедших «с улицы» — Воронский сражался с Авербахом. После доклада Авербаха, довольно мучительного (у него был какой-то дефект речи, хотя голос был звонкий, отличный), выступил Воронский.

Снял зимнее пальто, положил его на кафедру. Стал излагать свою позицию:

— Вы подумайте, что они пишут, эти молодые товарищи. — Читает: — «Пролетарская литература уже сейчас насчитывает многие имена — Гладкова, Березовского, Горького». Извините, извините. Горького вы сюда не причисляйте...

Горький приехал. Толпа у Белорусского вокзала. Плачу-

ший высокий человек с черной шляпой в руках — вот все, что я видел тогда.

В лефовских кругах приезд Горького был встречен недовольным ворчаьем — как-никак «Письмо» (Маяковского) после приезда Горького перестало быть козырем.

Шкловский написал фельетон (напечатанный в «Новом Лефе»), где, признавая достоинства Горького как талантливого мемуариста — «Детство», «В людях», «Мои университеты», — видел в художественных произведениях многочисленные недостатки. Так, Шкловский, обвиняя Горького в бедности изобразительных средств, подсчитал, сколько раз на протяжении романа «Дело Артамоновых» Петр Артамонов берет за ухо.

В то время в «Известиях» подвалами печатались главы из нового романа Горького «Жизнь Клима Самгина». Шкловский писал: вот в газетах целую неделю из подвала в подвал ловят сома и никак поймать не могут. А за это время произошли важные события, жизнь идет, а в «Известиях» ловят сома из номера в номер.

Это было время сближения Шкловского с Третьяковым, апологетом «литературы факта».

Приезд Горького оживил литературную жизнь. Сам он поехал по Союзу знакомиться с новой жизнью.

Тогда все ждали прихода Пушкина. Считалось, что освобожденная духовная энергия народа немедленно родит Пушкина или Рафаэля. Сжигать Рафаэля и сбрасывать Пушкина с парохода современности в двадцатых годах уже не собирались, а жадно и всерьез ждали прихода гения, с надеждой вглядываясь в каждую новую фигуру на литературном гори-

зонте. Пушкин не появлялся. Этому находили объяснения: дескать, «время трудновато для пера» и современные Пушкины работают в экономике, в политике, что Белинский нашего времени не писал бы критических статей о литературе, а подобно Воровскому был бы дипломатом.

Наш Гоголь, наш Гейне, наш Гете, наш Пушкин, —
Сидят, изучая политику цен.

Считалось, что Пушкин сидит еще на школьной скамье (осваивая Дальтон-план).

Но время шло, а Пушкина все не было.

Стали понимать, что у искусства особые законы, что вопрос о Пушкине вовсе не так прост. Стали понимать, что нравственный облик человека меняется крайне медленно, медленнее, чем климат земли. В этом обстоятельстве — главный ответ на вопрос, почему Шекспир до сих пор волнует людей. Время показало, что так называемая цивилизация — очень хрупкая штука, что человек в своем нравственном развитии вряд ли прогрессирует в наше время. Культ личности внес такое растение в души людей, породил такое количество подлецов, предателей и трусов, что говорить об улучшении человеческой породы — легкомысленно. А ведь улучшение человеческой породы — главная задача искусства, философии, политических учений.

Но в двадцатые годы на вопрос: где же Пушкин? — все отвечали: «Наш Пушкин — на школьной скамье!»

Лишь несколько лет назад вспыхнули «Двенадцать» Блока. Поэму везде читали. С рисунками Анненкова она расходилась по стране вслед за марсельезой «На зашиту красного Питера» Демьяна Бедного.

Но в 1921 году Блок умер. Дневники его последнего года жизни: нетвердые, тонкие буквы, нарисованные слабой, дрожащей рукой.

...Вышла книжка-мистификация «Персидские мотивы» Сергея Есенина. Есенин никогда в Персии не был и написал ее в Баку, что по тем временам выглядело почти за границей.

Встречено это было одобрительно, читалось хорошо. Вспоминали Мериме с «Песнями западных славян».

Но слава «Москвы кабацкой» перекрывала все.

Ранний московский вечер, зимний, теплый. Крупные редкие хлопья снега падают отвесно, медленно. Газетчики голосят на Триумфальной:

— Газета «Вечерняя Москва»! Новая квартирная плата! Самоубийца поэт Есенин!

Так и не пришлось мне услышать, увидеть Есенина — красочную фигуру первой половины двадцатых годов.

Но все, что было после, помню: коричневый гроб, приехавший из Ленинграда. Толпа людей на Страстной площади. Коричневый гроб трижды обносят вокруг памятника Пушкину, и похоронная процессия плывет на Ваганьково.

Самоубийство поэта наполнило новым смыслом, живой кровью многие, многие строки его стихов. То, что казалось позой, на поверку оказалось трагедией. Плохая «отделка» многих стихов отступала в сторону перед живой правдой, живой кровью.

Есенин был имажинистом. Вождем этой группы был Вадим Шершеневич, сын знаменитого профессора права Г. Шершеневича.

Вадим Шершеневич, хорошо понимая и зная значение всякого рода «манифестов», высосал, можно сказать, из

пальца свой «имажинизм». Есенин был в его группе, Есенин — любимый ученик и воспитанник Николая Клюева, который, казалось бы, меньше всего склонен к декларациям такого рода. Застольная дружба привела его в объятия Шершеневича. Впрочем, Шершеневич войдет в историю литературы не только благодаря Есенину.

Его сборник стихов «Лошадь как лошадь» попал в ветеринарный отдел книжного магазина...

Случаи такие не редкость. Подобную судьбу испытывали и «Гидроцентральный» Шагинян и «Как закалялась сталь» Островского. Некоторые стихи Шершеневича из этого сборника твердила тогда вся литературная и не литературная Москва.

А мне бы только любви немножечко
И десятка два папирос.

Вскоре Шершеневич выпустил книжку с давно ожидаемым названием «Итак, итог» и укрепился как автор текстов к опереттам.

...С уважением произносилось имя Николая Клюева — одаренного поэта, волевого человека, оставившего след в истории русской поэзии двадцатого века. Пропитанная религиозными мотивами, церковным словарем, поэзия Клюева была очень эмоциональна. Есенин начинал как эпигон Клюева. Да и не один Есенин. Даже сейчас клюевские интонации встречаются в стихах, например, Виктора Бокова. Революцию Клюев встретил оригинальным сборником «Медный кит», выпустил двухтомник своих стихов «Песнослов» (1919).

Клюев играл заметную роль в литературных кругах. Человек умный, цепкий, он ввел в литературу немало больших поэтических имен: Есенина, Клычкова, Прокофьева, Павла

Васильева. Талант Клюева был крупный, своеобразный. Во второй половине двадцатых годов он уже был где-то в ссылке, ходил в крестьянском армяке, с иконой на груди.

Своеобразной фигурой тех лет был Зубакин, поэт-импровизатор. Это настоящий живой импровизатор, выступавший изредка в тогдашнем Доме печати. Хотя его стихи нельзя было назвать настоящими стихами, все же способности импровизатора у него были. Впоследствии, в те же двадцатые годы, Зубакин куда-то исчез...

Зубакин занимался гипнотизмом, передачей мыслей на расстояние и, находясь в тюрьме, привел, говорят, в трепет всех «блатных» своими опытами.

Больше я о нем не слышал ничего.

Тарас Костров, редактор «Комсомольской правды», был живым героем, как бы сошедшим со страниц революционного романа. Он не только вырос в революционной семье — он даже родился в тюрьме. Изобретательный газетчик, талантливый публицист, хорошо образованный человек, он внес в «Комсомольскую правду» задор, горячность, любовь к делу. Сотрудникам «КП» в то время клали на стол пять газет ежедневно — из них две «провинциальные» из наиболее крупных, три — московские и ленинградские. На чтение этих газет отводился час. Каждый работник, действуя красным и синим карандашом, должен был оценить материал текущего номера — простым подчеркиванием, всякими «нотабене». Внимание должно было касаться и оформления газеты. Потом Костров собирал эти газеты и просматривал. Так он учил газетному вниманию, а для себя — видел рост сотрудника. Бывали дни, когда Костров садился за стол секретаря, заведующего любым отделом, литправшика и работал

целый день на этой «должности» — показывая, как надо работать...

Костров охотно печатал Маяковского. В «Правде» Маяковский печатался редко, считал такую удачу «нечаянной радостью» для себя. И вовсе был туда невхож...

Но в «Комсомольской правде» Маяковский был свой человек. Костров печатал там Асеева, Кирсанова, Уткина, Жарова. Напечатал поэта, чьи стихи прозвучали тогда очень свежо и молодо, — Николая Ушакова.

Николай Николаевич Ушаков и сам, наверное, не знает, как многочисленны его поклонники. Ушаков обещал очень много в первых своих стихах. И удивительна его судьба. Лефовцы числили его своим, усиленно печатали в «Новом Лефе», пока там хозяйничал Маяковский, и знаменитые «Зеленые» напечатаны именно там.

Сельвинский произвел Ушакова в основатели тактового стиха. И Бухарин в докладе на I Съезде писателей поставил Ушакова вместе с Пастернаком.

Человек скромный, Ушаков был несколько растерян, был больше смущен, чем рад. Себя он знал. Второй его сборник, «30 стихотворений», остался лучшей его книгой.

В 1926 году неожиданно умер Дмитрий Фурманов — писатель, на которого возлагались очень большие надежды. Начало его литературной деятельности — «Чапаев» и «Мятеж».

Фурманов был бывший анархист, видная фигура первых дней революции. Анархические идеи он оставил, вступил в партию большевиков, был комиссаром у Чапаева. Анархистов в те годы в Москве было не так мало. На Тверской, напротив кино «Арс» (теперь Театр им. Станиславского), был

клуб анархистов, дом, над которым еще в 1921 году развешалось черное знамя... Музей им. Кропоткина — в том доме, где он родился и вырос, — существовал до тридцатых годов.

В середине двадцатых годов клуб анархистов был закрыт, и многие его деятели перекочевали в столовую с необыкновенным названием-вывеской, выполненной на кубистский манер: «Всеизобретальня всечеловечества».

Членами этого кооператива (их кормили в столовой со скидкой) могли быть только изобретатели. Писатели, политические вожди приравнивались к изобретателям. Заводским БРИЗом здесь и не пахло. Члены кооператива были заняты высокими материями: «Как осчастливить человечество», «Проект тоннеля через Ла-Манш» и в этом роде.

Случилось так, что один наш знакомый, некто Ривин, был членом этого кооператива. Он изобрел метод «сочетательный диалог» — экономный и универсальный способ изучения наук. Способ этот заключался в том, что чуть грамотного человека заставляли зазубрить бином Ньютона и рассказать товаришу. А тот рассказывал в ответ квадратные уравнения. Так в своеобразной «кадрили» пары кружились до тех пор, пока не проходили всей программы. Потом бегло все приводилось в порядок, и курс был закончен. Таким же способом Ривин поступал и с литературой, и с историей, и с физикой. Никаких преподавателей не было, были только карточки, заполненные Ривиным собственной рукой.

В газетах того времени часто встречались объявления Ривина «Высшее образование — за год! Каждый сам себе университет».

Летом 1926 года я готовился в университет, бросил работу и в занятиях Ривина видел способ все хорошо повто-

ритель. Но там дело шло вовсе не о повторении, и, видя, что я знаком со школьной программой, Ривин во мне разочаровался, но мы сохранили хорошие отношения.

Вот он-то и водил меня в столовую «Всеизобретальня всечеловечества». Особой дешевизны в блюдах не было, впрочем. На стенах «всеизобретальни» висели кубистские картины (сегодня бы их назвали абстрактивистскими)...

Ривин, член партии, вел свой «сочетательный диалог» в кружке при ЦК партии.

Чудак он был большой, низкорослый, лобастый, с большой лысиной, черноволосый, в вельветовой потертой куртке, с блестящими черными глазами.

В читальне МК на Большой Дмитровке, где вход был свободный, а в библиотеке давали все эмигрантские газеты, приятель, вместе со мной готовившийся в вуз, встретил Ривина. Ривин оказался его соседом. Приятель мой спросил Ривина без всякого подвоха, желая воспользоваться им как словарем:

— Скажите, что такое «валовая продукция»?

— Вот приходите на сочетательный диалог в Козицкий, я там вам и скажу.

Анархистом был и Гроссман-Рошин. Огромного роста, страстный спорщик, вечный дискуссионщик всех литературных собраний того времени. Он был литературный критик. Чуть не в каждом номере «На литпосту» появлялись его статьи на литературные темы.

Гроссман-Рошин был видным рапповским оратором. В годы гражданской войны он вместе с другими вождями русского анархизма был в штабе Махно, давая батьке советы по строительству анархистского общества.

Ему было далеко за пятьдесят. Седой, рыжеволосый, в железных очках, которые он иногда снимал и протирал, и большие близорукие голубые глаза его мог видеть каждый.

Литературоведению Гроссман-Рошин оставил термин «организованная путаница». Смысл в этом термине был.

Вышла «Конармия» Бабеля. Встречена она была восторженно. Буденный резко выступил в печати о тени, которую якобы набросил Бабель на конармейцев, но буденновский демарш не имел успеха. Было ясно, что художественное произведение есть прежде всего художественное произведение.

Еще ранее «Одесские рассказы» были напечатаны в «Лефе», как и некоторые рассказы из «Конармии»... Слова: «Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, об дать кому-нибудь по морде, об своих конях — и ничего больше» — были у всех на устах. МХАТ 2-й поставил чудесную пьесу Бабеля «Закат» — о семье одесского биндюжника Менделя Крика, о современном короле Лире, пьесу трагедийного звучания. Вахтанговский театр готовил еще одну пьесу Бабеля — «Мария». Героини этой пьесы Марии не было среди действующих лиц, но вся пьеса рассказывала о ней, создавала ее образ. Похожий опыт проделал когда-то Гауптман в пьесе «Флориан Гейер», но там Гейер показывался хоть на одну минуту. В «Марии» этот принцип был выдержан полностью.

Для кино Бабель написал сценарий «Еврейское счастье» — о Биробиджане. Был поставлен одноименный фильм, где главную роль играл Михоэлс — актер Еврейского театра, одна из самых привлекательных фигур мира искусства двадцатых годов...

Сам Бабель выступал на литературных вечерах с чтением своих рассказов редко...

Короткие фразы Бабеля, его неожиданные сравнения — «пожар, как воскресенье», «девушки, похожие на ботфорты» — имели большой читательский успех, вызвали много подражаний...

В Москву приехал основоположник «телеграфного языка» Джон Дос Пассос, чьи романы «42-я параллель» и «1919» были у нас переведены В. Стеничем (тем самым Стеничем, о котором пишет Блок в дневнике последнего года жизни).

Дос Пассос запомнился мне тем, что он отказался от посещения Большого театра, Эрмитажа и ездил только в рабочие клубы (в клуб им. Кухмистерова и другие), а в Ленинграде — по памятным ленинским местам.

Смело ездил в московских трамваях, а езда в московских трамваях того времени требовала крепкого здоровья, хладнокровия и вестибулярного аппарата повышенного сопротивления.

...РАПП набирал силу. Вышел «Разгром» Фадеева — также встреченный очень хорошо. Все журналы, кроме «Нового Лефа», где О. Брик написал легковесную, но остроумную статью «Разгром Фадеева», поддержали новое произведение.

Вышли «Бруски» Панферова, и Панферов стал редактором «Октября».

«Бруски» успешно соперничали с «Поднятой целиной» Шолохова.

Еще раньше «Поднятой целины» Шолохов написал «Тихий Дон». Вышла первая книга. Это была чудесная проза.

Я очень хотел бы еще раз испытать те же чувства, которые я испытывал при чтении «Тихого Дона». Прочесть «Тихий Дон» впервые — большая радость. Всем было ясно, что пришел писатель очень большой.

Прошло вовсе не замеченным первое выступление Пастернака в прозе — повесть «Детство Люверс» и несколько рассказов. Рассказы были не очень интересными, а повесть замечательна: по емкости каждой фразы, по наполненности, по великой точности наблюдений, по эмоциональности.

Вера Михайловна Инбер появилась на московских литературных эстрадах не в качестве адепта конструктивизма. Отнюдь. Маленькая, рыженькая, кокетливая, она всем нравилась. Все знали, что она из Франции, где Блок хвалил ее первую книгу «Печальное вино», вышедшую в Париже в 1914 году.

Стихи ее всем нравились, но это были странные стихи...

Место под солнцем Вера Михайловна искала в сюжетных стихах.

Помнится, она сочинила слова известного тогда в Москве фокстрота:

У маленького Джонни в улыбке, жесте, тоне
Так много острых чар,
И что б ни говорили о баре Пикадилли,
Но то был славный бар.

Легкость, изящество, с какими В. М. излагала поэтические сюжеты, сделали ее известной по тому времени либреттисткой.

Тогда была мода осовременивать классику на оперной сцене. Старая музыка, новые слова. Вера Михайловна сочи-

нила песенки к «Травиате», где романс Виолетты был подвергнут анализу с новых общественных позиций. «Травиата» как-то не прижилась с новым текстом, но вот «Корневильские колокола», где песенки тоже переписала Инбер, шли не один сезон.

Работала Вера Михайловна много и энергично. «Сороконожки» сделали ее имя широко известным. «Сеттер Джек» и особенно «Васька Свист в переплете» закрепили успех. Этой поэмой Вера Михайловна ответила на всеобщее тогдашнее увлечение уголовной романтикой.

Писала она и великолепную прозу. «Тосик, Мура и «ответственный коммунист» помнят все. Рассказы эти читались с эстрады. Выступала Вера Михайловна часто, охотно и быстро заняла «место под московским солнцем».

Несколько неожиданно оказалось, что Вера Инбер — член литературной группы конструктивистов. В ней не было ничего фанатичного, ограниченного. Для того чтобы поверить в откровения «паузника», Вера Михайловна была слишком нормальным человеком, слишком любила настоящую поэзию и понимала, что стихи не рождаются от стихов. В. М. была — велик ли ее поэтический талант или мал, все равно — носителем культуры, культуры общей, а не только культуры стиха.

Позже еще более удивительным было участие Багрицкого в этой группе.

Впрочем, Вера Михайловна неустанно подчеркивала свою приверженность к ямбу: «Я — за ямб».

Бывали литературные вечера, где Вера Михайловна читала одна, инберовские вечера. Я был на одном таком ее вечере в клубе 1-го МГУ. Кажется, «Америка в Париже» —

такова была тема этого вечера-отчета о заграничных впечатлениях.

В этой лекции Вера Михайловна много говорила о Диккенсе. Видно было ее горячее желание спасти для молодежи настоящее, подлинное искусство Запада.

«Когда я волнуюсь, я беру «Домби и сына», сажусь на диван, и дома у меня говорят: «Тише, тише... Мама читает Диккенса».

Кто из конструктивистов был поэтом по большому счету? Кто знал это тонкое «что-то», составляющее душу поэзии? Один Багрицкий, и то в двух-трех своих стихотворениях. Может быть, Вера Инбер — в более раннем и в более позднем — в «Пулковском меридиане»? Может быть.

Остальные же: Сельвинский, Агапов, Адуев, Луговской, Панов — казались нам не поэтами, а виршеписцами. Живой крови не было в их строчках. Не было судьбы.

Багрицкий в болотных сапогах, в синей толстовке читал «Думу про Опанаса» весьма горячо. Багрицкого все любили. Я стоял как-то недалеко от него во время его беседы с поклонниками.

— Что мы? Пушкин — вот кто был поэт. Все мы его покорные, робкие ученики.

Чтец Багрицкий был превосходный. «Разговор с комсомольцем Н. Дементьевым» нравился всем. Читал его Багрицкий всюду. Коля Дементьев, в ту пору студент литературного отделения 1-го МГУ, краснея, бледнея, волновался всячески, приглаживая белокурые густые волосы. Дементьев напечатал «Ответ Эдуарду».

Романтику мы не ссылали в Нарым,
Ее не пускали в расход.

Еще раньше Дементьев напечатал у Воронского в «Красной нови» «Оркестр» и стихотворение «Инженер». Знаменитая «Мать» была написана позже...

Переехал в Москву Юрий Карлович Олеша. Первая его книга, «Зависть», имела шумный читательский успех. Театр Вахтангова поставил «Заговор чувств». Мейерхольд видел в Олеше «своего» автора. Для Мейерхольда Олеша написал «Список благодеей» — пьесу вполне добротную. Была напечатана сказка «Три толстяка». Но потом что-то застопорилось в писательском механизме Олеша. Олеша считал себя неудачником. Многие считают его нераскрывшимся крупным писателем. Другие называют его автором оригинальных книг, написанных рукой писателя-экспериментатора.

...Светлов, вместе с Ясным и Михаилом Голодным окончивший ВЛХИ (Высший литературно-художественный институт), писал стихи, день ото дня удачнее. Рапповская критика объявила его «русским Гейне».

Была написана знаменитая позже «Гренада». «Гренада» была стихотворением, чрезвычайно отвечавшим тогдашним настроениям молодежи. Идеи интернационализма были в эти годы очень сильны, небывало сильны, и «Гренада» отражала их в полной мере. Успех «Гренады» того же порядка, что и успех стихотворения Симонова «Жди меня».

...Каждую весну приезжал из Крыма Грин, привозил новую книгу, заключал договор, получал аванс и уезжал, стараясь не встречаться с писателями.

На дачу Грина в Феодосии приехал поэт Александр Миних: Грин велел сказать, что встретится с Минихом при

одном условии — если тот не будет разговаривать о литературе.

Когда-то был такой случай в шахматном мире. Морфи, победив всех своих современников и сделав вызов всем шахматистам с предложением форы — пешки и хода вперед, внезапно бросил шахматы, отказался от шахмат. Шахматная жизнь шла, чемпионом мира стал молодой Вильгельм Стейниц. Однажды Стейниц был в Париже и узнал, что в Париж приехал из Америки Морфи. Стейниц отправился в гостиницу, где остановился Морфи, написал и послал тому записку с просьбой принять. Морфи прислал ответ на словах: если господин Стейниц согласен не говорить о шахматах, он, Морфи, готов его принять. Стейниц ушел.

Миних тоже не добился желанной встречи с Грином.

Нина Николаевна, жена Грина, была еще молодой девушкой, когда вышла за сорокалетнего Грина. Говорили, что Грин держал ее взаперти, даже на рынок Нину Николаевну провожала какая-то тетка, вроде дуэньи. Но после смерти Грина Нина Николаевна сказала, что каждый день жизни с Грином был счастьем, радостью.

Грин в Феодосии и позже — в Старом Крыму (где было поглуше, поменьше людей) вел образ жизни размеренный по временам года. Весной приезжал из Москвы с деньгами, расплачивался, нанимал дачу, бродил около моря (в Феодосии) и в лесу; осенью переезжал в город, играл на бильярде в приморских ресторанчиках, играл в карты. Зимой садился писать. Деньги уже были истрачены. Грин жил в долг и к весне кончал новую книгу. Весной ехал в Москву, продавал рукопись (для издания), возвращался с деньгами, расплачи-

вался, нанимал дачу, и так далее, с равномерностью времен года.

Все это рассказывал мне Александр Миних, поэт. Он считал Грина гением.

Приехал из-за границы Алексей Толстой, писатель западного склада, хороший рассказчик. Повести, рассказы и пьесы сыпались одна за другой — на сцены театров, на страницы журналов, на экран кинематографа. «Аэлита» с Церетели — Лосем, Солнцовой — Аэлитой, Баталовым — Гусевым была встречена шумно...

В газете «Известия» на первой странице публиковались сигналы, якобы пойманные в мировом эфире радиостанциями Земли.

Анта... сдэли... ута...

Ученые на третий день расшифровали непонятные сигналы: составилось слово «Аэлита».

Если бы такую рекламу дать этому фильму сейчас, в век космических кораблей, то-то порадовался бы Казанцев — сторонник «марсианской» теории происхождения Тунгусского метеорита...

Алексей Толстой жадно искал встречи с новой жизнью, ездил по стране с корреспондентским билетом «Известий», выступал мало. Обязанности газетчика выполнял хорошо: он ведь был военным корреспондентом многих журналов и газет всю войну 1914—1918 годов, дело свое знал, да и общительный характер помогал ему.

Был написан и поставлен «Заговор императрицы» — пьеса, сочиненная Толстым вместе с П. Шеголевым. Пьеса имела успех большой, хотя особыми достоинствами и не от-

личалась. Новизна темы, материала, изображение живых «венценосцев» — вот что привлекало зрителей.

Пьесу возили даже за границу, в Париж, где ее смотрел «Митька» Рубинштейн, знаменитый петроградский банкир военных лет России, человек, близкий к Распутину, к царю. Говорят, «Митьке» пьеса понравилась.

Вскорости Толстым была изготовлена по тому же рецепту пьеса «Азеф» об известном предателе эсеровской партии. «Азеф» был поставлен актерами театра б. Корша, где Н. М. Радин играл Азефа, а эпизодическую роль шпика Девяткина — сам автор, граф Алексей Толстой.

Достать билеты на представление, где актерствовал Толстой, не было, конечно, возможности.

В журналах печатались «Союз пяти», «Гиперболоид инженера Гарина», «Ибикус» — все в высшей степени читабельные вещи, написанные талантливым пером.

Но все напечатанное до «Гадюки» встречалось как писания эмигранта, как квалифицированные рассказы, в сущности, ни о чем.

«Гадюка» сделала Толстого уже советским писателем, вступающим на путь проблемной литературы на материале современности.

Алексей Толстой не вступал ни в РАПП, ни в «Перевал».

Особое место в литературной жизни тех лет занимало издательство «Каторга и ссылка» — при Обществе политкаторжан и ссыльнопоселенцев. Герои легендарной «Народной воли» были еще живы — Вера Фигнер напечатала свой многотомный «Запечатленный труд», Николай Морозов, так же, как и Фигнер, просидевший в Шлиссельбурге всю свою жизнь, выступал с докладами, с воспоминаниями, с книгами.

Мы видели людей, чья жизнь давно стала легендой. Эта живая связь с революционным прошлым России и ныне не утрачена. В прошлом году я был на вечере в здании университета на Ленинских горах — на юбилее знаменитых Бестужевских курсов. М. И. Ульянова, Н. К. Крупская были бестужевками.

Еще живы были деятели высшего женского образования в России — синие скромные платья, белые кружева, седые волосы, простые пластмассовые гребни. Необычайное волнение ошущал я на этом вечере — то же самое чувство, что и на «мемуарных» вечерах когда-то в клубе б. политкаторжан.

Двадцатые годы были временем выхода всевозможных книг о революционной деятельности. Исторические журналы открывались один за другим.

Это — народовольцы,
Перовская,
Первое марта,
Нигилисты в поддевках,
Застенки,
Студенты в пенсне.
Повесть наших отцов,
Точно повесть
Из века Стюартов,
Отдаленней, чем Пушкин,
И видится
Точно во сне.

(Пастернак)

Очень важно видеть этих людей живыми, наяву.

Я помню приезд в Москву Густава Инара — участника Парижской коммуны, седого крепкого старика.

Связь времен, преемственность поколений ошущалась как-то необычайно ярко.

...Я хорошо помню процесс Савинкова. Закрытое заседание Военной коллегии Верховного Суда. Есть прокурор, есть судьи, есть обвиняемый. Нет ни свидетелей, ни защитников. Идет исповедь, трехдневный рассказ о своей жизни ведет человек, литературный портрет которого Черчилль включил в свою книгу «Великие современники». Террорист Борис Савинков. Организатор контрреволюционных восстаний. Философ. Член русского религиозно-философского общества. Генерал-губернатор Петрограда в 1917 году. Эмигрант. Русский писатель Борис Савинков. Его романы «Конь бледный», «То, чего не было» были хорошо известны.

Вскоре после процесса вышла его книга «Конь вороной». Ропшин — его литературное имя.

Каждая из семи статей, ему предъявленных, угрожала расстрелом. Его и приговорили к расстрелу, но, «учитывая чистосердечное его раскаяние», расстрел был заменен десятью годами тюрьмы.

Савинков в заключении писал мемуары, рассказы, ездил даже иногда по Москве в автомобиле с провожатым — смотрел новую жизнь.

Он был оскорблен приговором. Он ждал освобождения. Писал заявления неоднократно. Ему отвечали отказом, и он покончил с собой, выпрыгнув из окна пятого этажа тюрьмы (1925 г.).

Луначарский в предисловии к сборнику рассказов Савинкова, вышедшем уже после его смерти в Библиотечке «Огонька», пишет, что правительство не могло принять иного решения. Его раскаяние могло быть вовсе не долговеч-

ным, а оставлять на свободе столь высокого мастера динамитных дел было опасно.

Москва, да и не одна Москва, была взволнована его процессом, его смертью...

...А общество «Долой стыд»! Ведь это не какой-нибудь рок-н-рол или твист — члены этого общества гуляли по Москве нагишом, иногда только с лентой «Долой стыд» через плечо...

Мальчишки, зеваки шли толпами за адептами этого голого ордена. Потом московская милиция получила указания — и нагие фигуры женщин и мужчин исчезли с московских улиц. Года три тому назад я держал в руках выгоревший листок газеты «Известия» со статьей самого Семашко по этому поводу. Народный комиссар здравоохранения осуждал от имени правительства попытки бродить голыми «по московским изогнутым улицам». Никаких громов и молний Семашко не метал. Главный аргумент против поведения членов общества «Долой стыд», по мнению Семашко, был «неподходящий климат, слишком низкая температура Москвы, грозящая здоровью населения, если оно увлечется идеями общества «Долой стыд». О хулиганстве тут и речи не было.

...Цензура в те времена действовала не очень строго — о том, чтобы приглушить, спугнуть молодой талант, никто не мог и подумать.

Я знаю всего два случая конфискации журналов, уже вышедших, с перепечаткой изданного.

Оба раза журнал был разослан подписчикам, продавался в киосках.

В Ленинграде один очеркист заключил пари на ведро пива, что напечатает матершину, — вещь, немислимая в России. Именно поэтому мы никогда не читали полного Рабле.

Вышедший в 1961 году новый перевод Н. Любимова также подвергся «целомудренным» купюрам.

Матершину, всю как есть, можно было найти только в словаре Даля, да в докладах-отчетах Пушкинского Дома Российской академии наук.

Однако речь шла не о классиках, не о научном тексте, а об обыкновенном хулиганстве. И само пари — ящик пива! — характерно.

Журнал, где был напечатан сей криминальный очерк, вышел в свет.

Через несколько дней номер журнала продавался до 20 рублей золотой валюты — червонца с рук. Журналист выиграл пари. Как он это сделал?

Был напечатан большой очерк о фабрично-заводском быте. В текст очерка была вставлена восьмистрочная частушка-акrostих, заглавные буквы составили матерное слово.

Журналиста судили и дали ему год тюрьмы за хулиганство в печати. Редакция получила выговор. К суду привлекался и корректор издательства, но тот виновником себя не признал, заявив, что он, корректор, «обязан читать строки слева направо, а не сверху вниз. Он не китаец, не японец». Объяснения были признаны заслуживающими внимания, и корректор был оправдан.

Второй случай касается «Повести непогашенной луны» Бориса Пильняка. У моих знакомых долго хранились присланные издательством два пятых номера «Нового мира» за 1926 год. В одном есть повесть Пильняка, в другом — нет. Я сам читал эту повесть в библиотеке, в читальном зале, но когда захотел перечесть — не нашел.

Повесть эта небольшая. Посвящение: «А. К. Воронскому,

дружески. Б. Пильняк». «Подсечка» петитом: «Если читатели предполагают, что в рассказе речь идет об обстоятельствах смерти тов. Фрунзе, то автор заявляет, что это — не так».

Говорили, что Пильняк отнес рукопись в «Красную новь», редактором которой был Воронский. Воронский отказался печатать такую повесть. Тогда Пильняк передал рукопись в «Новый мир» Вячеславу Полонскому и посвятил «Воронскому дружески». Полонский напечатал «Повесть непогашенной луны».

Нашим любимым театром был Театр Революции. Нашей любимой артисткой — Мария Ивановна Бабанова.

Я слышу и сейчас ее удивительный голос — будто серебряные колокольчики звенят. Нам все нравилось в ней: и то, что она плакала в театре Мейерхольда, отказываясь от роли проститутки, и то, как играла мальчика-боя в пьесе Третьякова «Рычи, Китай», Стеллу в «Великодушном рогоносце», Полину в «Доходном месте».

Мы любили ее за то, что она ушла от Мейерхольда, и с восторгом твердили сочиненные кем-то плохонькие вирши:

Вы знаете, от вас ушла Бабанова,
И «Рогоносец» переделан заново.
Но «Рогоносец» был великодушен,
А режиссер как будто не совсем.

Мальчик Гога в «Человеке с портфелем» — одна из любимых ее ролей, наконец, Джульетта, Джульетта, Джульетта.

Я помню, как Дикий рассказывал о первой работе Бабановой в Театре Революции, где он был режиссером.

Бабанова читала с тетрадкой. Сказала фразу и спросила:
— Здесь переход. Куда мне идти — налево или направо?

— А куда хотите, туда и идите, — безжалостно сказал Дикий.

С Бабановой сделался истерический припадок, слезы. Репетиция была прервана.

Ведь у Мейерхольда, где Бабанова играла раньше, было все размерено по ниточке, все мизансцены рассчитаны точно и переходы актера намечены мелом.

Дикий рассказывал, что он сделал это нарочно, чтобы сразу выбить все «мейерхольдовское».

Двадцатые годы — расцвет русского театра. Большие артистки заявляли о себе одна за другой: Алиса Коонен, Тарасова, Еланская, Гоголева, Пашенная, Бакланова, Попова, Глизер — им нет счета.

На Большой Дмитровке, в том здании, где сейчас Оперно-музыкальный театр им. Немировича-Данченко и Станиславского, размещался один из интереснейших экспериментальных театров Москвы того времени, времени больших исканий.

Это был «Семперантэ» — театр импровизации под руководством актера А. Быкова.

Спектакли здесь игрались без текста, был лишь сценарий, сюжетный каркас, а диалоги актеры должны были импровизировать. Внутренняя работа актера над ролью обнажалась, актер работал, что называется, на глазах зрителя.

Быков и его жена, артистка Левшина, сумели увлечь своими идеями многих актеров. Этот театр существовал несколько лет, да и тогда, когда его закрыли, Быков и Левшина продолжали выступать с «Гримасами» — лучшим своим спектаклем — еще несколько лет на случайных сценах...

Но все же умение и талант Быкова не нашли дороги в большое искусство.

Театр этот оказался как-то без будущего.

Любовь зрителей, интерес и внимание возвратились к Художественному, Малому, Вахтанговскому театрам, студии МХАТ, Театру им. Мейерхольда.

...Славин написал великолепную пьесу «Интервенция» и поставил ее в театре Вахтангова. Спектакль был замечательный, солнечный. Я был на одном из первых спектаклей и помнил несколько лет «Интервенцию» наизусть. Мы повторяли в общежитии сцены из этой пьесы. Журавлев — Жув, Толчанов — Филипп, Горюнов — Селестен. Мансурова — Жанна Варбье — запомнилась мне на всю жизнь. И пусть я знал, что настоящей Жанне Барбье было 45 лет, когда Ленин послал ее в Одессу, а Мансурова играла знаменитую французскую подпольщицу-большевичку юной девушкой — чепуха. Почему у нас не напишут книгу о Жанне Барбье? О Джоне Риде написано очень много, а Жанна — не менее красочная фигура. Расскажут о жизни, сгоревшей в огне революции, о героической смерти французской революционерки.

На примере спектакля «Интервенция» я узнал, что такое «заигранная» пьеса, и хорошо понял и почувствовал Мейерхольда, который каждый вечер, буквально каждый вечер сидел в зрительном зале своего театра, следя, чтобы пьесу не «заиграли».

...Театры, один за другим, брали новые рубежи. Первым был театр МГСПС, руководимый Любимовым-Ланским. Он поставил «Шторм» Билль-Белоцерковского. Это был первый спектакль о современности на сцене «настоящего» театра. Спектакль был принят горячо и бурно — жизнь заговорила со сценических подмостков громким, полнозвучным голосом. Спектакль много лет оставался в репертуаре театра.

Пьеса обошла провинцию с триумфом. Реализм председателя укома, братишки, профессора был бесспорен. Такими эти герои и были в жизни.

Прошло много лет. В пятидесятые годы Биль-Белоцерковского пригласили написать сценарий для фильма. Драматург написал, повторив характеры пьесы без изменений. Фильм провалился. Рецензенты твердили в один голос, что такого безграмотного председателя укома быть не могло, что братишка нереален, профессор надуман. Вкусы и точки зрения изменились. А Биль-Белоцерковский старался честно повторить старый спектакль, для своего времени в высшей степени правдивый в каждой фразе, в каждой ситуации...

В студенческом общежитии в нашей комнате освободилась койка, которую занимал студент консерватории по классу виолончели. Виолончель в комнате звучала как автомобильная сирена низких тонов. Нам виолончелист мешал заниматься, и мы были рады, когда он получил место в консерваторском общежитии.

Новый сосед был татарин, маленький, стройный, гибкий, плохо владевший русским языком. По вечерам, когда все пять жителей комнаты брались за книги и конспекты и громко говорить было запрещено, новый жилец раскладывал на койке тетрадки и, размахивая руками, что-то шептал. Это был Муса Залилов, будущий Джалиль. К нему скоро все привыкли, часто просили читать стихи, русские, конечно. Залилов охотно читал Пушкина, только ошибался в ударениях, в произношении:

Сижу за решёткой в темнице сирой...

Пушкин! Хорошо! А вот, слушайте! — Залилов прочел стихотворение, глаза его заблестели.

— Это твое, Муса?

— Да.

Какие кому суждены испытания, в двадцатые годы сказать было нельзя.

Вместе со своим другом прошагал я не одну ночь «по московским изогнутым улицам», пытаюсь понять время и найти свое место в нем. Нам хотелось не только читать стихи. Нам хотелось действовать, жить.

Москва, ноябрь 1962 г.

Комментарий

В 1924 году В. Т. Шаламов приезжает из Вологды в Москву, работает дубильщиком на кожевенном заводе в Сетуни, а в гущу общественных и литературных событий попадает, став в 1926 году студентом 1-го МГУ (2-й МГУ был создан в 1918 году на базе Высших женских курсов, знаменитых Герье).

Многочисленные литературные группировки отстаивают свои взгляды на диспутах, в журналах, газетах... ВАПП (Всероссийская ассоциация пролетарских писателей, 1920—1928), затем переименованная в РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей, 1928—1932), «Кузница» выдвигали задачу строительства классовой пролетарской культуры, резко противопоставляя ее культуре буржуазной, а это приводило к недооценке культурного наследия прошлого. Одним из теоретиков ассоциации был Л. Л. Авербах. С группировками пролетарских писателей полеми-

зировала группа «Перевал» (1923—1932), возглавляемая А. К. Воронским, которая состояла в основном из писателей-попутчиков, отстаивавших преемственные связи советской литературы с традициями русской и мировой литературы.

Великие революционные сдвиги встряхнули устоявшиеся системы общественных и эстетических ценностей... По-новому осмыслить место литературы в жизни страны, ее социальные функции пытаются группы Леф, конструктивисты.

Леф (Левый фронт искусств, 1922—1929) выдвигает теорию «социального заказа», принцип непосредственной пользы, утилитарности искусства. Живо описанный Шаламовым диспут «Леф или блеф» состоялся в марте 1927 года после появления в «Известиях» статей В. П. Полонского, известного литературного критика, который возглавлял тогда (1926—1931) редакцию журнала «Новый мир» и активно выступал против издания журнала «Новый Леф».

Тезисы диспута (по афише) были таковы: «Что такое Леф? Что необходимо, чтобы называть лефистом? Где теория Лефа? Где практика Лефа? С кем вы? «Блеф» — его пригорки и ручейки. Можно ли разводить людей для плача? Лев Толстой и Леф. Лев Толстой и блеф. Александр Пушкин как редактор. Будущее по Эдгару По. Куда идет нелефовская литература и что в нее заворачивают? Леф и кино. Формальный метод и марксизм. Значение тематики сейчас».

«Лефистом мы называем каждого человека, который с ненавистью относится к старому искусству. Что значит «с ненавистью»? Сжечь, долой все старое? Нет. Лучше использовать старую культуру как учебное пособие для сегодняшнего дня, постольку поскольку она не давит современную живую культуру. Это одно. И второе, что для передачи всего грандиозного содержания, которое дает революция, необходимо формальное революционизирование литературы» (В. Маяковский).

В поисках поэтических путей Шаламов отдал дань увлечения Лефу, а потом, правда очень мимолетно, — конструктивизму, явно заинтересованный сборниками «Мена всех» (1924), «Госплан литературы» (1925), «Бизнес» (1929).

В сборнике «Мена всех» была опубликована «Знаем (Клятвенная конструкция конструктивистов-поэтов)», где провозглашались эстетические требования группы: «конструктивизм есть центро-стремительное иерархическое распределение материала, акцентированного (сведенного в фокус) в предустановленном месте конструкции», то есть провозглашался не интуитивный поиск художественных средств, а «конструирование поэтического материала».

ЛЦК (литературный центр конструктивистов) самораспустился в 1930 году.

Упомянутый в тексте ученик И. А. Сельвинского К. Н. Митрейкин (1905—1934) — автор четырех поэтических сборников, из них особый отклик в прессе получил первый — «Бронза» (1928). Журнал «Красное студенчество» (1925—1935) издавался ЦК ВЛКСМ, в кружке при этом журнале Сельвинский воспитывал «констромольцев».

Название литературной группы «Серапионовы братья» (1921—1929) дано по названию кружка друзей в одноименном романе Э. Т. А. Гофмана. Группа собиралась в Доме искусств на Невском, в Петрограде. Писатели ставили своей задачей совершенствование профессионального мастерства. Душой группы был рано умерший талантливый писатель Л. Н. Лунц (1901—1924).

Имажинисты декларировали самоценность слова-образа, неизбежность антагонизма искусства и государства, издавали журнал «Гостиница для путешественников в прекрасном» (1922—1924).

Конечно, уложить живое творчество поэтов и писателей в рамки деклараций и манифестов было невозможно. И Пастернак не умешался в Лефе, а Есенин — в имажинизме, и вообще — в

живых отношениях все было переплетено густо, сложно, неоднозначно.

Литературные группировки двадцатых годов были объединены с созданием Союза советских писателей. В 1932 году было опубликовано постановление ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» и создан Оргкомитет во главе с А. М. Горьким для подготовки и проведения Съезда советских писателей, который состоялся в 1934 году.

Литературные группировки активно пропагандировали свои взгляды в журналах, альманахах, сборниках. Какой острой была полемика в этих журналах, какие яркие имена украшали эти страницы, увы, издававшиеся на плохой газетной бумаге и от времени теперь пожелтевшие!

Интересно не только перечитать эти журналы, но даже в руках подержать: дерзкий, неукротимый, плакатно оформленный «Леф» (1923—1925, с 1927 — «Новый Леф»), серьезную и сдержанную «Красную новь» (1921—1942), демократичный, обшительный «Огонек» (созд. 1923), элегантную, хоть и бедную «Россию» (1923—1925, 1926 г. — «Новая Россия»), «Красную ниву» (1923—1931) и, наконец, непримиримый орган пролетарских писателей — журнал «На посту» (1923—1925), затем — «На литературном посту» (1926—1932) и многие, многие другие.

Именно эти журналы впервые принесли читателю строки В. Маяковского и Б. Пастернака, А. Фадеева и И. Бабеля, С. Есенина и М. Булгакова...

Имели свое непохожее на других лицо и издательства. Крупнейшее издательство «Земля и фабрика» (1922—1930) выпускало до 80% художественной литературы, в том числе собрания сочинений советских писателей.

Издательство «Огонек», созданное в 1925 году, а в 1931-м преобразованное в знаменитый «Жургаз» (Журнально-газетное объединение), специализировалось на массовых тиражах дешевых,

доступных изданий классики и советской литературы. Государственное издательство (1919—1930), возглавляемое В. В. Воровским, более занималось политической, агитационной работой. По инициативе А. М. Горького было создано издательство «Всемирная литература» (1918—1924), знакомившее советского читателя с сокровищами мировой литературы.

Возникли и многочисленные кооперативные издательства: «Никитинские субботники», «Недра», «Круг» (1922—1929), упоминаемый Шаламовым, и другие.

В 1930 году на базе многочисленных издательств было создано Государственное издательство художественной литературы. Преемником «Круга» стало издательство объединений советских писателей «Федерация» (1929—1933).

Мы видим литературный мир двадцатых годов глазами «студента 1-го МГУ», видим то, что видел он, еще не вошедший в литературу. Конечно, характеристики писателей неполны и порой мимолетны — это штрихи, а не портреты. Пусть заинтересованный читатель обратится к собраниям сочинений и монографиям, к сборникам воспоминаний, они помогут ему дорисовать для себя портрет любимого писателя.

Только несколько слов в пояснение.

Воспоминания «Двадцатые годы» печатаются с некоторыми сокращениями.

В связи с О. М. и Л. Ю. Бриками упоминается В. М. Примаков (1897—1937), видный советский военачальник, герой гражданской войны.

«Смена вех», упоминаемая в связи с журналом «Россия», — это возникшая в Праге группа русских эмигрантов во главе с Н. В. Устряловым, которая рассматривала нэп как эволюцию революции к капитализму — «сползание к капитализму». В дальнейшем И. Лежнев порвал со «Сменой вех».

В связи с именами А. В. Луначарского, А. К. Воронского упоминаются «чистки» — это практиковавшиеся тогда как бы отчеты членов партии, публичные отчеты о работе, взглядах, ошибках, если таковые случались, при этом каждый присутствовавший мог задать любой вопрос.

Более подробные сведения о «старичке» Флоренском. Павел Александрович Флоренский — русский ученый, религиозный философ. Окончил физико-математическое отделение Московского университета и Московскую духовную академию, где был профессором (1912—1917). Осуществлял исследования в целом ряде дисциплин — лингвистики, теории пространств, искусств, математики, экспериментальной и теоретической физики, которая стала главным направлением его занятий после Октябрьской революции. В связи с планом ГОЭЛРО в 1920 году был привлечен к научно-исследовательской работе в системах Главэлектро ВСНХ. В 1927—1933 годах — редактор Технической энциклопедии.

Вместе с автором мы узнаем и театральную географию тогдашней Москвы. Театр им. В. Э. Мейерхольда (в перестроенном виде — теперешний Зал им. П. И. Чайковского), театр б. Корша (теперь — здание МХАТа на ул. Москвина), Театр Революции — ныне Театр им. В. В. Маяковского, МХАТ II — теперь в этом здании Центральный детский театр. Театр им. МГСПС (Московского городского совета профсоюзов) — ныне Театр им. Моссовета, а в те годы он помещался в театре сада «Эрмитаж».

Варлам Тихонович часто говорил, что не может писать, не переживая заново того, о чем пишет, не вернувшись мыслью, чувством, взглядом в те времена. И обаяние его воспоминаний «Двадцатые годы» — в этой тогдашней, воскрешенной его пером атмосфере молодой литературной и театральной Москвы.

И. П. Сиротинская

Москва 20-х годов

Седьмого ноября 1924 года я увидел впервые Троцкого на военном параде к 7-летию Октября. Низкорослый, широколобый Троцкий стоял в красноармейской форме, в самом углу, невысоко, блестел только что отлакированный деревянный мавзолей. Я прошел в одной из колонн, пристроившись прямо на тротуаре где-то на Тверской, близ Иверской. Иверская действовала вовсю, восковые свечи горели, старухи в черном, мужчины в монашеских одеждах отбивали бесконечные поклоны.

Рядом дышала обжорка Охотного ряда. Тысячи тонн живого мяса, птицы были вывалены прямо на бульжный проспект Охотного. Над магазином «Пух-перо» вздымались белые тучи.

Всего года через два я буду жить тут в Большом Черкасском, рядом с этой самой обжоркой, которая, впрочем, скоро закроется навеки, и выстроят гостиницу «Москва».

Рядом с Троцким стояли какие-то военные, дальше кожаная куртка Бухарина, Преображенский, Ярославский, Камен-

нев, еще чьи-то знакомые мне по портретам лица. Парад длился недолго.

Вскоре Троцкий был снят, стал работать в концесском, а должность наркомвоенмора принял Фрунзе.

Тот же час родилась частушка, частушка фольклорного типа, та самая, которая извечно сопутствует историческим событиям и переменам, велики или малы они — все равно.

Разве можно горелкою Бунзена
Заменить стосвечовый Вольфрам.
Вместо Троцкого ставят Фрунзе,
Это просто срам.

Это [вероятно] первая частушка литературного творчества оппозиции — весьма, как известно, обильного.

Фрунзе проработал недолго. В 1925 году он умер на операционном столе от наркоза. Не хотел операции, противился ей, согласился после больших уговоров. Все обстоятельства операции Фрунзе рассказаны Пильняком в «Повести непогашенной луны». За хранение повести в 30-е годы расстреливали.

Неправда, что эмиграция, контрреволюция ждала перемен со смертью Ленина. Ленин ведь не работал давно — весь 23-й и половину 22-го года. Целый год он не владел языком, в Горки последний год ездили только его ближайшие друзья. Кто ездил к Ленину в Горки в этот последний год его жизни — об этом рассказала Крупская в одном из интервью. Это Воронский, Крестинский и Преображенский. Преображенского Ленин встретил случайно, сочла нужным подчеркнуть Крупская. Но и Воронский и Крестинский ездили в Горки именно как личные друзья.

Конец 24-го года буквально кипел, дышал воздухом каких-то великих предчувствий, и все поняли, что нэп никого не смутит и не остановит.

Еще раз поднималась та самая волна свободы, которой дышал 17-й год. Каждый считал своим долгом выступить еще раз в публичном сражении за будущее, которое мечталось столетиями в ссылках и на каторге.

Курукин

В теоретическом вихре тех лет клубилась пыль самых различных теорий, каждая испытывалась на прочность, вековечные догмы подвергались живой проверке.

Все фурьеристы, все ламаркисты учили о благотельном, не только оздоровляющем, но переделывающем душу человека влиянии среды. Это принципиальное положение из догм приводило к высшей степени парадокса — «рабочему станку».

Тогдашняя теория относилась к таким переделкам души и сердца самым серьезным образом, и к документу о рабочем стаже нигде не относились с недоверием. Кандидат, сочувствующий — это все вполне реальные, а главное, вполне официальные, признаваемые властью категории.

Вернуть к станку! Послать в цех! — такие решения принимались даже в Коминтерне, ибо дышать воздухом завода считалось немалым делом. На нашем сплоченном кандидатском заводе работал ряд сыновей домовладельцев, нэпманов именно ради документа, ради спасительной справки. Я же работал там не только из-за справки, а именно желая ошу-

тить то драгоценное, новое, в которое так верили и звали. Я пришел туда не как сейсмограф, не для мимикрии, а искренне желая почувствовать этот ветер, обвевающий тело и меняющий душу. К 26-му году я понял, что вязну в мелочах, в пустяках, что у меня другая, в сущности, дорога.

Для того чтобы получить этот стаж, вдохнуть этот рабочий воздух, я и поступил в 1924 году на кожевенный завод в Кунцеве — дубильщиком. Но это был не тот «Москож № 6», как назывался тогда троекуровский, стоящий поныне, а маленький завод Озерского комитета крестьянской взаимопомощи. Это было предприятие нэпмана Кочеткова, который сам был оставлен в роли техрука на своем же заводе на ставке.

Народу было человек 30 всего рабочих и служащих, даже при той малой механизации все шло вручную, завод был карлик. Но документ он давал, как любая кузница пролетарских кадров. Оглядываясь сейчас назад и вспоминая работяг этого завода, я вижу, что все это были или бывшие нэпманы, или кустари, или дети кустарей. Только несколько человек, по два-три в каждом цехе, составляли рабочий костяк и ничего от будущего хорошего не ждали. Само управление заводом помешалось в Кимрах, завод делал подошвы, а больше ничего. Подошвы и приводные ремни. Если кимрский хозяин-крестьянин сам переделывал себя, организовывал общество, производственную артель, то переделывал с помощью таких бывших частников, какие были на нашем заводе. На заводе было много грубости, споров. Эти споры обострялись от хронического безделья — не было сырья, бойня не давала продукции такому крошечному, да еще подозрительному со-

циально заводу. Бойню нужно было пробивать взятками, что и делали весьма энергично.

По колдоговору, утвержденному в Москве, рабочему было запрещено заниматься какой-либо другой работой, сиди и кури, даже двор подмести нельзя.

Заработки у меня там были небольшие, но весьма твердые по тем золоточервонным временам.

До завода я работал в том же Кунцеве ликвидатором неграмотности, учил взрослых, санитарок в больнице два раза в неделю, за восемь рублей в месяц.

Декрет о ликвидации неграмотности к 10-летию Октября, к 1927 году, — самый самостоятельный декрет советской власти. Еще в 1971 году в сберкассе существует целая полка карточек — сберегательных книжек неграмотных. Перепись просто обходит этот вопрос. С неграмотностью действительно боролись, самостоятельно и добровольно, и платные учителя, как я, но результатов это не могло дать за десять лет, и не только потому, что Новгородская губерния или Чердынский уезд — не Москва, а из-за гораздо более коварного обстоятельства, так называемых рецидивов неграмотности.

Случилось так, что автором проекта декрета о ликвидации неграмотности был мой будущий тесть по первой жене Игнатий Корнильевич Гудзь — сотрудник Крупской по Наркомпросу. В 30-е годы мы более хладнокровно оценивали успех этого декрета, не то что декрет имел лозунговый характер, и в этом случае фантастический срок был вполне оправдан, а просто и этот декрет — след той же романтической догматики, которая владела всеми умами.

«Завтра — мировая революция» — в этом были убеждены все. На фоне этого срок десятилетнего плана борьбы с

неграмотностью вовсе не казался преувеличением. Во всяком случае, я работал по ликвидации неграмотности со всем энтузиазмом и верой.

Я проработал на этом заводе до зимы 1926 года. Даже во время безработицы нам не разрешали уезжать в Москву — мы должны были высидеть часы на месте. Оплата таких простоев была полностью. Восьмирублевая ставка ликвидатора неграмотности сменилась ставкой чернорабочего на заводе — 21 рубль в месяц. Когда я перешел в цех, то как дубильщик получал 45 рублей, а попозже как отделочник и 63 — по девятому разряду тарифной сетки. Никакой сдельщины не было тогда. Работали строго восемь часов. 45 рублей зарплаты дубильщика дали мне возможность посылать домой, и покупать одежду, и платить за стол. Я питался в артели, старой рабочей артели. Наш один дубильщик [Мартынов] держал эту харчевню.

Стоило это питание три рубля в месяц — обед и ужин, оба блюда мясные, или завтрак и обед. Печенка, требуха или самая дешевая говядина, картошка и черный хлеб, нарезанный горкой. Ели классической русской артелью — по четыре человека на выдолбленный окоренок — деревянный тазик с подсеченным, подпиленным дном. Ложки у всех свои. Окоренок наливали полный, дымящийся паром-наваром, все это наливала хозяйка, стоя тут же, из бака черпаком. Каждый черпал ложкой и хлебал жидкое — мясо было на дне, а картошка горячая ждала, укрытая в стороне, чтоб [нрзб] превратиться во второе блюдо.

Ритм хлёбова регулировался старостой, старшим из этих четырех человек. В нашей четверке таким был Емельянов — старый кожевник, седой отделочник. В нужный момент он

восстанавливал ритмичность, то есть справедливость. Емельянов кидал команду: не части! — отталкивал молодые рты, не привыкшие к дисциплине желудка. Потом стучал деревянной ложкой о деревянный таз, окоренок, и командовал: «Со всем!» Это значило: таскай с мясом — выгребай всю требуху, печенку и сердце с деревянного дна. Темп еды чуть-чуть убыстрялся. Затем окоренок убирали, и на стол вываливалась горячая картошка с растительным маслом. Вот и все меню нашего артельного стола. Но и то при такой простоте жалоб были миллионы — то не ту купили требуху, то картошка сыровата. После был чай, но чай-кипяток уже прямо от предприятия, казенный, входящий в колдоговор. Сторож Курукин втаскивал бак с кипятком.

Сторож Иван Петрович Курукин был тоже искатель социального равенства, как и весь этот завод. Курукин был москвич природный, у него была большая семья, пять человек детей, мал мала меньше. Завод давал сторожу квартиру, и это держало Курукина на грошовой ставке на нашем заводе.

Человек он был энергичный, живой, поворотливый, очень толковый, и я удивлялся, зачем Ивану Петровичу эта работа, — он сам мог быть директором завода. Разумеется, я ни о чем не спрашивал Курукина.

Посуду у нас мыли по очереди, и когда настал мой день, я с полотенцем в руках принялся перетирать стаканы. Курукин смотрел с порога на мои движения с полным презрением к моей неумелости.

— Дай-ка сюда.

Курукин вырвал у меня из рук и стакан и полотенце:

— Смотри.

Курукин повернул раза два полотенцем внутри стакана, и стакан засиял, как хрусталь. Я без особого, впрочем, смущения похвалил Ивана Петровича за хватку.

— Всякое дело требует знания, приспособления, — сказал Курукин. — Бревно распилить, не умея, нельзя, замучаешь себя и партнера. А насчет стакана скажу тебе — я двадцать лет стаканы в шантане мыл, отсюда и хватка.

Вскоре он переехал от нас, нашел какую-то квартиру в Москве. Я узнал, что Курукин профессиональный официант, человек из ресторана, скопивший деньги на свое дело и погибший в волнах нэпа, пытаюсь это собственное дело открыть. Было это в 1924 году, а в 1934-м я со своей молодой женой залетел в ночной «поплавок» у Москворецкого моста. Пока мы с женой оглядывались, выбирая столик поближе к воде, к нам подошел какой-то человек в белом — вот садитесь ко мне, за те столики, и мы сели, а человек в белом подошел принимать заказ.

— Иван Петрович!

— Шаламов!

Это был наш сторож с Кунцевского завода Иван Петрович Курукин. Мы обнялись, поцеловались.

— Я угошаю!

— Я.

Мне пришлось заплатить за этот заказ, а Курукин рассказал свою жизнь, что заработки все меньше и меньше, что за одну должность официанта он заплатил кому надо целую тысячу рублей, что не было удачи, большого заработка ни в один, пожалуй, год с тех времен. Скопить тоже много не

пришлось — семья большая. Мы пожелали друг другу удачи, и уже в сером московском рассвете я расстался с Иваном Петровичем навсегда.

Курсы подготовки в вуз

Тетка, у которой я жил в Кунцеве, не вошла в мою жизнь ни единым словом совета, желания, требования. Мне просто было дано место в ее двухкомнатной казенной квартире при больнице, где тетка работала много лет. Тетка — вологжанка, уехавшая на Бестужевские курсы. Но курсы эти не устроились, и она получила сестринское медицинское образование. У нее были и какие-то прогрессивные знакомства. Но к 24-му году всех ее друзей войны и революция разметали по всему свету, и тетка одиноко держалась если не за прогрессивные принципы и взгляды, то за опытность, квалификацию медицинской сестры, которой, впрочем, все осточертело — и медицина и жизнь.

Молодежь у нее собиралась, но обычного гитарного рода, не более. На какой-либо совет тетка не отваживалась. Все мои решения, мой план жизни был выработан мною самим без единого советчика во время движения поезда Кунцево — Москва. Я понимал, что опаздываю, что завод не дает мне ничего, кроме физической усталости, что пропуск, разрыв между образованием становится все больше, все меньше надежд на исправление.

Надо было еще помнить, что само по себе среднее образование, полученное в Вологде, да еще во время граждан-

ской войны, дальтон-плана¹ и посылок АРА — не настоящее образование.

Я с трепетом как-то заглянул в алгебру Киселева. Бином Ньютона, теория множеств вызвали у меня холодный пот на спине. Тем не менее идти назад было поздно, решение принято. Мне надо было бросить завод, изменить жизнь резко, добраться до книг — старых моих друзей.

В январе 1926 года я бросил завод, получил на руки около 200 рублей и перешел в Москву к старшей сестре, где и прописался на Садовой-Кудринской. Нужна была только крыша, но именно московская крыша. Тогда не было паспортов, и профсоюзный билет был документом, заменяющим все другие удостоверения личности. По профсоюзному билету меня и прописывали. Но у сестры можно было спать, но ведь не сидеть до утра, тем более что она жила с мужем неладно.

В библиотеку я записался в Ленинскую — Румянцевскую, кроме того, гораздо удобнее оказалась читальня МОСПС в Доме союзов. Вот в этой библиотеке, в ее читальном зале, я и провел весь 26-й год, день в день. Модестов — известный русский статистик — заведовал тогда этой читальней. Там был и домашний абонемент. Видя такое мое прилежание, он дал разрешение давать мне книги домой из спецфонда. Это был не то что спецфонд, а просто полки, где ставили книги, снятые с выдачи по циркулярам Наркомпроса: по черным спискам (как в Ватикане)...

Там, с этих полок, я и прочел «Новый мир» с «Повестью непогашенной луны» Пильняка, «Белую гвардию» Булгакова

¹ Д а л ь т о н - п л а н — бригадная система организации учебно-го процесса, разработанная Е. Паркгерот в г. Дальтоне (США). (Здесь и далее — примечания И. П. Сиротинской.)

в журнале «Россия», «Ленин» Маяковского — поэма «Ленин» стояла на этих ссыльных полках года три.

В этой же библиотеке, уже после моего первого срока, в 30-е годы я был консультантом по художественной литературе — по прозе и могу вас заверить, что самотечный поток никогда и нигде не ослабевал.

При первой самопроверке выяснилась страшная, даже катастрофическая вещь. Выяснилось, что я вовсе не знаю школьных программ. И если по гуманитарным наукам кое-что хоть складывалось в какие-то очертания, то в математике и физике даже и очертаний не было, были просто провалы, черные пустоты, называемые также белыми пятнами. Прыжок, который я собирался сделать, не имел твердого основания для разбега. Это меня напугало. Трехлетний перерыв в образовании грозил уничтожить все надежды, все планы.

Притом я убедился, что никакого рабочего духа в мою психологию не попало после этих лет, абсолютно ненужных, на кожевнном заводе. То ли именно мне не нужна была такая школа, то ли сам полукустарный заводик не обеспечивал духовных кондиций, необходимых для переделки человека, — не знаю. Я чувствовал только потерянное время, угрожающее изломать навек мою жизнь, уже вошедшую в чтение, в лекциях в духовную жизнь страны и столетия. Интересы, понимание, хоть и детское, явились у меня в те дни в читальном зале МОСПС. Этого было вовсе не достаточно, чтобы поступить в вуз, это было вовсе не среднее образование. Средняя школа в ее гуманитарной части научила меня задавать жизни вопросы. Но математическая часть, физическая содержит не вопросы, а ответы, точные ответы, которые надо знать наизусть, ни с чем не сравнивая, ничем не заменяя. Зубрежка могла спасти только в медицине. Я вырос без

зубрежки, вопреки зубрежке, в борьбе с зубрежкой и впервые ощутил, как слаб, шаток, ничтожен тот фундамент, на котором я стою.

Тогда, в читальне МОСПС, оказалось, что у меня нет этого фундамента. План действий был быстро составлен. Необходимо было как-то не повторить, а выучить школьную программу в рекордно короткий срок. Выходом явились курсы подготовки в вуз, открытые тогда повсеместно. Для меня эти курсы явились спасением, я нашел ту форму обучения, которая давала надежды на успех.

Наши курсы помешались на Никитском бульваре, в том доме, где умер Гоголь. Это были курсы платные, трехмесячные, и плата была большая, что-то рублей семь в месяц. Платить нужно было вперед. Курсы были халтурным предприятием, но вели их московские учителя, применяясь к самым новейшим требованиям. Каждому по окончании выдавалась бумажка с печатью об окончании курсов, и эта бумажка играла свою роль тогда — бумага эта говорила, что ее владелец хочет учиться, а не просто командирован, и не бросит учебы.

Если пересчитывать на темп времени, то эти курсы подготовки в вуз как раз и были чем-то вроде благородного пансиона при Московском университете, где когда-то учились Лермонтов и Грибоедов. Понятно, что все слушатели курсов были москвичами, и это еще более укрепляло доверие к этим странным документам.

По физике, по математике я подогнал настолько основательно, что осенью того же года на экзамене в МГУ получил вуд¹ по математике вместе с лестным вопросом, почему я не

¹ Весьма удовлетворительно (тогда была трехбалльная система оценок — вуд, уд, неуд).

иду на физмат при столь ярко выраженных математических способностях. Я хотел объяснить экзаменатору психологию моего эффекта — эмоциональное напряжение после трехлетнего ожидания, эмоциональный подъем, разрядка в нужный момент, хотел объяснить, что за этим эффектом ничего нет к физическим наукам — ни любви, ни уважения. Но счел нужным промолчать.

Зато по русскому языку я получил достойное удовлетворение — при вуде за письменную был освобожден от наиболее нудной части словесности — устного экзамена.

Курсы подготовки в вуз свели меня с моим лучшим другом Лазарем Шапиро, тоже из запоздавших к штурму неба. На этих курсах я настойчиво искал партнера, который мог бы гнать программу еще и дома. Таких желающих было немало, но мне это все не подходило. Мне приходилось бы их тащить, я бы сам отставал — темпа нужного, ритма я не находил. Моим требованием была только квартира для занятий. Партнеры мои менялись, занятия на курсах шли. На одном из первых занятий по русскому языку — а слушателей было человек сорок — преподаватель русского языка Ольга Моисеевна Коган заставила всех написать работу, предложив несколько тем. Темы были выписаны Коган на доске, и за полтора часа все слушатели справились с заданием. Я выбрал какую-то тему из Тургенева — об «Отцах и детях», кажется.

— Отметки я вам расставляю по пятибалльной дореволюционной системе, — сообщила Коган. — Это и для меня, да и для вас важно. Приспособить четверку к тройке можно всегда без труда.

Этой фразой начались занятия по русскому языку. Пол-

тора часа, два академических занятия длилась эта работа. И дней через пять Коган продолжила занятия, выложив на стол пачку исписанных нами листков.

— Ну, — сказала Коган, закуривая «Дукат» — она курила беспрерывно. — Как я и ожидала, уровень грамотности ваших работ невелик. Есть только одна работа, заслуживающая пятерки. Это работа Шаламова. Кто Шаламов?

Я встал. С детства мне было не привыкать получать высокие оценки по литературе, и я не обратил на это внимания, приняв это как должное. Но не так думал класс. Какой-то лобастый школьник протянул руку:

— Позвольте задать вопрос?

— Пожалуйста.

— Моя фамилия Шапиро. Вот вы поставили Шаламову пять, а мне четверку. Чем вы руководствовались в таком различии? Я проверил, у меня так же, как и у Шаламова, все запятые на месте. Не можете ли вы обосновать свое решение?

Коган встала и объяснила, охотно углубляясь в предмет, что представляет собой искусство, литература, — о постижении этого неуловимого [нрзб].

— Вы хотите сказать, что у Шаламова есть литературный талант?

— Да, — сказала Коган.

После этого мы стали с Шапиро друзьями. Именно с ним я поступал на факультет советского права, а после первого курса пути наши разошлись, он пошел на хозяйственно-правовое, я — на судебное. Мы встретились снова в оппозиции. Никакого влияния тут не было, на нас обоих влияло одно и то же: век, время, Москва.

Луначарский

Я был принят в университет, но без общежития, как москвич, и жилье, крыша сразу стало трудной, неотложной проблемой. Шапиро лучше меня знал всю бюрократическую иерархию, куда надо было обращаться за отказом, — он тоже был москвичом и ускорил наше хождение до необходимого предела. Получив положенные отказы, мы побежали в Наркомат просвещения на личный прием наркома. На Сретенском бульваре мы быстро разыскали кабинет Луначарского, обратились к секретарше.

— Заявление готово у тебя?

— Да. Вот есть.

— Так и держи в руке, а как получишь разрешение, суй ему прямо на подпись. Ну, иди!

Секретарша раскрыла кабинет наркома, где за большим письменным столом, откинувшись в мягком кресле и заложив ногу за ногу, сидел Луначарский. Солнечный луч из окна, как лазер, вычертил линию от коленки до лысины. Луначарский выслушал мою просьбу, и геометрия луча внезапно нарушилась.

— Это не ко мне, — завизжал нарком, — не ко мне, обратитесь к моему заместителю Ходоровскому. Валя!

— У него на лбу не написано, — резонно сказала Валя, — о чем он собирается с вами говорить, товарищ нарком.

Но я уже умчался к Ходоровскому, на том же этаже, где и получил заветную визу — «дать место».

Возможно, что я со своей жизненной прозой вторгся именно в тот момент, когда солнечный луч с лысины Луначарского уже готов был перескочить на бумагу, двинуть

ритмы «Освобожденного Дон-Кихота». Мне не было дела тогда до таких проблем. А вот проблемы мировой революции меня занимали.

Тут же мои товарищи и старшие братья моих товарищей — герои гражданской войны, выслушав рассказ об этом инциденте, объяснили, что подобные ситуации были нередки, что обычно студенческие депутации долго ждали за дверью, ибо, как объясняла секретарша, «нарком стихи пишет» и принять пока не может. Не знаю, сколько тут злословия, сколько истины, на лбу у наркома, верно, не было написано, пишет ли он стихи или ждет очередного посетителя.

Штурм неба

Таких, как я, опоздавших к штурму неба, в Москве было немало. Самым естественным образом это движение сливалось в течение, кружилось близ скал новой государственности и плыло по незнакомой дороге дальше, то разливаясь по поверхности, то углубляясь, штурмуя осыпающиеся берега. Тут не было ничего от быта и очень много от догмы, да еще от того острейшего чувства, что ты присутствуешь и сам участник какого-то важного поворота истории, да не русской, а мировой. Самым естественным образом это движение-течение вольно клокотало в университете, в высших учебных заведениях, в вузах тогдашних. В вузы поступали тогда не потому, что искали образование, специальность, профессию, но потому, что именно в вузах штурмующие небо могли найти самую ближнюю, самую подходящую площадку для прыжка в космос. Штурмовали небо именно в

вузах, [там] была сосредоточена лучшая часть общества. От рабочих и крестьян их лучшие представители, от дворян и буржуазии те конрады валленроды¹, которые взяли знамя чужого класса, чтоб под ним штурмовать небо. И Ленин, и Маркс, да и все их товарищи по партии были интеллигентами, конечно, плоть от плоти буржуазии, дворянства, различия, выходцами из чужого класса. Ничего в этом особенного нет, но уже в первые годы революции была поставлена догматическая задача — найти кадры из самих рабочих. Это только осложнило штурм неба.

Переступить порог университета — значило попасть в самый кипящий котел тогдашних сражений. Именно здесь, да еще в двух шагах от университета, в РАНИОН² велись споры о будущем, намечались какие-то еще неуверенные, но явно реальные планы мировой революции.

Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление жизни. Такие вопросы, как семья, жизнь, решались просто на ходу, ибо было много и еще более важных задач. Конечно, государство никто не умел строить. Не только государство подвергалось штурму, яростному, беззаветному штурму, а все, буквально все человеческие решения были испытаны великой пробой.

Октябрьская революция, конечно, была мировой революцией.

Каждому открывались такие дали, такие просторы, доступные обыкновенному человеку. Казалось, тронь историю,

¹ Валленрод Конрад — гроссмейстер Тевтонского ордена в 1391—1393 гг., по легенде — литвин. Орден в это время вел войну с Литвой.

² РАНИОН — Российская ассоциация научно-исследовательских институтов общественных наук.

и рычаг повертывается на твоих глазах, управляется твоею рукою. Естественно, что во главе этой великой перестройки шла молодежь. Именно молодежь впервые призвана была судить и делать историю. Личный опыт нам заменяли книги — всемирный опыт человечества. И мы обладали не меньшим знанием, чем любой десяток освободительных движений. Мы глядели еще дальше, за самую гору, за самый горизонт реальностей. Вчерашний миф делался действительностью. Почему бы эту действительность не продвинуть еще на один шаг дальше, выше, глубже. Старые пророки — Фурье, Сен-Симон, Мор — выложили на стол все свои тайные мечты, и мы взяли.

Все это [потом] было сломано, конечно, оттеснено в сторону, растоптано. Но в жизни не было момента, когда она так реально была приближена к международным идеалам. То, что Ленин говорил о строительстве государства, общества нового типа, все это было верно, но для Ленина все было более вопросом власти, создания практической опоры, для нас же это было воздухом, которым мы дышали, веря в новое и отвергая старое.

Консерватория

Наш институт, наш факультет был впритык с консерваторией, и при желании проникнуть в здание, проскочить сквозь барьер консерватории было [можно]. Но что нам там слушать? Иностранских скрипачей, советских пианистов? Не скрипачей, не пианистов слушали, а, всем телом, всем мозгом, всеми нервами своими напрягаясь, слушали ораторов.

Для того чтобы слышать ораторов, в консерваторию ходить было не надо — все словесные, и бессловесные, и не словесные турниры шли у нас же, хотя Коммунистическая, бывшая Богословская, аудитория поменьше была Большого зала консерватории — наиболее крупного тогда кино в Москве. Консерватория так и называлась—кино «Колосс», причем, по упрямой московской обмолвке, тому упрямству, которое заставляет произносить «на Москвареке», а не «на Москве реке». Большой зал консерватории назывался «Киноколосс».

В консерватории было то, чего не было в университете, — буфет. Мы все имели талоны в столовую латинского квартала Москвы, но буфет консерватории был подарком. И хоть там, кроме бутербродов со свеклой, а иногда с кетовой икрой, тоже ничего не было, все же деятели искусства как-то подкармливались. Вот этот буфет и был предметом наших постоянных атак. Пускали туда по консерваторским пропускам с фотографиями, и такой свой пропуск нам отдал студент консерватории, бывший житель нашей Черкасски, крошечного, всего на сто коек, университетского общежития.

[Университет]

Москва тогдашних лет просто кипела жизнью. Вели бесконечный спор о будущем земного шара — руководимые и направляемые центром тогдашней футурологии РАНИОН и Комакадемией¹, где тогдашние пророки Преображенский, Бухарин, Радек бросали лучи в будущее. Эти лучи ни тем,

¹ Коммунистическая академия (1918—1923 — Социалистическая академия) просуществовала до 1936 года.

которые наводили, ни тем [кто] обслуживал экран, — красным профессорам, немногочисленным, одетым в шинели и куртки того же покроя и фасона, что был у Преображенского, не казались еще ни лучами смерти из «Гиперболоида», ни обжигающими лазерами. Это были лучи мысли во всей ее фантастической реальности. В Московском университете, кипевшем тогда, как РАНИОН, сотрясаемом теми же волнами, дискуссии были особенно остры. Всякое решение правительства обсуждалось тут же, как в Конvente.

То же было и в клубах. В клубе «Трехгорки» пожилая ткачиха на митинге отвергла объяснение финансовой реформы, которую дал местный секретарь ячейки.

— Наркома давайте. А ты что-то непонятное говоришь.

И нарком приехал — заместитель наркома финансов Пятаков, и долго объяснял разъяренной старой ткачихе, в чем суть реформы. Ткачиха выступила на митинге еще раз.

— Ну, вот, теперь я поняла все, а ты — дурак —ничего объяснить не можешь.

И секретарь ячейки слушал и молчал.

Эти споры велись буквально обо всем: и о том, будут ли духи при коммунизме, фабрика Брокера стояла с революции, и работники не были уверены, что ее пустят. И о том, существует ли общность жен в фаланге Фурье, и о воспитании детей. Обсуждали не формы брака, обсуждался сам брак, сама семья — нужна ли она. Или детей должно воспитывать государство, и только государство. Нужны ли адвокаты при новом праве. Нужна ли литература, поэзия, живопись, скульптура... И если нужны, то в какой форме, не в форме же старой.

И Штеренберг, и Шагал, и Малевич, и Кандинский создавали новые формы, предъявляли новые свои искания на суд нового времени.

Спорили в университете. Но еще больше спорили в общежитиях — иногда до утра. В общежитиях медиков спорили меньше, много спорили математики. И особенно оба гуманитарных факультета — советского права и этнологический, куда входили литературное и историческое отделения.

Тут просто разрывали на части. Популярных ораторов еще не было среди молодежи. Но, конечно, кое-какие фамилии уже начали выделяться на этом остром фоне: [Милькан], Володя Смирнов, Арон Коган. Все они кончили ссылкой.

На первом курсе мне удалось написать работу о советском гражданстве, обратившую на себя внимание не только руководителя семинара, но о научной работе я в этой бурлящей, закипающей каше и думать не хотел. Жизнь моя поделилась на те же две классические части: стихи и действительность. Я писал стихи, ходил в литературные кружки, занимался [нрзб], вошел в это время в «Молодой ЛЕФ», несколько раз был в «Красном студенчестве» у Сельвинского.

Я бывал на занятиях у Брика, на диспутах Маяковского, встречался с Сергеем Михайловичем Третьяковым — фактографистом. И в то же время жил жизнью общественной в тех формах, которые казались мне тогда приемлемыми. Как и всегда, я служил двум началам.

О том, какое начало выбрать, меня не спросили. 19 февраля 1929 года я был арестован и вернулся в Москву лишь в 1932 году.

Новый 1929 год я встретил на Собачьей площадке, в чужой чьей-то квартире, в узкой компании обреченных. Ни один из участников вечеринки не пережил 29-го года в Москве, никто никогда больше не встретился друг с другом.

Это были мои университетские товарищи, мои сверстники. На этой вечеринке я сделал удивительное открытие. Моя

соседка, знаменитый оратор дискуссий 27-го года, выступавшая в красной шелковой рубаше с мужским ремнем, на котором была укреплена кобура браунинга, оратор весьма популярный на университетских трибунах, вдруг оказалась самой женственной дамой, которую только можно вообразить. Шелковая кофточка, модная юбка, букетик цветов, с которыми она явилась на вечеринку, произвели весьма сильное впечатление. Соседка моя оказалась не красавицей, но весьма хорошенькой девушкой, светловолосой блондинкой, волосы выбивались из-под косынки шелковой. Капля духов ей бы отнюдь не повредила.

Вечеринка кончилась, я вернулся к себе в общежитие.

19 февраля я был арестован в засаде в одной из подпольных типографий Москвы¹.

Все мы были рады, что глупая петиционная кампания² кончилась, и смело смотрели вперед, не ожидая ни масштабов, ни мстительности ответного удара.

1970-е годы

¹ Шаламов распространял отпечатанное подпольно «завешание» В. И. Ленина — «Письмо к съезду». Был осужден как «социально опасный элемент» на 3 года лагерей. Срок отбывал в Вишере, на Северном Урале.

² «Петиционной кампанией» Шаламов называет неоднократные выступления оппозиции с внутрипартийными заявлениями и платформами.

Бутырская тюрьма (1929 год)¹

19 февраля 1929 года я был арестован. Этот день и час я считаю началом своей общественной жизни — первым истинным испытанием в жестких условиях. После сражения с Мережковским в ранней моей юности, после увлечения историей русского освободительного движения, после кипящего Московского университета 1927 года, кипящей Москвы — мне надлежало испытать свои истинные душевные качества.

В наших кругах много говорилось о том, как следует себя держать при аресте. Элементарной нормой был отказ от показаний, вне зависимости от ситуации — как общее правило морали, вполне в традиции. Так я и поступил, отвязавшись от показаний. Допрашивал меня майор Черток, впоследствии получивший орден за борьбу с оппозицией как сторонник Агранова, расстрелянный вместе с Аграновым в 1937 или 1938 году.

¹ Впервые: «Вишера», антироман. М: Книга. 1989.

Потом я узнал, что так поступили не все, и мои же товарищи смеялись над моей наивностью: «Ведь следователь знает, что ты живешь в общежитии с Игреком, так как же ты в лицо следователю говоришь, что не знаешь и не знал Игрека». Но это — обстоятельства, о которых я узнал в 1932 году, после моего возвращения в Москву. В 1929 же году мне казалось все ясным, все чистым до конца, до жеста, до интонации.

Следователь Черток направил меня для вразумления в одиночку Бутырской тюрьмы. Здесь, в мужском одиночном корпусе, в № 95, я и просидел полтора месяца — очень важных в моей жизни.

Здесь была возможность обдумать, продолжить и закончить дискуссию с Мережковским, начатую в школе второй степени. Здесь была возможность понять навсегда и почувствовать всей шкурой, всей душой, что одиночество — это оптимальное состояние человека. Написаны горы философских трактатов на тему отчуждения — об истинном праве духовных и душевных качеств человека. Написаны десятки книг о цифровой символике, где цифра «единица» представляет собой самую важную цифру нашего счета — духовного, технического, поэтического, бытового!

Если лучшая цифра коллектива — два: взаимопомощь, как фактор эволюции, продолжения рода, то уже коллектив из трех человек, трех живых существ, три и больше — вовсе отличается от заветной «двойки». При двойке прощаются все ошибки, улаживаются все споры по тем же причинам, что при тройке возникают. Ребенок, семья, общество, государство. Эти бесконечные споры двоих вовсе не неизбежны, но отнюдь не идеальны.

Идеальная цифра — единица. Помощь единице оказывает Бог, идея, вера. Только здесь — во взаимной помощи, в проверке и справедливости — допустима двойка. В практической жизни эта двойка — второй человек, а может и не быть [человека].

Достаточно ли нравственных сил у меня, чтобы пройти свою дорогу как некой единице, — вот о чем я раздумывал в 95-й камере мужского одиночного корпуса Бутырской тюрьмы. Там были прекрасные условия для обдумывания жизни, и я благодарю Бутырскую тюрьму за то, что в поисках нужной формулы моей жизни я очутился один в тюремной камере.

Я принохивался к лизолу — запах дезинфекции сопровождает меня всю жизнь.

Я не писал там никаких стихов. Я радовался только дню, голубому квадрату окна — с нетерпением ждал, когда уйдет дежурный, чтобы опять ходить и обдумывать свою так удачно начатую жизнь.

Никакой подавленности не было, точно все это — и цементный пол, и решетки, — все это было давно видено мной, испытано в снах, в мечтах. Все оказывалось таким же прекрасным, как в моих затаенных сновидениях, и я только радовался.

Нам давали газеты. Если был выходной — «Правду». Впервые в жизни я так солидно [подначитался] прессы.

Заклученный сам убирает парашу, ходит на оправку по тому же звенящему железному коридору, который снят в фильме «Крах» при сиене побега Павловского. Была прогулка в одном из тюремных дворикив с «выводным» конвоиром. Книги же давали только [по бумаге], по заявлению. Обход

коменданта — комендантом был толстый грузин Адамсон — ежедневный.

Одним из главных моих требований к людям и всегда было соответствие слова и деяния, «что говоришь — сделай» — так меня учили жить. Так я учил жить других. Нет вождей, нет авторитетов. Перед тюрьмой все равны.

Я надеялся, что и дальше судьба моя будет так благоклонна, что тюремный опыт не пропадет. При всех обстоятельствах этот опыт будет моим нравственным капиталом, неизменным рублем дальнейшей жизни.

Мне очень хотелось встреч в тюремной [камере], в свободной обстановке с вождями движения, ибо вожди есть вожди, и было бы хорошо взять у них какое-то ценное моральное качество, которым они, несомненно, обладают. Я почувствую, если не пойму, присутствие этого тайного бога. И по ряду предметов хотел бы скрестить с ними шпагу, поспорить, прояснить кое-что, что было мне не совсем ясно во всем этом троцкистском движении.

Стремление скорее встретиться с вождями движения уравновешивалось возможностью обдумать свою жизнь в камере Бутырской тюрьмы. Именно здесь, в стенах Бутырской тюрьмы, дал я себе какие-то честные слова, какое-то слово, встал под какие-то знамена.

Какие же это были слова?

Главное было — соответствие слова и дела. Я не сомневался, даже в тайниках души не сомневался в том, что уже вышел на яркий тюремный свет, пронизывающий насквозь человека.

Способность к самопожертвованию.

Я и сейчас могу заставить себя пройти по горячему же-

лезу, и не в рахметовском плане — как раз этот герой меня никогда не увлекал. И не как факир идет — просто [чтобы...] сделать физическое движение. Я был тем сапером, который разрезает колючую проволоку. Жертва должна быть достойна цели. Вот об этой-то цели мне хотелось побеседовать где-нибудь в политизоляторе с кем-нибудь постарше. Жертва была — жизнь. Как она будет принята. И как использована.

Физические неудобства классического вида давно уже были для меня предлогом и поводом для душевного подъема. Этот подъем, который я почувствовал в Бутырской тюрьме за все полтора месяца одиночки, не был приподнятостью нервной, которую так часто ошущают при первом аресте. Подъем этот был ровен: я ошущал великое душевное спокойствие. Мне удалось найти ту форму жизни, которая очень проста и в своей простоте отточена опытом поколений русской интеллигенции. Русская интеллигенция без тюрьмы, без тюремного опыта — не вполне русская интеллигенция. И в Бутырской тюрьме, и раньше у меня не было преклонения перед идеей движения — тут много было спорного, неясного, путаного. Поведение мое мне отнюдь не казалось романтическим. Просто — достойным, хотя на протяжении многих лет мои старшие товарищи, старшие не по движению, а по судьбе и быту, упрекали (не упрекали, а квалифицировали, что ли) мое поведение как романтизм, тюремный романтизм, романтизм жертвы.

Как раз ничего романтического в моем поведении не было, просто я считал эту форму поведения достойной человека, может быть, единственно достойной в тот миг, в тот год для себя — без предъявления требований вести себя так. Я никого не учил, учил только самого себя. Никого не звал

к подражанию. Вся романтика подражательная, хорошо освоенная людьми, меня особенно не привлекала.

В Бутырской тюрьме я выходил на какое-то особенное, определенное место в своей собственной жизни.

За полтора месяца меня вызывали два или три раза на допрос, но я, как и в начале следствия, не давал никаких показаний. Последнюю подпись об окончании следствия дал я в марте, а уже 13 апреля 1929 года пришел пешим этапом в концентрационный лагерь Управления Соловецких лагерей особого назначения — в 4-е отделение этого лагеря, расположенное [на Вишере].

Я пришел с приговором — три года концентрационных лагерей особого назначения. По окончании срока дается свидание с родными и — высылка в Вологодскую область на пять лет. Я отказался расписаться в том приговоре. Приговор был громовый, оглушительный, неслышанный по тем временам. Агранов и Черток решили не стесняться с «посторонним». Опасен был троцкизм, но еще была опасней «третья сила» — беспартийные знаменщики этого знамени.

Если оппозиция — это комсомольцы, партийцы — свои люди, над их судьбой надо еще подумать: быть может, завтра они вернутся в партии к силе. Тогда чрезмерная жестокость будет обвинением. Но беспартийному надо было, конечно, показать пример истинной моши пролетарского меча. Только концлагерь. Только каторжные работы. Только клеймо на всю жизнь, наблюдение на всю жизнь.

Майор Черток вел мое следствие по статье 58, пункт 10, и 58, пункт 11 — агитация и организация. А в приговоре, в той выписке из протокола Особого совешания, которую мне вручил комендант Бутырской тюрьмы в коридоре тюремном,

было сказано: «...осужден как социально опасный элемент». Я приравнивался к ворам, которых тогда судили по этой статье.

С ворами в одном вагоне отправился в лагерь на Урал. Высшие власти просили меня запомнить, что они не намерены со мной считаться как с политическим заключенным, да еще оппозиционером.

Высшая власть рассматривала меня как уголовника. Эта чекистская поэзия коснулась не одного меня.

Следствие было начато и закончено по 58-й статье. А приговор был вынесен по уголовной, как потом у писателя Костерина, которого Берия судил в 1938 году на Колыме как СОЭ¹. Это — традиция [не] новая.

Для Сталина не было лучшей радости, высшего наслаждения во всей его преступной жизни, как осудить человека за политическое преступление по уголовной статье. Это и есть одна из сталинских «амальгам» — самая поначалу распространенная в 1930 году в Вишерских лагерях статья.

1970-е годы

¹ СОЭ — социально опасный элемент.

Москва 30-х годов

Москва 30-х годов была городом страшным. Изобилие нэпа — было ли это? Пузыри или вода целебного течения — все равно — исчезло.

Подполье 20-х годов, столь яркое, забилося в какие-то норы, ибо было сметено с лица земли железной метлой государства.

Бесконечные очереди в магазинах, талоны и карточки, орсы¹ при заводах, мрачные улицы, магазин на Тверской, где не было очереди. Я зашел: пустые полки, но в углу какая-то грязная стоведерная бочка. Из бочки что-то черпали, о чем-то спорили: «мыло для всех».

На Ивантеевской фабрике матери протягивали мне грязных детей, покрытых коростой, пиодермией и диатезом. Закрытые распределители для привилегированных и надежных. Партмаксимум — но закрытые распределители.

¹ ОРС — отдел рабочего снабжения.

Заградительные отряды вокруг Москвы, которые не пропускали, отбрасывали назад поток голодающих с Украины. 21-й год — это был голод в Поволжье, 33-й был голодом Украины. Но одиночные голодающие проникали в Москву в своих коричневых домотканых рубахах и брюках — протягивали руки, просили. Ну что могла дать Москва? Талоны на хлеб, на керосин.

Директор шахты подмосковного угольного бассейна распорядился кормить в горняцких столовых, только если руки и одежда запачканы углем, угольной пылью. За углом два беженца спешно превращались в негров, в шахтеров, чтобы проскочить контроль — человека с пистолетом.

Шесть условий товарища Сталина, «Догнать и перегнать», «Время, вперед» — одни из самых бессовестных [лозунгов] тех лет. Беломорканал, канал Москва — Волга, коллективизация, аресты в деревне. Все это описано трижды и четырежды, как все это отражалось в семье русского интеллигента.

Все оказалось не так хорошо и не так просто. После свиданий с некоторыми из моих друзей и очевидной размолвки я стал искать пути в одиночку. Я вновь вернулся, как в университетское время, к постоянному чтению в библиотеках. Квартиру быстро снял вместе с журналистом Шумским в Коробейниковом переулке на Остоженке. Хозяин квартиры слесарь Анисимов сдавал одну из комнат. Семья была большая, три дочери, хозяйева пили — [картина] знакомая, — и пили частенько, пили и пели. Все это тоже, в общем, было терпимо, переносимо. Не каждый день они пили. Но явилось очень интересное обстоятельство.

Хозяин любил рассказывать о своем участии в револю-

ционной деятельности, в революционном движении. Последняя его работа — должность в Музее революции.

— Выхожу я, беру с собой пистолет. Валька уже отворачивает ломом шеколду. И — экс! А они теперь в музее не хотят утвердить мой стаж политкаторжанина, хотя я был на каторге, на «Колесухе». Экс; говорят, не революция. Сейчас собираю свидетелей. Угошаю тут старичков полезных. Ты не думай, меня все знают, меня и Ленин знает. Я был у него, докладывал о всех годах. Правильно, Ленин говорит, правильно действуешь, товариш Анисимов. Подходит и целует меня в макушку. Не веришь? А то меня еще Троцкий целовал. Тот — в руку. Рассказать?

Вот такого рода был наш хозяин. Уголовник, освобожденный революцией, который все никак не мог пробраться в политкаторжане.

К этому времени я прописался на Садово-Кудринской, где жил и раньше, до путешествия на Вишеру. Прописывали тогда по профсоюзному билету, по любому удостоверению личности. И в комнате этой жили когда-то моя сестра и я и бывший муж сестры, с которым она развелась и уехала в Сухум. Узнав, что я живу в этой комнате, бывший муж сестры, на чье имя была эта комната, сам он жил где-то за городом и в Москве не бывал месяцами, сейчас же выписал меня, не сообщая ни мне, ни сестре.

Тех нескольких дней прописки оказалось достаточно, чтобы я получил вызов в центральный уголовный розыск. Я взял все документы — профбилет, удостоверение с места работы, прописку, справку из лагеря об освобождении, военный билет — и явился на Петровку.

Проверка была недолгой, возвратив документы, товариш Ерофеев подписал мне пропуск на выход.

— А в чем дело?

— Да ни в чем, просто проверяем всех, кто раньше сидел.

После смерти отца в 1933 году я женился, в 1935 году у меня родилась дочь, а 12 января 1937 года я был арестован, осужден особым совещанием при наркоме НКВД товарише Ежове на пять лет трудовых лагерей с отбыванием срока на Колыме. И отправился на Колыму.

В непрерывной работе над рассказами мне казалось, что у меня что-то стало получаться. Несколько рассказов Бабеля — писателя наиболее модного в те времена — я переписывал и вычеркивал все «пожары, как воскресенья» и «девущек, похожих на ботфорты» и прочие красоты. Из рассказов немного оставалось. Все дело было в этом украшении, не больше. Говорят, что Бабель — это испуг интеллигенции перед грубой силой — бандитизмом, армией. Бабель был любимцем снобов. Истинное открытие того времени, истинный массовый успех имел Зошенко, и вовсе не потому, что это фельетонист-сатирик. Зошенко имел успех потому, что это не свидетель, а судья, судья времени. Свидетелей и без Зошенко было немало. Пантелеймон Романов, например. Зошенко был создателем новой формы, совершенно нового мышления в литературе (тот же подвиг, что и Пикассо, снявшего трехмерную перспективу), показавшим новые возможности слова. Зошенко трудно переводить. Его рассказы непереводимы, как стихи. В русской литературе того времени это фигура особого значения.

Я работал в московских журналах¹. За годы с 32-го по 37-й в Москве и Московской области нет ни одной фабрики, ни одного рабочего общежития, ни одной рабочей столовой, где бы я не был, и не один раз. И хотя свою литературную биографию я числю с лефовских кружков 1928 года, первый рассказ мой напечатал Панферов в «Октябре» 1936 года.

В какой-то из автобиографических вещей Бунина есть признание о первом рассказе. «Я почувствовал, — пишет Бунин, — что теперь я должен вести себя как-то по-другому, по-особому...»

У меня такого чувства не было никогда. Ничего на душе не изменилось после напечатания. Более того: всякую свою вещь напечатанную не люблю и не читаю. Иногда читаю, как чужую, и вижу большие недостатки. Тут дело не в правке, ничего править не надо. Рассказы мои совершенны. Потеря в другом — самая мысль недостаточно многосторонняя, недостаточно символична, что ли. Может быть получен в прозе тот чистый тон, о котором говорит Гоген в «Ноа-Ноа»? Может.

1970-е годы

¹ В 1932—1937 гг. Шаламов работал в журналах «За ударничество», «За овладение техникой», «За промышленные кадры».

Герман Хохлов

В юности у меня была ярко выраженная моторная, двигательная память. Мне достаточно было написать своей рукой стихотворный текст чуть не любой длины один раз — и я запоминал навеки. До них бесконечное количество стихотворной дряни двадцатых годов попало в мой мозг именно таким способом.

Сейчас, после Колымы, где этот способ запоминания был противопоказан, опасен, — память развилась, укрепилась — как зрительная. Я каждый вечер мучаюсь кошмаром лиц, витрин, улочек, перекрестков, — я помню морщины на лицах любой кассирши в магазине и бороться со своей памятью не могу, не могу отбрасывать, ибо знаю, что вдруг виденное вчера, позавчера — явится ко мне снова — живу со слабой надеждой не видеть этих мелочей. Я не управляю памятью — всякая мелочь столько же властна и сильна, как и важное, большое, значительное.

Слуховая память у меня всегда была на втором, на даль-

нем месте, а с глухотой и совсем утрачена надежность, важность.

Но в моей жизни есть случай, минута, когда требовалась исключительная мобилизация именно слуховой памяти, и память выдержала испытание, запомнила на слух — без всякой надежды на какую-то другую форму передачи, но с достаточной волей восприятия все осталось в памяти навеки.

Эти особые обстоятельства я сам для себя называю «Роландовым рогом».

В июне тридцать седьмого года мои полугодовые следственные мытарства в Бутырской тюрьме кончались. Я был приговорен к пяти годам лагерей с отбыванием срока на Колыме и был переведен в этапный корпус, в большую церковь. Конструкция одноэтажного храма легко разместила пять этажей, пять коридоров с камерами, волчьей музыкой тюремных замков. Все было так же, как и в следственной, — оправки, поверки, скользкая смена караула. Но чем-то было и по-другому — большим шумом, и надзиратели не унимали шума.

Из шестьдесят девятой камеры встретил я в этапе Сережу Кливанского, которого знал и по университету, в 1927 году он был исключен из комсомола во время прений «по китайскому вопросу», а в 1937 году ввергнут в тюрьму артистом Камерного театра Фениным, Сережиным приятелем, домашним другом, Сереже Кливанскому удалось окончить университет, он не сидел в тюрьме в двадцатые годы, но работать экономистом в Наркомате тяжелой промышленности Сереже не дали. Кливанский — любитель-скрипач — сделал смелый ход — бросил службу в Наркомате, брал уроки у

скрипачей и по конкурсу поступил в оркестр театра Станиславского, кажется на должность второй скрипки. Так Сережа водил смычком несколько лет, но в тридцать седьмом его разыскали и в театральном оркестре. Со стандартной «пятеркой» по КРТА¹. Сережа уехал на Колыму, перенес на прииске «Партизан» зиму 1937—1938 года, — мы жили в одном бараке, а в 1938 году был увезен на Серпантинку — следственную тюрьму Колымы — и расстрелян.

Именно Сереже принадлежит острота в этапном корпусе Бутырской тюрьмы — в жаркие, потные, душные дни тюремного июля. Приговор у всех в нашей камере один — человек на сто с круглообразными нарами, размешенными в церкви: пять лет лагерей с отбытием срока на Колыме.

Сережа, увидев это настойчивое повторение Дальнего Севера в приговорах, сказал, вытирая рубахой пот, льющийся с тела: «После пытки выпариванием нас подвергнут пытке вымораживанием».

Меня мучила жара, но сердце у меня было хорошее, и я перемогался. Нары были оголены, пусты — все набивались под нары, где все-таки было холоднее, лучи солнца не доставали. Но это был один из видов тюремного самообмана — камера наша была на третьем этаже и температура под нарами и на нарах была почти одинаковой. Но арестант шкурой своей этот градус, конечно, различает. И нужна немалая воля, чтобы заставить себя в жару лечь на нары — пустые, но на градус выше температурой.

Одно из таких голых тел, тех, которых не обдувал ника-

¹ КРТА — контрреволюционная троцкистская деятельность.

кой ветер, как бы ни ловчило это тело пристроиться на сквозняке — слышалось бормотанье, бормотанье...

Я подошел поближе.

— Это стихи, — сказал человек, снимая толстые очки без оправы и открывая робкие голубые глаза.

— Кто вы?

— Меня зовут Герман Хохлов.

Фамилия эта была мне знакомой. «Известия» печатали статьи, Герман Хохлов был пражанин, нансеновский стипендиат, белоэмигрант, — как мы тогда называли. Отец его ушел с Врангелем. Работал во Франции. Герман окончил в Праге русский институт, специализировался по русской литературе, русской поэзии.

Добивался возвращения на родину.

Одноделец Хохлова, пражанин с душой попросе, был со мной в 69-й следственной камере Бутырской тюрьмы. Фамилия его была Уметин, бывший казак, тоже нансеновский стипендиат. Работал в Москве экономистом, женился.

— Мы были уверены, что сидеть в тюрьме придется. Так что арест нынешний — не сюрприз для меня, — говорил Хохлов. — Мы приехали, нас не арестовали, и года два я писал обзоры, делал доклады о советской поэзии, печатал статьи в газетах. И все же — арестовали. Я даже какое-то облегчение почувствовал. Думаю, теперь-то все сбывается, что мы и ждали. Это и будет проверка, официальная проверка.

— Проверка?

— А как же? Только вот почему-то в лагерь, да еще на Колыму. Наверно, это к лучшему. Дальний Север, Джек Лондон.

— Наверное.

— А вы не знаете примеров?

— Первый раз вижу живого эмигранта.

— Ну, почитаем стихи.

— А целое что-либо помните? Все равно что. Целиком, от строки до строки!

— Что это за тайна? Почему я не могу припомнить Пушкина в тюрьме? Ну, «Евгения Онегина» я просто не хотел, но вступление к «Медному всаднику»? «Полтаву»? Ведь цитаты из «Полтавы», допрос Кочубея и Бутырская тюрьма. Память должна была поднять с самого дна? Еще Пастернак. Где «Заместительница»? «Я живу с твоей карточкой, с той, что хочешь, у которой суставы в запястьях хрустят»...

Или «скамьи, шашки, выпушка охраны...»

Нет, только обрывки, только куски, только обломки...

Полностью я припоминаю только Блока. «Никогда я не забуду...», «Разуверение» Баратынского...

Хохлов прислушивался к моим попыткам с явным интересом.

— Нечего не помню, — сказал я устало.

— Это — тюремное. Я всю русскую поэзию знаю наизусть, а теперь не припоминаю целиком ни одной вехи. Я уже пробовал. Исчезло. Но некоторые стихи я запомнил. Вот так как вы Блока и Баратынского.

— Кусками — многое.

— Прочтите куски.

— Нет. Стихотворение должно запоминаться и слушаться целиком. Только так... Цель поэзии не будет достигнута, если запоминать только обломки.

— Но некоторые стихи я помню. Я помню «Роландов рог»¹ Цветаевой, помню два стихотворения Ходасевича — «Играю в карты»² и «Ан Марихен!». Могу вам прочесть.

Мне, чтобы запомнить, надо записать, но ни бумаги, ни карандашей. Я сел на нарах около Хохлова, и Хохлов прочел Цветаевой «Роландов рог». Я повторил, с маленькой ошибкой, и Хохлов поправил эту ошибку, и я повторил без ошибки. Точно так же были прочтены «Играю в карты, пью вино» и «Ан Марихен!».

Я не успел повторить стихи перед Хохловым. Загремела дверь, Хохлова вызвали, и больше я с ним не встретился.

Я все повторил утром без труда.

Все три стихотворения я запомнил на всю жизнь — хотя впереди было семнадцать лет Колымы.

1970-е годы

¹ До конца жизни В. Шаламов любил читать эти стихи, глубоко созвучные его ошущению предназначения своего дара, своей жизни.

«...Стою и шлю, окаменев от взлету,
Сей громкий зов в небесные пустоты.
И сей пожар в груди тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, Рог!»

² «Играю в карты, пью вино,
С людьми живу и лба не хмурю,
Ведь знаю — сердце все равно
Летит в излюбленную бурю.
Лети, кораблик мой, лети,
Кренясь и не ища спасенья,
Его и нет на том пути,
Куда уносит вдохновенье...»

Воспоминания (о Колыме)¹

Предисловие

Много, слишком много сомнений испытываю я. Это не только знакомый всем мемуаристам, всем писателям, большим и малым, вопрос. Нужна ли будет кому-либо эта скорбная повесть? Повесть не о духе победившем, но о духе растоптанном. Не утверждение жизни и веры в самом несчастье, подобно «Запискам из Мертвого дома», но безнадежность и распад. Кому она нужна будет как пример, кого она может воспитать, удержать от плохого и кого научить хорошему? Будет ли она утверждением добра, все же добра — ибо в этической ценности вижу я единственный подлинный критерий искусства.

И почему я? Я не Амундсен, не Пири. Мой опыт разделен миллионами людей. Не подлежит сомнению, что среди этих

¹ Впервые: «Знамя», 1993, № 4.

миллионов есть те, чей глаз зорче, и страсть сильнее, и память лучше, и талант богаче. Они пишут о том же самом и, бесспорно, расскажут ярче, чем я.

Кто знает мало — знает много

Есть и другие, более «тонкие» сомнения. В литературе считается бесспорным, что писатель может хорошо написать лишь о том, что он знает хорошо и глубоко; чем лучше он знает «материал», чем глубже его личный опыт в этом плане, тем серьезней и значительней то, что выходит из-под его пера.

С этим нельзя согласиться. В действительности дело обстоит иначе. Писателю нужен опыт небольшой и неглубокий, достаточный для правдоподобия, опыт такой, который не мог бы оказать решающего действия в его оценках, и эмоциональных и логических, в его отборе, в самом строе его художественного мышления. Писатель не должен хорошо знать материал, ибо материал раздавит его. Писатель есть соглядатай читательского мира, он должен быть плоть от плоти тех читателей, для которых он пишет или будет писать.

Зная чужой мир слишком хорошо и коротко, писатель проникается его оценками, и его пером начинают водить, утверждая важность, безразличие или пустяковость оценки чужого мира. Читатель потеряет писателя (и наоборот). Они не поймут друг друга.

В каком-то смысле писатель должен быть иностранцем в том мире, о котором пишет он. Только в этом случае он может отнестись к материалу критически, [будет] свободен

в своих оценках. Когда опыт неглубок, писатель, предавая увиденное и услышанное на суд читателя, может справедливо распределить масштабы. Но как рассказать о том, о чем рассказывать нельзя? Нельзя подобрать слова. Может быть, проще было умереть.

Нельзя рассказать хорошо о том, что знаешь близко.

Тютчевское соображение о том, что мысль изреченная есть ложь, так же смущает меня. Человек говорящий не может не лгать, не приукрашивать. Способность вывертывать душу наизнанку редчайша, а Достоевскому подражать нельзя. Все, что на бумаге, — все выдумано в какой-то мере.

Удержать крохи искренности, как бы они ни были неприглядны. Бороться с художественной правдой во имя правды жизни — эта задача еще не так трудна. Трудно другое, что сама правда жизни преходяше изменчива. Она — однодневка, она не та, что была вчера, и не та, что будет завтра. Чувство — единственное, в чем не лжет художник. Если ему удастся донести это чувство до читателя любым способом, — он прав, он выиграл свое сражение. Но как! Можно ли донести чувство это, пользуясь языком не тем, который сопровождал художника в его скитаниях, а языком другим — пускай несравненно более богатым, но — другим?

Память

Несовершенство инструмента, называемого памятью, также тревожит меня. Много мелочей характернейших неизбежно забыто — писать приходится через 20 лет. Утраче-

но почти бесследно слишком многое — и в пейзаже, и в интерьере, и, самое главное, в последовательности ощущений. Самый тон изложения не может быть таким, каким должен быть. Человек лучше запоминает хорошее, доброе и легче забывает злое. Воспоминания злые — гнетут, и искусство жить, если таковое имеется, — по существу есть искусство забывать.

Я не вел никаких записок, не мог их вести. Задача была только одна — выжить. Плохое питание вело к плохому снабжению клеток мозга — и память неизбежно слабела по чисто физическим причинам. Она, конечно, не вспомнит всего. Притом ведь воспоминание есть попытка переживания прежнего, и всякий лишний месяц, лишний год неизбежно ослабляют впечатление, ощущение и меняют его оценку.

Много раз со всей убедительностью приходило мне в голову, что интеллектуальное расстояние от так называемого «простого человека» до Канта, что ли, во много раз больше такого же расстояния от «простого человека» до его рабочей лошади.

Гамсун в «Соках земли» оставил нам гениальную попытку показать психологию простого крестьянина, живущего далеко от культуры, — его интересы, его поступки и мотивы их. Других подобных книг в мировой литературе я не знаю. Во всем остальном писатели с удручающей настойчивостью начиняют своих героев психологией, далекой от действительности, гораздо более усложненной. В человеке гораздо больше животного, чем кажется нам. Он много примитивнее, чем нам кажется. И даже в тех случаях, когда он образован, он использует это оружие для защиты своих примитивных

чувств. В обстановке же, когда тысячелетняя цивилизация слетает, как шелуха, и звериное биологическое начало выступает в полном обнажении, остатки культуры используются для реальной и грубой борьбы за жизнь в ее непосредственной, примитивной форме.

Как рассказать об этом? Как заставить понять, что мышление, чувства, действия человека просты и грубы, что его психология чрезвычайно проста, что его словарь сужен, а чувства его притуплены? Рассказывать об этой жизни нельзя от первого лица. Ибо это будет рассказ, который никого не заинтересует, — настолько беден и ограничен будет душевный мир героя.

Как показать, что духовная смерть наступает раньше физической смерти? И как показать процесс распада физического наряду с распадом духовным? Как показать, что духовная сила не может быть поддержкой, не может задержать распад физический?

Когда-то в камере Бутырской тюрьмы я спорил с Арном Коганом, талантливым доцентом Воздушной академии. Мысль Когана была та, что интеллигенция как общественная группа значительно слабей, чем любой класс. Но в лице своих представителей она в гораздо большей степени способна на героизм, чем любой рабочий или любой капиталист. Это была светлая, но неверная мысль. Это было быстро доказано применением пресловутого «метода № 3» на допросах. Разговор с Коганом был в начале 1937 года, бить на следствии начали во второй половине 1937 года, когда побои следователя быстро вышибали интеллигентский героизм. Это было доказано и моими наблюдениями в течение многих лет над несчастными людьми. Духовное преимуще-

ство обратилось в свою противоположность, сила обратилась в слабость и стала источником дополнительных нравственных страданий — для тех немногих, впрочем, интеллигентов, которые не оказались способными расстаться с цивилизацией как с неловкой, стесняющей их движения одеждой. Крестьянский быт гораздо меньше отличался от быта лагеря, чем быт интеллигента, и физические страдания переносились поэтому легче и не были добавочным нравственным угнетением.

Интеллигент не мог обдумать лагерь заранее, не мог его осмыслить теоретически. Весь личный опыт интеллигента — это сугубый эмпиризм в каждом отдельном случае. Как рассказать об этих судьбах? Их тысячи, десятки тысяч...

Как вывести закон распада? Закон сопротивления распаду? Как рассказать о том, что только религиозники были сравнительно стойкой группой? Что партийцы и люди интеллигентных профессий разлагались раньше других? В чем был закон? В физической ли крепости? В присутствии ли какой-либо идеи? Кто гибнет раньше? Виноватые или невиноватые? Почему в глазах простого народа интеллигенты лагерей не были мучениками идеи? О том, что человек человеку — волк и когда это бывает. У какой последней черты теряется человеческое? Как обо всем этом рассказать?

Язык

На каком языке говорить с читателем? Если стремиться к подлинности, к правде — язык будет беден, скуден. Метафоричность, усложненность речи возникает на какой-то сту-

пени развития и исчезает, когда эту ступень перешагнут в обратной дороге. Начальство, уголовников, соседей — буквально всех — раздражает витиеватость интеллигентской речи. И незаметно для самого себя интеллигент теряет все «ненужное» в своем языке... Весь мой дальнейший рассказ и с этой стороны неизбежно обречен на лживость, на неправду. Никогда я не задумался ни одной длительной мыслью. Попытки это сделать причиняли прямо физическую боль. Ни разу я в эти годы не восхитился пейзажем — если что-либо запомнилось, то запомнилось позднее. Ни разу я не нашел в себе силы для энергичного возмущения. Я думал обо всем покорно, тупо. Эта нравственная и духовная тупость имела одну хорошую сторону — я не боялся смерти и спокойно думал о ней. Больше, чем мысль о смерти, меня занимала мысль об обеде, о холоде, о тяжести работы — словом, мысль о жизни. Да и мысль ли это была? Это было какое-то инстинктивное, примитивное мышление. Как вернуть себя в это состояние и каким языком об этом рассказать? Обогащение языка — это обеднение рассказа в смысле фактичности, правдивости.

Я вынужден писать тем языком, которым я пишу сейчас, и конечно же у него очень мало общего с языком, достаточным для передачи тех примитивных чувств и мыслей, которыми я жил в те годы. Я буду стараться дать последовательность ощущений — и только в этом вижу возможность сохранить правдивость изложения. Все же остальное — мысли, слова, пейзажные описания, выписки из книг, рассуждения, бытовые картинки — не будет правдивым в достаточной степени. Но мне все же хотелось бы, чтобы правда эта была правдой того самого дня, правдой двадцатилетней давности, а не правдой моего сегодняшнего мироощущения.

[Арест]

12 января 1937 года я [был] арестован и поначалу допрашивался каким-то стажером по фамилии не то Романов, не то Лиманов, молодым красношеким стажером, красневшим от каждого своего вопроса, — вазомоторная штука — игра сосудов, вроде как у Гродзенского¹, красневшего до корней волос, а то и до пяток.

— Значит, вы можете написать, что в 29-м году разделяли эти взгляды, а теперь не разделяете?

— Да, так.

— И можете подписать?

— Конечно.

Вазомоторный следователь выходил куда-то, показывал кому-то что-то, а к вечеру меня переводят на Лубянку, 14, в Московскую комендатуру, где я уже бывал восемь лет назад и знал все порядки и перспективы Лубянки, 14, — это «собачник», сборный приемник, оттуда ход или на волю, и так бывало, или на Лубянку, 2, — это значит, что ты государственный преступник, опытный враг высшего ранга, близко стоящий к высшей мере, либо в Бутырскую следственную тюрьму, где ты, признанный врагом народа, подлежишь все-таки изоляции в минусе или плюсе².

Поэтому Бутырки — это жизнь, но не свобода. На волю

¹Гродзенский Яков Давидович — знакомый Шаламова, также репрессированный в 30-е годы, отбывал срок заключения в лагерях Воркуты.

²Декретом СНК от 23 марта 1923 г. судьям предписывалось указывать, подлежит осужденный «более строгой или менее строгой изоляции».

из Бутырок не выходят. И не из-за престижа государства («ГПУ не арестовывает зря»), а просто из-за бюрократического вращения этого смертного колеса, которому не хотят, не умеют, не могут, не имеют права придать другой темп вращения, изменить его ход. Бутырки — государственное колесо.

Следователь Ботвин, который вел мое дело и довел до благополучного конца — не до трибунала, конечно, но трибуналом он мне грозил не однажды, а до самого мелкого шрифта многомиллионной литерки — КРТА. Впрочем, трибунал был в самой букве «Т». В самом слове «трибунал» была эта смертная буква, но вряд ли следователь Ботвин мог определить истинный удельный вес, который занимала в советском алфавите эта тайная темная буква, достойная всяких магических кругов, достойная теургического толкования. Следователь Ботвин был ленивым человеком моих лет и дело мое готовил не спеша. В моем присутствии прерывал допрос и к моему же делу подшивал какие-то бумажки.

Жилишный кризис, недостаток кабинетов для работы обострял все действия ЧК. Ботвин получал кабинет для работы со мной на какой-то определенный срок, а потом его выгоняли оттуда как «последнюю падлу».

— Вылетишь отсюда как последняя падла, если хоть час пробудешь, — услышал я в коридоре голос какой-то высшей персоны.

Ботвин был чином невелик и поэтому, неизбежно циник и лентяй, он экономил время тем, что работал в моем присутствии. Все справки, поступавшие по моему делу, были навалены около его же стола. Ноги наши соприкасались во время допроса, так тесны были тогдашние кабинеты еще вре-

мен Дзержинского. Прочсть [можно] своими глазами любую строку из того, что перед тобой раскладывают не спеша и не желая спешить. Я тогда с удовольствием просмотрел, перечел через стол свое собственное дело 1929 года. Арест, допросы, папку с показаниями свидетелей в начале и конце следствия и, наконец, последний листок в моем тогдашнем деле — отказ расписаться в получении приговора: трех лет лагерей и пяти лет ссылки. [Метка, сделанная] равнодушной рукой дежурного коменданта. А кто был тогда дежурным комендантом по МОКу, по мужскому одиночному корпусу? Комендантом тюрьмы был Адамсон, но дежурил кто? Нет, это было не в МОКе, а в этапном корпусе, где я объявил голодовку. Какая причина? — не желаю сидеть с контрреволюцией, требую отправки к оппозиционерам.

— Вы у нас не как следственный, вы у нас как приговоренный, — равнодушно сказал мне дежурный комендант, — и действительно [показал] выписку-основание, на этой бумажке и была драгоценная метка чьим-то почерком, моя метка: «Расписаться отказался».

Ботвин тоже перечитывал, и даже не спеша перечитывал, дело, перечел и другую грозную метку: «Дело сдать в архив». Эта формула значила вечное хранение.

Я все это и так знал. А Ботвина интересовало что-то другое. Просто его интересовало, как бы половчей оформить это дело, в котором открываются безграничные по тому времени возможности. Ботвин приходил всегда с какого-то доклада, держа в руках целую стопу документов. Наряду с цинизмом и ленью у него обнаружилось и надлежащее служебное рвение, желание не проворонить чего-то, не оступиться

на славном пути. Выжать из техники максимум того, что она может дать.

— Он руки к партии протягивает! — воскликнул Ботвин.

— Кто?

— Вы.

Кто-то из высших ставил на документе точки, тире...

Вдруг он изменил и план и ход допроса. После получения моего старого дела были передопрошены все свидетели по моему делу — уже с замахом не на ссылку, а на трибунал. Свидетелей по делу у меня было очень мало, тот минимум, который сегодня лучше максимума. Все сослуживцы — Гусятинский, Шумский — полностью передопрошены.

Гусятинский приволок массу новых фактов — ездил в Киев, где похвалил Ефимова — директора Киевского индустриального института, а обругал честных ленинцев. Это все ему казалось подозрительным, и он сообщает официально, кто меня в редакцию рекомендовал.

Ничем не изменились показания Шумского — против первого его допроса. Шумский оказался вовсе не трусом.

Наиболее серьезно были изменены показания моей жены, но суть их я знаю лишь в пересказе Ботвина: «Вот и жена на вас показывает, что вы были активным оппозиционером, только скрывались, замаскировались, как же, вот». Но показаний таких не нашлось.

Я угодил под литерку¹.

Через 14 лет, еще до реабилитации, я спросил [жену]:

¹ Шаламов был осужден за «контрреволюционную троцкистскую деятельность» на 5 лет лагерей с использованием на тяжелых физических работах.

— Что тебе [писали] в твоих собственных показаниях? Что ты могла сказать лишнего в таком году, как 37-й год?

— Мои показания вот какие: я, конечно, не могу сказать, чем ты занимался в мое отсутствие, но в моем присутствии ты никакой троцкистской деятельностью не занимался.

— Вот и отлично.

— Будешь раз в месяц встречаться с Пастернаком, сюда будешь приезжать, ну, скажем, раз в неделю.

— Пастернаку, — сказал я, — больше нужен я, чем он мне. Пастернак дал мне что мог в своих ранних стихах, стихах «Сестры моей жизни». У Пастернака тоже нет никакого долга передо мной.

— Дай мне слово, что оставишь Леночку в покое, не будешь разрушать ее идеалы. Она воспитана мною лично, подчеркиваю это слово, в казенных традициях, и никакого другого пути я для нее не хочу. Мое ожидание тебя в течение 14 лет дает мне право на эту просьбу.

— Еще бы — такое обязательство я дам и выполню его. Что еще?

— Но не это главное, самое главное — тебе надо забыть все.

— Что все?

— Ну, вернуться к нормальной жизни.

Дорога в ад

Пароход «Кулу» закончил свой пятый рейс в бухте Нагаево 14 августа 1937 года. «Врагов народа» — целый эшелон москвичей — везли сорок пять суток. Теплая тишина лет-

них ночей, глупая радость тех, кого везли в теплушках по тридцать шесть человек. Обжигая тюремную бледную кожу горячим ветром из всех вагонных шелей, люди были счастливы по-детски. Кончилось следствие. Теперь их положение определилось, теперь они едут на золотую Колыму, в дальние лагеря, где, по слухам, сказочное житье. Два человека в вагоне не улыбались — я (я знал, что такое дальний лагерь) и силезский коммунист, немец Вебер — колымский заключенный, которого привозили для каких-то показаний в Москву. Когда затих очередной взрыв смеха, нервного арестантского смеха, Вебер кивнул мне своей черной бородой и сказал: «Это дети. Они не знают, что их везут на физическое уничтожение».

Помню еще Омск с замечательной баней — военным санпропускником, где мы, вымытые, в мокрой после дезинфекции одежде, пахнушей лизолом, лежали на каком-то дворе и смотрели на теплое осеннее солнце, окруженное маленькими серыми облачками. Листья деревьев были багровыми. К нам подошел старший лейтенант НКВД, жирный, бритый, прицепил большие пальцы своих рук за кожаный ремень, который едва стягивал огромный живот. Это был «представитель» НКВД, сопровождавший эшелон. Жалобы? Нет, мы не жаловались, да не для того, чтобы услышать жалобы, лейтенант подходил к этапу. Морда его, заплывшая жиром, и бледные костлявые фигуры, провалившиеся глаза заключенных запомнились мне хорошо.

— Ну вот вы, например, — толкнул он лакированным сапогом моего соседа, — что делали на воле?

— Я доцент математики в высшем учебном заведении.

— Ну вот, господа доценты, вряд ли придется вам вернуться к вашей профессии. Другим трудом придется заняться, более полезным...

Все молчали. Лейтенант продолжал развивать свою мысль:

— Конечно, я не могу советовать правительству, партии, но если бы меня спросили — что с вами делать, я дал бы совет: надо всех завезти на какой-нибудь северный остров — ну, скажем, остров Врангеля — и оставить там, прекратив сообщение с островом. Вся задача была бы вмиг решена. А вас везут на золото, хотят, чтобы вы поработали в забоях. Поработаете вы, доценты...

— А ты почему здесь? — Лейтенант обратил взор к Володке Иванову, рыжему, покрытому уголовной татуировкой с ног до головы. Сочувствие было явно слышно в голосе старшего лейтенанта.

— Я воспитатель Болшевской колонии. По пятьдесят восьмой. По литературе.

— А-а-а...

И лейтенант проследовал дальше.

Помню трюм парохода, где к нашей компании присоединился некто Хренов — одутловатый, медленный. Вешей Хренов не вез на Колыму. Зато вез томик стихов Маяковского с дарственной надписью автора. И всем желающим находил страницу, и показывал «Рассказ Хренова о Кузнецкстрое», и читал:

Я знаю — город будет.
Я знаю — саду цвезть,
Когда такие люди
В стране советской есть!

Хренов был тяжелейший сердечник. Но на Колыму загоняли и безногих, и семидесятилетних, и больных в последней стадии туберкулеза. «Врагам народа» не было пощады. Тяжелая болезнь спасла Хренова. Он прожил как инвалид до

конца срока, освободился и умер на Колыме уже вольнонаемным — один из немногих «счастливых».

Ибо не знаю, что такое счастье — уцелеть после великих мук или умереть раньше страданий.

Хорошо помню, как кончился пятый рейс «Кулу».

В бухту Нагаево пароход прибыл ночью, и выгрузку отложили до утра. А утром я вышел на палубу, взглянул, и сердце занялось от великой тревоги.

Шел мелкий холодный дождь. На берегу лысые порыжелые сопки, опоясанные темно-серыми тучами. Бараки, огороженные колючей проволокой. Уходящая вдаль и вверх узкая дорога и неисчислимые сопки...

Три дня на пересылке, в брезентовых палатках, мокрые от непрерывного дождя. Работа — прокладка дороги в бухту Веселая. Погрузка на машины, шоссе вертится среди гор, поднимаясь все вверх, с каждым поворотом становится все холоднее, воздух становится все суше, и вот числа двадцатого августа нас привозят и сгружают на прииске «Партизан» Северного горного управления.

Почему же я помню, что рейс парохода «Кулу» в навигацию 1937 года был именно пятый?

А потому, что в течение пятнадцати лет мне приходилось вспоминать это на бесконечных переписях, которые назывались там «генеральными поверками». Потому что при переводе с места на место, с одного лагерного пункта на другой, всякий раз приходилось подвергаться одинаковому опросу.

Заключенного в лагере каждый божий день заставляют ответить на несколько вопросов.

Фамилия?

Имя, отчество?

Статья?

Срок?

Когда прибыл на Колыму?

Каким пароходом?

Каким рейсом?

Последние три вопроса задаются на поверках. А первые — каждый день по нескольку раз.

Человек не любит вспоминать плохое. Вспоминается чаще хорошее. Это — один из мудрых законов жизни, элемент приспособления, что ли, сглаживания острых углов. «Если бы каждого встречали по заслугам — кто бы избавился от пощечины». Эти слова Гамлета — не шутка, не острова. Если бы человек не был в силах забывать — кто бы мог жить. Искусство жить — это искусство забывать.

Вот почему никакая дружба не заводится в очень тяжелых условиях. И очень тяжелые условия вспоминать никто не хочет. Дружба заводится в положениях «средней тяжести», когда мяса на костях человека еще достаточно. А последнее мясо кормит только два чувства: злобу или равнодушие.

Все, о чем я буду рассказывать, неизбежно будет сглажено, смягчено.

Время только искажает истинные масштабы события.

В Москве уже убивали: Тухачевского, Якира, Шмидта. Ежов выступал уже на сессии ЦИКа с угрожающим докладом о том, что в трудовых лагерях «ослабла дисциплина», в газетных статьях всё чаще попадались фразы о «физическом уничтожении врага», «о необходимости ликвидации троцкистов», а золотой прииск, куда мы приехали, еще жил прежней «счастливой» жизнью.

Прибывшим было выдано новое зимнее обмундирование. В сапожной мастерской стояла бочка рыбьего жира, откуда и черпали смазку. Прибывшим дали трехдневный отдых, знакомили с «производством» — забой, лопата, кайло, откаточный трап и тачка.

«Машина ОСО —
Две ручки, одно колесо».

Медпункт пустовал. Новички даже не интересовались сим учреждением.

Работа — открытый разрез, взрывы, ручная откатка в бункер, откуда увозят конные грабарки на бутару — промышленный прибор.

Тяжелая работа, зато можно заработать много — до десяти тысяч рублей в летний, сезонный месяц. Зимой поменьше. В большие холода — свыше 50° — не работают. Летом работают десять часов с пересменкой раз в десять дней. Отдых «копится» и «выдается» авансом — 1 мая и «под расчет» — 7 ноября. В декабре работают шесть, в январе четыре, в феврале шесть, в марте семь, в апреле — восемь, в мае и все лето — десять [часов].

— Будете хорошо работать, сможете посылать домой, — говорили новичкам «смотрители» во время экскурсии.

Пайков было три вида — стахановский, ударный и производственный. На стахановский давали кило хлеба, хороший приварок. При выполнении 110% нормы давался ударный паек, за 100% и ниже — производственный — восемьсот граммов хлеба, меньшее количество блюд.

Медицинский осмотр разделил всех на четыре категории.

Четвертая — здоровые.

Третья — не вполне здоровые, но те, которые могут работать на любой физической работе.

Вторая — лфт¹.

Первая — инвалиды.

Заключенный, имеющий вторую группу, имел право на скидку в 30%. Поэтому появились «стахановцы болезни», которые работали на подсобных работах и получали скидку при определении пайка.

Самой невыгодной была третья группа — обычно группа людей интеллигентного труда.

Таковы были берзинские порядки, которые еще существовали, когда наш этап прибыл на «Партизан»².

Уже в Москве судьба Берзина была решена. Уже готовились и размножались приказы о новом вине, вливавшемся в старые мехи.

Уже готовилась инструкция, чем заменить старые мехи.

Все это везли на Колыму фельдъегеря вслед за нами.

Дисциплина была такая, что волос у заключенного не упадет, если не прикажет Москва. Москва все знает и решает судьбу каждого из миллионов заключенных.

Решение в центре принято и идет «по инстанции» вниз, на периферию.

Что здесь действует — цепная реакция или закон трения? Ни то, ни другое. Все боятся, все выполняют приказы сверху. Все стараются их исполнить. И об исполнении донести.

Конечно, жизнь и смерть тут более реальные. Щупленький журналист пишет в Москве громовую статью о ликвида-

¹ ЛФТ — легкий физический труд.

² С августа 1937 г. по декабрь 1938 г. Шаламов работал в забоях золотого прииска «Партизан».

ции врагов, а на Колыме блатарь берет лом и убивает старика-«троцкиста». И считается «другом народа».

Посреди прииска стояла палатка, которую всякому новичку показывали с особенным уважением. Здесь жили 75 заключенных «троцкистов», отказавшихся от работы. В августе они получали производственный паек. В ноябре они были расстреляны.

Тридцать восьмой

Я могу вспомнить лицо каждого человека, которого я видел за прошедший день, много раз пытался проверить, до каких же глубин натягивается в мозгу эта лента, и прекращал усилия, боясь успеха. Успех — бесплоден. Но можно припомнить, вытащить не всю мою жизнь, а, скажем, 38-й год на Колыме.

Где он лежит, в каком углу, что из него забыто, что осталось? Сразу скажу, что осталось не главное, осталось не самое яркое, не самое большое, а как бы ненужное тогдашней жизни. В 38-м году не было внезапного погружения в нишету, в ад, я уходил, увязал туда каждодневно и повседневно, ежедневно и еженощно.

Самым, пожалуй, страшным, беспощадным был холод. Ведь активировали только в мороз свыше 55 градусов. Ловили вот этот 56-й градус Цельсия, который определяли по плевку, стынушему на лету, по шуму мороза, ибо мороз имеет язык, который называется по-якутски «шепот звезд». Этот шепот звезд нами был усвоен быстро и жестоко. Первое же отморожение: пальцы, руки, нос, уши, лицо, все, что прихва-

тит малейшим движением воздуха. В горах Колымы нет места, где не дули бы ветры. Пожалуй, холод — это самое страшное. Я как-то отморозил живот — ветром распахнуло бушлат, пока я бежал в столовую. Но я и не бежал, на Колыме никто не бежит — все лишь передвигаются. Я забыл об этом, когда у меня в столовой вырвали кисет с махоркой. Наивный человек, я держал кисет в руках. Мальчик-блатарь вырвал у меня из рук и побежал. Мальчик вскочил в барак, я за ним и тут же был оглушен ударом полена по голове — и выброшен на улицу из барака. Вот этот удар вспомнился потому, что во мне были еще какие-то человеческие чувства — месть, ярость. Потом все это было выбито, утрачено.

Помню я также, как ползу за грузовиком, цистерной, в которой подсолнечное масло, и не могу пробить ломом цистерну — сил не хватает, и я бросаю лом. Но опытная рука блатаря подхватывает лом, бьет цистерну, и на снег течет масло, которое мы ловим на снегу, глотая прямо со снегом. Конечно, главное разбирают блатари в котелки, в банки, пока грузовик не уехал. Я с каким-то товарищем ползу по этим масляным следам, собираю чужую добычу. Я чувствую, что я хую, хую, прямо сохну день ото дня — пиши не хватает, все время хочется есть.

Голод — вторая сила, разрушающая меня в короткий срок, вроде двух недель, не больше.

Третья сила — отсутствие силы. Нам не дают спать, рабочий день 14 часов в 1938 году по приказу. Я ползаю вокруг забоя, забиваю какие-то кольца, кайлю отмороженными руками без всякой надежды что-нибудь сделать. 14 часов плюс два часа на завтрак, два часа на обед и два часа на ужин.

Сколько же осталось для сна — четыре часа? Я сплю, притыкаюсь где придется, где остановлюсь, тут и засыпаю.

Побои — четвертая сила. Доходягу бьют все: конвой, рядчик, бригадир, блатарь, командир роты, и даже парикмахер считает должным отвесить плюху доходяге. Доходягой ты становишься тогда, когда ты ослабел из-за непосильного труда, без сна, на тяжелой работе, на пятидесятиградусном морозе.

Что тут выбросит память?

То, что я не могу быстро двигаться, что каждая горка, неровность кажутся непреодолимыми. Порога нет сил перешагнуть. И это не притворство, а естественное состояние доходяги.

Более помню другое — не светлые, озаренные светом поступки, горе или нужду, а какие-то вовсе обыкновенные состояния, в которых я живу в полусне. Рост много мне мешал. Паек ведь не выдают по росту.

Но и это все — тоже общее, понятное уже после, во время перерывов¹, а то и тогда, когда я уехал с Колымы. Там я ни о чем таком не думал, и память моя должна [была] быть памятью мускулов, как ловчее упасть после неизбежного удара. Не помню я никаких своих желаний тогдашних, кроме есть, спать, отдохнуть. Бурю какую-то помню, мглу, гудит сирена, чтобы указать путь во мгле, метель собирается мгновенно, и помню, я ползу по какой-то ледяной ложбине, давно уже сбился с дороги, но не выпускаю из рук пропуска в барак — «палку» дров. Падаю, ползу и вдруг натыкаюсь на какое-то здание, землянку на краю нашего поселка. И — вхожу в

¹ То есть во время лежания в больнице.

чужой барак, меня, конечно, не пускают, но я уже ориентируюсь, я иду домой под свист метели. Барак этот тот самый, где сидели 75 отказчиков-троцкистов, которые ко времени метели были уже увезены и расстреляны.

Каждый день нас выводят на развод, читают при свете факелов списки расстрелянных. Списки длинные. Читают каждый день. Многие мои товарищи по бараку попали в эти смертельные рукопожатия полковника Гаранина.

И Гаранина я помню. Много раз видел его на «Партизане».

Но не о том, что я его видел, хочу рассказать, а о мускульной боли, о нытье отмороженных ног, о ранах, которые не хотят заживать, о вшах, которые тут как тут и бросаются кусать доходягу. Шарф, полный вшами, качается в свете лампы. Но это было уже гораздо позже, в 1938 году вшей тоже было много, но не так, как в спецзоне во время войны.

Выстрелы, конные сани, которые мы возим вместо лошадей, впрягаясь по шесть человек в упряжку. Отказ от работы — стрельба поверх голов и команда: «Ложись! Встань!» И травля собакой, оборвавшей мне весь бушлат и брюки в клочья. Но работать и собакой меня не заставили. Не потому, что я герой, а потому, что хватило сил на упрямство, на борьбу за справедливость. Это было в 1938 году весной. Всю бригаду нашу заставили в сотый раз ехать за дровами — два часа лишних. Обещано было, что отпустят, а теперь обманули, посылают еще раз. Саней было шестеро. Отказался только я и блатной Ушаков. Так и не пошли, увели нас в барак, тем дело и кончилось.

Но и это — не то, что я ишу в своей памяти, я ишу объ-

яснения, как я стал доходягой. Чего я боялся? Какие пределы ставил себе?

Надежд, во всяком случае, у меня не было никаких, я не строил планов далее сегодняшнего дня.

Что еще? Одиночество — понятно, что ты прокаженный, ошушаешь, что все тебя боятся, так как каждый чувствует — из КРТА, из литерников. Мы не распоряжаемся своей судьбой, но каждый день меня куда-то выкликают на работу, и я иду. На работе чувствую — захвачу ручку кайла, по ней согнуты мои пальцы, и я их разгибаю только в бане, а то и в бане не разгибаю — вот это ошушение помню. Как машу кайлом, машу лопатой без конца, и это мне только кажется, что я хорошо работаю. Я давно уже превратился в доходягу, на которого нечего рассчитывать. У меня есть ухватка и терпение. Нет только самого главного, самого ценного в колымских «кадрах» — физической силы. Это я обнаруживаю не сразу, но навсегда, на всю свою колымскую 17-летнюю жизнь. Сила моя пропала и никогда не вернулась. Осталось умение. Наросла новая кожа, только силы не стало.

Я хотел бы заметить час и день, когда сила пошла на убыль. Подготовка началась с этапа, с бутырского этапа. Мы выехали без денег, на одном пайке. Ехали сорок пять суток, да пять суток морем, да двое суток машиной после трехсуточного отдыха на транзитке в Магадане, трех суток непрерывного труда под дождем — рытье канав по дороге в бухту Веселая. Что я думал, что я ждал в 1938 году? Смерти. Думал, обессилею, упаду и умру. И все же ползал, ходил, работал, махал бессильным кайлом, шуршал почти пустой лопатой, катил тачку на бесконечном конвейере золотого забоя. Тачке я обучен до смерти. Мне как-то тачка давалась легче, чем кайло или лопата. Тачка, если ее умело возить, большое

искусство — все мускулы твои должны участвовать в работе тачечника. Вот тачку я помню, [нрзб] с широким колесом или узким большого диаметра. Шуршание этих тачек на центральном трапе, с ручной откаткой за двести метров. И я примерял какие-то тачки, с кем-то спорил, у кого-то вырывал из рук инструмент.

Баня как наказание, ибо ведь баня выкрадена из тех же четырех часов официального ежесуточного отдыха. Такая баня — не шутка.

[Помню] ту безграничность унижений, всякий раз оказывается, что можно оскорбить еще глубже, ударить еще сильнее.

Родственники твердили — намеренно не отяжелить их судьбы. Но как это сделать? Покончить с собой — бесполезно. Родственников это не спасет от кары. Попросить не слать посылок и держаться своим счастьем, своей удачей до конца? Так и было.

А где была палатка, новый барак, где я просил моего напарника Гусева перебить мне руку ломом, и, когда тот отказался, я бил ломом многократно, набил шишку и все. Все умирают, а я все хожу и хожу.

Арест в декабре 1938 года резко изменил мое положение, я попал в тюрьму на следствие, был выпущен из тюрьмы после ареста начальника СПО¹ капитана Стеблова и вышел на транзитку² и новым глазом посмотрел на лагерный мир.

¹ СПО — секретно-политический отдел.

² В декабре 1938 г. Шаламов был арестован по «делу юристов». Сидел в магаданской тюрьме. Дело сфальсифицировать не удалось. Был выпущен из тюрьмы и отправлен в магаданский пересыльный лагерь, в тифозный карантин, где находился до апреля 1939 г. Это описано им в рассказах «Дело юристов» и «Тифозный карантин».

Что помнит тело?

Ноги слабеют, на верхние нары, где потеплее, влезть уже не можешь, и у тебя не хватает силы или хватает ума не ссориться с блатарями, которые занимают теплые места. Мозг слабеет. Мир Большой земли становится таким далеким, таким ненужным со всеми его проблемами. Шатаются зубы, опухают десны, и цинга надолго поселяется в твоём теле. Следы пиодермии и цинги до сих пор целы на моих голених, бедрах. В Магадане в 1939 году от меня шарахались в сторону в бане — кровь и гной текли из моих незаживающих ран. Расчёсы на животе, на груди, расчёсы от вшей.

Клочок газеты, подхваченный в парикмахерской вольной, не вызывает никаких эмоций, кроме оценки — сколько сигарок махорочных выйdet из этого газетного клочка. Никакого желания знать о Большой земле, хотя мы с самой Москвы, уже около года, не читали газет. Много и еще пройдет лет, пока ты с испугом, с опаской попробуешь прочесть что-то газетное. И опять не поймешь. И газета покажется тебе ненужной, как и в 38-м году. Ногти я обкусывал всегда, обламывал, отщеплял — ножниц не было у нас много лет. Цинготные раны, язвы пиодермии появились как-то сразу на теле. Мы избегали врачей, фельдшер Легкодух — завамбулаторией «Партизана» — славился ненавистью к троцкистам. Вскоре Легкодух был арестован и погиб на Серпантинке. Но и к другим я не ходил. Не то что я не был болен, товарищи мои ходили, получали вызовы на какие-то комиссии. Толк был один и тот же — смерть. А я лежал в бараке, стараясь двигаться поменьше, или уже был не в силах двигаться, спал или лежал, стараясь вылежать эти четыре часа отдыха.

Я был плохим работягой и поэтому везде на Колыме работал в ночной смене. Хуже забойного лета была зима. Мороз. Работа хоть и десять часов — надо катать короба с грунтом, снимать торфа с золотого слоя — работа легче летней, но бурение, взрыв и погрузка лопатой в короб и отвозка на террикон ручная, по четыре человека на короб. Очень мучит мороз. Язвы все ноют. В хорошие бригады меня не берут.

Все бригады за золотой сезон, за четыре месяца, дважды и трижды сменили свой состав. Жив только бригадир и его помощник, дневальный — остальные члены бригады в могиле, или в больнице, или в этапе. Каждый бригадир — это убийца, тот самый убийца, который лично, своими руками отправляет на тот свет работяг. Даже бригадир 58-й, прокурор Челябинской области Парфентьев, увидев, как я в его присутствии просто шагаю вдоль забоя, стремясь согреться, сострил, что Шаламов на бульваре себя чувствует.

— Нет, — ответил я, — на галерах.

Все это, разумеется, где-то фиксировалось, куда-то носилось, чтобы внезапно вспыхнуть «заговором юристов». И это относится к 38-му году, к самому декабрю.

Льет дождь. Все бригады сняты с работы из-за дождя, все, кроме нашей. Я бросаю работу, бросаю кайло, то же делает мой напарник. Не помню его фамилии. Нас ведут через лагерь к дежурному коменданту. Это только воспоминания — вроде весна 38-го года... Весна на Колыме не отличается от осени. Что-нибудь в мае 38-го не было еще и изолятора зоны, был только дежурный комендант. Нас ввели в барак и поставили около стенки:

— Не хотят.

Я объяснил, что все бригады сняты из-за дождя и только...
— Замолчи, сволочь...

Комендант подошел ко мне поближе и протянул... Он не ударил, не выстрелил, только ткнул — и через промокший бушлат, гимнастерку, белье надломил мне ребро.

— Вон отсюда.

Я шел, хромая, пополз в направлении барака. Я с самого начала понимал, что законы — это сказки, и берегся как мог, но ничего не мог сохранить. Еще я ходил все это лето каждый день пилить дрова, или в пекарню, или куда-нибудь в барак бытовиков. Дело в том, что в лагере каждый слуга хочет иметь другого слугу. Вот эти пайки, баланды сверх пайка, хоть у нас сил не было, имели значение для поддержания жизни. В забое я работал плохо и никого работать хорошо не звал, ни одному человеку на Колыме я не сказал: давай, давай.

...Именно здесь, в провалах памяти, и теряется человек. Человек теряется не сразу. Человек теряет силу, вместе с нею и мораль. Ибо лагерь — это торжество физической силы как моральной категории. Здесь интеллигент окружен двойной, тройной, четверной опасностью. Иван Иванович¹ никогда не поддержит товарища, товарищ становится блатным, врагом, спасая свою судьбу. Это — крестьянин, конечно. Крестьянин умрет, умрет тоже, но позже интеллигента. Умри ты сегодня, а я завтра. Блатари — вне закона морали. Их сила — растление, но и до них доберутся, и до них доберется Гаранин. Блатной — берзинский любимчик — отказчик для Гаранина. Но дело не в этом, надо поймать какой-то шаг,

¹ В лагерях Иванами Ивановичами называли интеллигентов.

лично свой шаг, когда сделана уступка какая-то важная: перебирая в памяти, этих кинолентах мозга, видишь, что и уступки-то нет. Процесс этот очень короткий по времени — ты не успел даже стать стукачом, тебя даже об этом не просят, а просто выгоняют на работу в холод и на бесконечный рабочий день, колымский мороз, не знающий пощады.

Чьи-то глаза проходят по тебе, отбирая, оценивая, определяя твою пригодность скотины, короток или длинен последний твой шаг в рай. Ты не думаешь о рае, не думаешь об аде — ты просто ежедневно чувствуешь голод, сосуший голод. А тот твой товариш, кто посильнее тебя, тот бьет, толкает тебя, отказывается с тобой работать. Я тогда и не соображал, что крестьянин, жалуясь на Ивана Ивановича бригадиру, начальству, просто спасал свою шкуру. Все это мне было глубоко безразлично, все эти хлопоты над моей судьбой еще живого человека.

Я припоминаю, стараюсь припомнить все, что случилось в первую зиму, — значит, с ноября 1937 года по май 1938 года. Ибо остальные зимы, их было много, как-то встречались одинаково — с равнодушием, злобой, с ограничением запаса средств спасения: при ударе — падать, при пинке — сжиматься в комок, беречь живот больше лица.

Доносят все, доносят друг на друга с самых первых дней. Крестьянин же стучал на всех тех, кто стоял с ним рядом в забоях и на несколько дней раньше него самого умирал.

— Это вы, Иван Ивановичи, нас загубили, это вы — причина всех наших арестов.

Все — чтобы толкнуть в могилу соседа — словом, палкой, плечом, доносом.

В этой борьбе интеллигенты умирали молча, да и кто бы

слушал их крики среди злобных осатаневших лиц — не морд, конечно, а таких же доходяг. Но если у крестьянина-доходяги удержался хоть кусочек мяса, обрывок нерва — он тратил его на то, чтоб донести или чтоб оскорбить соседа Ивана Ивановича, толкнуть, ударить, сорвать злость. Он сам умрет, но, пока еще не умер, — пусть интеллигент идет раньше в могилу.

Один из самых первых удержался в [памяти] Дерфель — французский коммунист, кайеннец, бывший работник ТАСС, шустрый, маленький, что было очень выгодно, — на Колыме выгодно быть маленьким. Дерфель кайлил, а я насыпал в тачку.

Дерфель:

— В Кайенне, где я был до Колымы, тоже каменоломни такие, тоже кайлил, кайло и тачка, только там не так холодно.

А была еще осень золотая, поэтому я и запомнил день, серый камень, маленькую фигурку Дерфеля, который вдруг взмахнул кайлом и упал — и умер.

В это время всех согнали в один барак, в палатку брезентовую, где держали нас стоя, человек четыреста. Проверяли что-то — стреляли в воздух. И я увидел, что мой сосед, голландский коминтерновец в вельветовой жилетке, спит на моем плече, теряет сознание от слабости. Я его толкнул, но Фриц не очнулся, а медленно ослабел, сполз на пол. Но тут стали выводить, выталкивать из палатки, и он очнулся и вышел рядом со мной, и, выходя уже, упал у барака, и больше его я никогда не видел.

Все это — Дерфель, голландец Фриц, — все это поймала моя память, а то безымянное, что умирало, било, толкало,

заполнило большую часть моего существа, те дни и месяцы, — я просто не припомню.

Что же там было?

Никакой «вины» перед народом я не чувствовал. [Нрзб]. Но зато карьеристов, дельцов чувствую всей силой чутья — и не ошибусь.

Все это — и Дерфель, и задержка на работе бригады Клюева в декабре 1937 года, — все это как бы верхние этажи моего тела. Трудно восстановить то, что не запомнилось, — боль тела, и только тела.

У нас не было газет, а переписки я был лишен еще по московской бумажке. Не было желания что-либо знать о событиях вне нашего барака. Все это было так бесконечно неважно, вытеснено надолго — на десяток, а то и более лет за круг моих интересов.

Как же это случилось на моем личном примере, примере моего тела?

Уже двухмесячный этап на голодном пайке был подготовкой к более серьезным вешам — побоям, холоду, бесконечной работе, которую я встретил на «Партизане» в декабре 1937 года.

Ноги отяжелели, кожа гноилась, завелись вши, обморозились руки в пузыри. Но все это было не главное. Главным был голод постоянный. Я быстро научился есть хлеб отдельно от супа, потом кипятить, вздуть его в какой-то банке консервной и из этой банки высасывать. Никакого интереса к любым разговорам в бараке. Белье я хотел свое поменять на хлеб, но опоздал — был обыск, и все лишнее поступило в доход государству. Но и это мне было все равно. Обрывками мозга я ошущал, пожалуй, две вещи. Полную бессмыслен-

ность человеческой жизни. Что смерть была бы счастьем. Но на смерть нельзя было решиться по каким-то странным причинам — боль в пальцах после отморожения, в амбулаторию я не ходил, больничный фельдшер Легкодух, как все фельдшера того времени, прямо сдаст тебя в «солдаты» как интеллигента и троцкиста. Так делали все фельдшера и врачи на приисках, так делал и Лунин и Мохнач. Через восемь лет после 37-го года так делал и Винокуров, и доктор Доктор, и Ямпольский — с больницей было опасно связываться. Но не логикой, а инстинктом животного я понимал, что мне не следует ходить туда, где толпятся «стахановцы болезни». И действительно, их всех расстреляли в гаранинские дни как балласт. А кто давал списки расстрельные? По «Партизану» это работяга Рябов, Анисимов — начальник прииска, Коваленко — начальник ОЛПа¹, Романов — уполномоченный.

Койки рядом со мной пустели. Нашу бригаду то переводили в другой барак, сливали с другой, то расформировывали, и я переходил из барака в барак. Работяга я был неважный, приходу моему в барак бригадир не радовался. Но мне, а может быть, и им было все равно. У меня не удержалось даже в памяти, когда меня стали бить, когда я стал доходягой, которого каждый стремится ткнуть, ударить: крестьянин — чтобы обратить внимание начальства на свою политическую преданность советской власти, блатарь...

Тут возникает такое состояние, когда ты сам слабеешь, сдачи дать не в состоянии. И тут-то тебя и начинают толкать и бить. Я прошел эту дорогу к 1938 году. Но и в декабре 1937 года меня уже толкали и били...

¹ ОЛП — отдельный лагерный пункт.

Полз по какой-то дороге снежной, собирая обломки капустных листьев, чтобы вскипятить их в банке, сварить. Полз целую вечность, но ничего не собрал — кто-то уже прополз раньше меня, а из того, что я собрал, нельзя было сварить никакого супа. Я проглотил эти куски мерзлыми.

В это время нашу бригаду, работавшую на втором участке, перевели на первый и на этом первом участке — в бригаду Зуева. Здесь Зуев — крестьянский паренек лет 30 — интересовался грамотными людьми, которые могут ему написать жалобу, да так, что все прокурорские сердца размякнут. Зуев искал такого автора в бригаде. Зуеву дали только что срок за взятки, но он уверял, что невиновен. Важно было жалобу составить хорошо. Видя, что работяга я новый, Зуев отвел меня в сторонку и сказал:

— Вот будешь сидеть в тепле и жалобу мне писать.

— Хорошо, — сказал я. — Давай бумагу, завтра начнем.

Даже хлеба куска этот Зуев мне не дал за жалобу, но, как ни трудно было ворочаться мозгу, я сочинил эту жалобу.

На следующий день Зуев прочел ее десятникам, те нашли, что жалоба написана плохо, прокурорские сердца не пронзит. Зуеву стало жалко своей пайки, да к тому же кто-то сказал, что он обратился за литературной помощью к врагу народа, к троцкисту.

На следующий день вместо продолжения работы над жалобой было избиение адвоката. Зуев сшиб меня с ног одним ударом и топтал, топтал на снегу. Вот эту плюху я помню хорошо. Уж слишком легко я упал — все, что я подумал. И хоть в кровь были разбиты зубы, мне почему-то не было больно.

Кампания физического истребления врагов народа нача-

лась на Колыме, и Зуев поспешно известил уполномоченного, что он, десятник, сделал такое страшное преступление перед государством, попросил троцкиста написать ему жалобу. Именно об этом шла речь в декабре 1936 года, когда меня арестовали на прииске и привезли в Ягодное к начальнику местного НКВД товарищу Смертину.

— Юрист?

— Юрист, гражданин начальник.

— Писал жалобы?

— Писал.

— За хлеб?

— И за хлеб и так.

— В тюрьму его.

Но все это было через год, и только сейчас я думаю, что Зуев поспешил признать свою ошибку, написав на меня донос, признание в декабре 1938 года.

Помню, все это время я стремился где-нибудь поработать еще: уборка, пилка дров за юшку или корку хлеба. На такую работу после 14 часов забоя было нацелено все мое тело, вся моя личность, в мобилизации всех физических и духовных сил. Иногда это удавалось — то на пекарне, то на уборке, хотя было безмерно тяжело. И после этого, добираясь до койки, я падал в мертвый сон на один-два часа до нового рабочего дня. Но и Зуев — это все уже на «верхних» этажах человеческой воли.

Работал я плохо с самого первого дня. И тогда и сейчас считаю физическую работу проклятием человека, а принудительный физический труд и высшим оскорблением человека.

Конечно, для троцкиста были отменены всякие зачеты рабочих дней и прочие лагерные премии.

Сражение вчистую — кто устоит на ногах, кто умрет — знать каждому было дано, именно дано.

Насилие над чужой волей считал и сейчас считаю тягчайшим людским преступлением. Поэтому и не был я никогда бригадиром, ибо лагерный бригадир — это убийца, тот человек, та физическая личность, с помощью которой государство убивает своих врагов.

Вот этот скопленный за 38-й год опыт был опытом органическим, вроде безусловного рефлекса. Арестант на предложение «давай» отвечает всеми мускулами — нет. Это есть и физическое и духовное сопротивление. Государство и человек встречаются лицом к лицу на дорожке золотого забоя в наиболее яркой, открытой форме, без художников, литераторов, философов и экономистов, без историков,

Иногда всколыхнется какое-то чувство: как быстро я ослабел. Но ведь так же ослабели и мои товарищи вокруг, у меня не было с кем сравнивать. Я помню, что меня куда-то ведут, выводят, толкают, бьют прикладом, сапогом, я ползу куда-то, бреду, толкаясь в такой же толпе обмороженных, голодных оборванцев. Это зима и весна 1938 года. С весны 1938 года по всей Колыме, особенно на севере, в «Партизане», шли расстрелы.

Какая-то паническая боязнь оказать нам какую-то помощь, бросить корку хлеба.

Даже и сейчас пишут тома воспоминаний — я расстреливал и уничтожал тех, кто соприкасался с дыханием смертного ветра, уничтожавшего по приказу Сталина троцкистов, которые не были троцкистами, а были только антисталинис-

тами, да и антисталинистами не были — Тухачевский, Крыленко. У самих-то троцкистов ведь не было никакой вины.

Если бы я был троцкистом, я был бы давно расстрелян, уничтожен, но и временное прикосновение дало мне вечное клеймо. Вот до какой степени Сталин боялся. Чего он боялся? Утраты власти — только.

[Черное озеро]

Каждый дневальный имеет своих работяг, которые все делают за супчик, за кусок хлеба, — так и на прииске.

Я думаю, вольнонаемный начальник моего дневального, узнав, что тот моет крошечный кабинетик сам, вышиб бы его на общие работы за то, что тот не может пользоваться положенной властью, пятнает позором его, начальника. По всему Магадану хохотали бы: это тот начальник, у которого дневальный сам полы моет. Получал я за эту работу хлеб, [дневальный] насыпал закрутку махорки, [давал] талон в столовую, [я] либо съедал, либо отдавал своим соседям. Транзитка мне стала нравиться даже. Но начальство не было так просто. Огромный пагдауз с четырехэтажными нарами на транзитке пустел. На одной из переключек нас оставалось человек сто, а то и меньше. После очередного выкликания нарячник не отпустил нас в барак. А куда?

— Пойдем в УРЧ¹ печатать пальцы.

Пришли в УРЧ.

— Как твоя фамилия?

¹ УРЧ — учетно-распределительная часть.

— Шаламов.

— Что же ты не откликаешься два месяца?

— Никогда не слышал, каждый день выхожу на поверку, не вызывали.

— Ну, иди отсюда, сука.

Нужно было собираться в этап, и нас отправили, но не в сельхоз или рыбалку, а в угольную разведку на Черное озеро¹. К счастью, в качестве инвалидов для обслуживания вольнонаемных, вольняшек — только что освободившихся зэка — тоже с пересылки, только вольнонаемных, подписавших договоры на год с Дальстроем, чтобы подработать. Начальник нового угольного района Парамонов, которому людей не дали из заключенных — тех гнали на золото, — выпросил хоть шесть человек для obsługi своих вольных работяг. Я должен был поехать кипятильщиком, Гордеев — сторожем, Филипповский — баншиком, Нагибин — печником, Фризоргер — столяром.

У вольняшек не было ни копейки, все, до белья, было продано или проиграно на вольной транзитке, на карпункте, как он называется, карантинном пункте, таком же, как транзитка для зэка, только поменьше — та же зона, те же бараки. Карпункт был размещен вплотную к транзитке. Такие же нары пустые. Карпункт опустел тоже. Пароходы ушли.

Вот этих-то голодранцев и нанял Парамонов на Черное озеро в угольную разведку, где искал уголь. Уголь, а не золото. Когда мы ночевали впервые на Атке, в клубе дорожников, на нары расстелили палатку, которой мы закрывались в

¹ На Черном озере Шаламов работал с апреля 1939 г. по август 1940 г., был кипятильщиком, помощником топографа.

дороге на машине, и спали, спали. У вольняшек не было денег ни копейки. Надо было купить табуку. И махорка в вольном лагере была, и они имели право ее купить, они уже были не зэка. Но денег не было ни у кого. Старик Нагибин дал им рубль, и на этот рубль была куплена махорка, поделенная на всех поровну — и зэка и вольняшкам, — и выкурена. На следующий день приехал начальник и выдал какие-то деньги.

Начальник района Парамонов был старым колымчанином. Лагерный район НКВД он открывал не первый. Так, именно Парамонов открывал Мальдяк, знаменитый колымский прииск-гигант — там было до двадцати тысяч человек списочного состава. И смертность в 1938 году была выше даже обычной колымской смертности. Генерал Горбатов, поступив на Мальдяк, превратился там в инвалида в две недели. Это видно из подсчетов времени: прибыл—убыл. Прибыл работягой, убыл инвалидом. Столь кратковременное пребывание на Мальдяке не дало возможности генералу Горбатову разобраться в нем — он пишет: в Мальдяке было человек 800, и спас его фельдшер, отправил его в Магадан как инвалида. Никакой лагерный фельдшер таким правом и возможностью не обладал. Горбатов «доплыл» на одном из участков прииска-гиганта. На Штурмовом в это время было четырнадцать тысяч человек, на Верхнем Ат-Уряхе — двенадцать тысяч. Доплыть за три недели — это нормальный срок для всякого человека — при побоях, голоде, холоде и четырнадцатичасовом рабочем дне. Именно три недели — тот срок, который делает инвалида из силача.

У Парамонова в разговоре с вольняшками была постоянная присказка: «в цилиндрах домой поедете»...

Аркагала

Начали играть в чехарду, чтобы размяться, заводилой был [Корнеев], знакомый мой сибиряк из тех, что идут первыми в работе. На Аркагале он еще держался, но потом был переведен куда-то на прииск и умер. Но все это было потом, а пока Корнеев играл в чехарду. Я не играл, мне не хотелось уезжать из мест, где хорошо жилось. Везли нас на Аркагалу, на уголь, стало быть. Уголь — это не камень в золотом забое, это гораздо легче. Провожали нашу машину и увезли на Аркагалу, но на Аркагалу, на уголь, мы не попали. Этап был «повышенной упитанности», как пишут в лагерных актах приема людей, и нас выпросил у Аркагалы начальник, инженер Киселев на свой участок Кадыкчан, где шли работы по зарезке шахт¹. Кровавые мозоли, голод и побои. Вот чем встретил нас Кадыкчан. Худшие времена 38-го года, приисковые времена. О Киселеве я написал очерк «Киселев», стопроцентной документальности. До сих пор не понимаю, как из беспартийного инженера он мог превратиться в палача, истязателя. Киселев бил ногами заключенных, вышибал им зубы сапогами. Заключенного Зельфугарова он на моих глазах повалил в снег и топтал, пока не вышиб половину челюсти. Причина? Слишком много говорил. И работа-то еще не начиналась в этот день.

Барак был палаткой, знакомой армейской палаткой, где политические дрожали у печек, которые здесь, в отличие от прииска, топили углем и — без ограничений. Правда, огра-

¹ С августа 1940 г. по декабрь 1942 г. Шаламов работал в угольных забоях на Кадыкчане и Аркагале.

ничения были вскоре Киселевым введены — у шахтеров, идущих с работы, конвой стал отбирать уголь, но справиться с таким крайне непросто.

Все черноозерцы потрясены, угнетены знакомством с новым начальником, который поставил проблему слишком серьезную, требующую быстрого решения. В 38-м году всех постреляли, поубивали бы прямо в забое. Но здесь вроде не слышно было о массовых расстрелах, расстрельных приговорах.

— Выход один, — сказал я в бараке вечером, — в присутствии высокого начальства дать Киселеву по морде простой рукой. Дадут срок, но за беспартийную суку больше года не дадут. А что такое год-два в нашем положении? Зато пощечина прогремит по всей Колыме, и Киселева уберут, переведут от нас.

Разговор этот был поздно ночью. На следующий день после развода меня вызвал Киселев.

— Слушаюсь, гражданин начальник.

— Так ты говоришь, прогремит на всю Колыму?

— Гражданин начальник, вам уже доложили?

— Мне все докладывают. Иди и помни, теперь я с тебя глаз не спущу, но пеняй на себя.

Доложил ему это все горный инженер Вронский, с которым у меня случались ссоры, Вронский был в нашем аркагалинском этапе.

Киселев был не трус, надо было выбираться из Кадыкчана.

Выбраться мне помог доктор Лунин, Сергей Михайлович Лунин, о котором я рассказал уже в очерке «Потомок декаб-

риста», да и в других очерках встречалась эта фамилия. Сергей Михайлович Лунин был неплохой малый, несчастье его было в том, что он совершенно умирал от преклонения перед всяким большим и малым начальником лагерным, медицинским, горным.

Я ходил не в шахту — на «поверхность». В шахту меня не допустили бы без техминимума. Шахта была газовая — надо было уметь замерить газ лампочкой Вольфа, научиться не бояться работать в лаве после осыпания, привыкнуть к темноте, смириться с тем, что в легкие твои набирается угольная пыль и песок, понимать, что при опасности, когда рухнет кровля, надо бежать не из забоя, а в забой, к груди забоя. И, только прижимаясь к углю, можно спасти жизнь. Понимать, что крепежные стойки ставят не затем, чтобы что-то держать, каменную гору в миллиарды пудов весом никакими стойками не удержать. Стойку ставят затем, чтобы видеть по ее треску, изгибу, поскрипыванию, что пора уходить. Вовремя заметить — не раньше, не позже. Чтобы ты не боялся шахты. Надо уметь заправить лампочку, если погаснет, а заменить ее в ламповой — нельзя. Аккумуляторов на шахте было очень мало. Простые лампочки Вольфа служили там.

Я работал на поверхности, и работа мне не нравилась, и конвоя окрики. В шахту же конвоиры не ходят. Десятник в шахте тоже никогда не бывает, в отличие от приисковых бригадиров и смотрителей. Боятся, как бы не выпал кусок угля на голову бригадира. Словом, у шахты было много преимуществ, а самое главное — тепло, там не было ниже двадцати — двадцати двух градусов холода. Конечно, при двадцати двух градусах — холодно, но все же не пятьдесят градусов

мороза открытого разреза золотого забоя с ветром, сметающим шею, уши, руки, живот, все, что откроет человек.

У меня многократно отмороженное лицо, руки, ноги. Все это на всю жизнь. При любом самом незначительном холоде ноет, болит.

Несколько ночей я проработал на терриконе шахтном — туда время от времени из шахты шла порода, и надо было ее разгружать — открыть борта, снять борт вагонетки, и она сама вывалится, рабочий только сгребает камни со дна вагонетки. Породы шло мало, и я до такой степени замерзал на этом терриконе, что даже заплакал от мороза, от боли. Уйти же куда было нельзя. Мест для обогрева там тоже не было. Я решительно попросился в шахту. Начальник низового участка Никонов посмотрел на меня с симпатией, но неуверенно и все же записал на курсы техминимума. Эти курсы проводились в рабочее время, вернее в часы, когда меняется смена, учащиеся не участвуют в передаче смены.

В шахте две смены — ночная и дневная. Научиться не ходить без воды под землю я привык скоро, да и вообще вся наука не оказалась сложной — шахтеров учили и все товарищи, учили на ходу, что надо делать, в отличие от взаимной ненависти в золотых бригадах. Я стал привыкать к шахте. Неудача была еще в том, что у меня очень сухая и тонкая кожа — клопы и вши едят меня ужасно. При сухой коже я очень редко потел при работе. Товарищи считали это просто ленью, а начальство, особенно приисковое, — филонством, вредительством.

Впоследствии из занятий на фельдшерских курсах я понял, что только пот разогревает мускулы для наилучшей отдачи. Я, сколько ни работал, никогда не запотевал, мой

напарник по шахте Карелин, краснорожий парень молодой, обливался потом при каждом движении — и очень нравился десятнику и начальнику участка. Я проработал на физической работе много лет: и в лагере и до лагеря, но всегда эту работу ненавидел, хотя техникой владел [нрзб], техникой землекопа, горнорабочего. Я — артист лопаты, я — тачечник Колымы. И еще я знаменитый магаданский поломой.

Конечно, шахта убивает. Я видел много «орлов» — аварий с человеческими жертвами, когда человека расплющило в пластину. Видел живые куски мяса, стонушие. Шахта есть шахта. Первая авария, которая произошла со мной, была на откатке вагонеток во время счистки лавы: кусок угля перелетел загородку (она не была глухой, как положено) и ударил меня в голову. Я помню только яркую вспышку синего цвета и голос;

— Ты встать можешь?

— Да, конечно.

Я встал, потер ушибленное место, замазал ранку, по шахтерским правилам, угольной пылью, заслюнил угольную пыль и намазал. Угольная пыль — это гуминовая кислота. Она не только не вредна, но даже полезна для легких. И туберкулезом на шахте заболевают мало. Истинное заболевание шахтеров не туберкулез, а силикоз — от пыли породы, которую вдыхают легкие шахтеров.

С откатки я перешел в лаву, на выборку угля после взрыва. Крепежники ставят крепи на местах, где бухтит кровля, и навальшики выбирают уголь, сталкивают его вниз по желобам, которые трясет мотор. Здесь у меня тоже была одна авария. Во время смены не успели выбрать весь уголь с отвала, а остатки были как раз под кровлей, которая тут тре-

шала. Постучали сильно — не отваливается. Попробовали отвалить ломом — не отпадает. Значит, будет стоять. Я выбрал весь этот уголь, когда обвалилась кровля. Пласт тут небольшой, метра полтора. Нагнувшись, стоять — как раз по моему росту. Поэтому кровля не ударила меня, а сбила с ног и опрокинула. При падении кровля разбилась, и я вылез. Конечно, такое падение кровли, да еще туча белой пыли при этом — всегда тревожно сначала. Мгновенно сбежалось все начальство: и те, кто принимал смену, и те, кто ее сдавал. У меня было ушиблена голова.

— Будем заполнять карту? — спросил начальник.

Он имел в виду карту несчастных случаев, которая сильно отражается и на прогрессивке, и на добром имени инженера. Мне это было известно очень хорошо.

— Нет, гражданин начальник.

— Вот видите, товариш главный инженер.

— Да, да.

— Это ты оставил, — спорил наш мастер, наш бригадир, — в следующий раз под суд пойдешь...

Но это кричали мелкие начальники. Инженер уже удалился. Впрочем, вскоре вернулся:

— Хочешь идти домой?

Под домом тут подразумевался барак.

— А можно?

— Можно, я тебя с конвоем пошлю.

Третья моя авария была в одном из штреков на нижней площадке в конце смены, где я цеплял последнюю вагонетку. Напарник мой уехал на вагонетке, а я как более опытный остался цеплять и прицепил за трос вагонетку временно с тем, чтобы, когда [подъедет], нацепить вторую, — перецеп-

лю и пушу вторую первой. Никакого сигнала о подъеме не подавал, подают сигнал электрическим звонком. Как вдруг лебедка пошла, вагонетка развернулась на плите, прихватила меня за ноги к тросу и потащила наверх. Я закричал. Но наверху крика не бывает слышно. Рядом никого нет, чтобы выключить трос. Так меня тащило довольно долго, пока я почувствовал, что валенок мой прорезается тросом. В этот момент лебедка выключилась. Я поднялся наверх, оставив вагонетку. Оказалось, молодой блатарь-лебедчик, который не хотел оставить эту смену, по собственной инициативе включил лебедку, чтобы напомнить мне, что надо торопиться. Я даже не рассердился. Обошлось, и ладно.

— А почему же ты выключил?

— Показалось, что-то тяжело идет.

Четвертая авария была во время войны, я рассказываю о ней в очерке «Июнь».

Чем больше привыкал я к шахте, а шахта ко мне, тем спокойнее было на душе. Шахтерский труд подземного рабочего ценят, хотя [ты] и не крепильщик, не бурильщик, не газомерщик. В шахте надо что-то знать, чтобы не убить других и не убить себя. Чем больше я привыкал к шахте, тем лучше я узнавал людей в бараке. Сначала я так уставал на работе, а главное, на амбулаторных приемах, по развлечению Сергея Михайловича, что человека в бараке, кроме Родионова, не видел.

Выяснилось, что напротив лежит крепильщик Бартенев, партийный работник из крестьян, вернувшийся к топору. Дальше М[нрзб], тоже крепильщик, этот потомственный шахтер, посадчик лавы, профессионал. Наверху на нарах по-

мошник Генерального прокурора СССР А. Я. Вышинского, бывший одесский прокурор Лупилов. Это был очень культурный человек, единственный человек в бараке, читавший книги постоянно. У него я взял и прочел тоже мемуары Шелгунова и Михайлова, перечел хорошо известную мне книгу как заново. Лупилов был тем человеком, который в разговоре о желаниях сказал, что хочет умереть в больнице, только в больнице, не в бараке, не на приiske под сапогами конвоиров, не под сапогами следователя, не под прикладами. Дух у него был боевой, у Лупилова. В шахту его не брали. Он замерзал на поверхности. А сапоги и приклады вынес с какого-то прииска 38-го года. Зимой, военной зимой, голодной зимой 41-го года Лупилов получил посылку, в которой был табак — его раскрали по дороге — и хороший, даже шегольской костюм вольного образца. Лупилов [нрзб] вручил костюм хлеборезу Феде Столбникову. Дар подействовал. Лупилов был освобожден от работы. Ел хлеб с утра до вечера. Позже он умер от алиментарной дистрофии.

Железную койку напротив занимал Миша Оксман — крепильщик, напарник Бартенева. Оксман был политработник, начальник политотдела дивизии Красной Армии. Маршал Тимошенко, первым требованием которого при вступлении в любую должность было удалить всех евреев, вышиб Оксмана и обеспечил ему место на Колыме. Шаденко, который к этому делу руку приложил, тоже мог бы кое-что рассказать об аресте Оксмана. Сроку у него было пять лет. Малоразговорчивый, замкнутый Оксман оживился с началом войны. Начал строить планы, проекты. Речь идет не о заявлениях на фронт, я не знаю, кто из нашего барака подавал такое заявление. Во всяком случае, обнаружилось, как

много у нас военных. С Оксманом же мы простояли немало ночей, чтобы выпросить у хлебореза хоть корку хлеба.

Напротив Оксмана и тоже на нижних нарах спал Александр Дмитриевич Ступицкий, бывший профессор артиллерийской академии, делегат 2-го съезда Советов. Срок у него был поболее, чем у Оксмана. Ступицкий на Аркагале работал десятником на поверхности, выгружал уголь, следил за выгрузкой угля и породы. Поворотливый, быстрый, хотя и заросший сединой, Ступицкий был энергичным работником. Его хлопотливое дело кипело даже в большой мороз. Именно Ступицкий сказал мне 23 июня, что началась война, что немцы бомбят Севастополь.

— Я не хотел быть военным, я хотел быть дипломатом, не послом каким-нибудь, а консулом где-нибудь в Бейруте — делать своими руками дипломатическую черновую работу. На военную службу я попал случайно. Что такое призвание? Дым. Я — профессор военной академии.

Ступицкий сильно картавил. Была у него дворянская картавость ленинского типа. В наши барачные дела Ступицкий не вмешивался. Пайка в руке — обед в столовой — сон — и снова бешеная работа на шахтном дворе.

— А в шахту, почему вы не пойдете в шахту? — спросил я его как-то. — Десятником бы. Там ведь не 60 градусов.

— Боюсь, — ответил Ступицкий. — Боюсь шахт до смерти. Не могу понять, умираю от страха.

Ступицкий был убит на моих глазах в декабре 1941 года. Шофер пятитонки, груженной, с прицепом, попятил машину и попал ребром кузова в лоб Ступицкому, который выписывал на крыле другой машины квитанцию. Ступицкий упал и

был раздавлен. Не скоро принесли носилки и прямо на руках понесли в лагерную амбулаторию километра за полтора. Но спасти Ступицкого было нельзя.

Начало войны было страшным для Аркагалы. Немедленно были отменены все проценты и заключенные переведены на трехсотку производственную и шестисотку — стахановскую карточку, уменьшены нормы питания. Барак, где жила 58-я, [был] окружен колючей проволокой, и посажен особый вахтер, увеличен конвой, все ларьки, «выписки» отменены. Начались проверки, выстойки чисто приискового типа. Начались допросы в следовательском домике. Хлеб мгновенно приобрел значение чрезвычайное. Именно в это время всякая выдача хлеба у Лунина прекратилась. Я попробовал попросить хлеба, но Сергей Михайлович заявил раздраженно:

— Сергей Михайлович всех не обогреет.

А санитар его Коля Соловьев, бывший блатарь, пояснил:

— Сергею Михайловичу осталось сидеть с гулькин нос, он рисковать не будет.

Я сразу превратился в политического рецидивиста, кадрового врага народа. Поддерживать знакомство со мной было опасно, в амбулаторию на посиделки Сергей Михайлович попросил не ходить.

Вот в это время на Аркагале я стал «доплывать» очень сильно. Запасов материальных у меня не было давно, и я как-то быстро стал просить у повара добавки. Повар Петров, который тоже жил в нашем бараке, щедрой рукой наливал мне баланду, беловатую воду, юшку. Сразу обнаружилось, что на кухне все мясо идет блатарям, и аркагалинская столовая превращается в самую обыкновенную приисковую,

где блатари, угрожая ножом, грабят, требуя налить погуще [нрзб]. Вот в это время мы вдвоем с Оксманом каждую ночь дежурили у хлебoreза, пока не замерзали, — не будучи в силах отвести ноздрей от запаха хлеба. Но хлебoreз Столбников не собирался обращать на нас внимание.

— Слушай, — сказал Оксман, — из этого ничего не выйдет. Надо стоять по одному. Вот я пойду в барак, а ты стой, требуй, проси. Федька заперся в хлебoreзке.

Я этому совету внял, Оксман ушел в барак, а я попросил у Столбникова. Кроме густого мата, я не услышал ничего. Прошел Сергей Михайлович туда же, в хлебoreзку, акт что ли подписывать, но тоже ничего не вынес. Я постучал еще раз — мат был того же тона. Я уже замерз до костей, вернулся в барак — уступая свою очередь на счастье Оксману. Прошел чуть ли не час, и через барак, совершенно оледеневший, пробежал Оксман. В руках у него было граммов триста хлеба, который он, конечно, даже и не прятал по правилам полной конспирации. Мне не повезло. Рядом со мной вскочил Бартенев — знаменитый крепильщик, видевший с нар всю эту сцену, всю эту пантомиму, и кинулся на улицу. Через полчаса он примчался в бешенстве обратно.

— Не дал?

— Нет. Но завтра я — иначе, я встану у ларька, и если Федька хоть кому-нибудь попробует дать кусок, я подойду и потребую дать и мне. Не даст — к начальнику, и кончилась жизнь хлебoreза Столбникова.

Бартенев был знаменитый крепильщик, неоднократно премированный, всегда получал все сплошь выписки, выда-

чи, пайки, но у него была 58-я, как у нас, и он через сутки был обречен на голод.

Вся эта сцена разыгралась ночью, поздно вечером, когда нашу зону запирали на замок, дежурный там стоял только днем. Но замок только закладывался, и снять его было легко. На следующий день Бартенев отправился в свою принципиальную экспедицию. Через полчаса вернулся с куском хлеба граммов в 500. Вот в это время и получил свою посылку Лупилов.

И вдруг все изменилось. Оказалось, что все эти распоряжения об ушемлении на случай войны были сделаны по мобплану, составленному вредителями, какими-нибудь Тухачевскими. Что Москва не утверждает всех этих мер. Наоборот, всех заключенных не считают врагами народа, а надеются, что в трудный час они поддержат родину. Паек будет увеличен до килограмма двухсот стахановский, шестисот — производственный и пятисот — штрафной, для отказчиков. Все переводятся на усиленное питание, вводится реестр питания, до каких-то отдельных блюд для выполнивших трехсотпроцентный план. Любое блюдо по желанию за красным столом рядом с начальником шахты, с начальником работ. Продукты будут только американские. Подписан договор с Америкой, и первые корабли уже разгружаются в Магадане. Первые американские «даймонды», «студебеккеры» уже побежали по трассе, развозя на все участки Колымы пшеничную муку с кукурузой и костью. Миллионы банок свиной тушенки, бульдозеры, солидол, американские лопаты и топоры. Приказом было запрещено называть троцкистов фашистами и врагами народа. Начались митинги:

— Вы друзья народа.

Начальники говорили речи.

Многие подали заявления на фронт, но в этом было отказано. Правительство просит честно трудиться на благо родины и забыть все, что было, все, что было хоть бы в первые месяцы войны, все, что было на приисках.

Зона к чертям, никакой там зоны для 58-й. Меня вызвал к себе начальник ОЛПа Кучерской:

— Завтра не ходи на шахту, Шаламов.

— Что так?

— Есть работа для тебя. Я, смотри, решил дать тебе поручение, ты знаешь, что за работу? Колючую проволоку снимать с зоны 58-й, где вы живете. [Нрзб.]

— Я с удовольствием.

— Я так и думал, что в тебе не ошибся.

— А помочь?

— Выбирай сам.

С кем-то, я уж не помню, сматывали мы на палки десять рядов колючей проволоки. Началась война, заключенных кормили во время войны на Колыме очень хорошо, стали кормить хуже после Сталинграда и вовсе вернулись к черному хлебу на другой день после окончания войны.

— Черняшка вот, пожуй, а то ведь воздух¹, сожрешь целый килограмм — и никакого говна. Все всасывается. Какая ж тут польза.

Лагерный паек — пайка, как говорят арестанты, — это главный вопрос арестантской жизни. С двадцатых годов на-

¹ Имеется в виду белый американский хлеб.

чальство хочет получить давлением на желудок управление человеческой душой в самом таком грубом смысле. Именно конец двадцатых годов, перековка доказали, что увеличение тюремного пайка, умелое управление всей этой довольно сложной пищевой гаммой приносит невиданные результаты. Вместе с зачетами рабочих дней пайка служит самым эффективным инструментом общества в борьбе за план. Градации в питании родились на Беломорканале. Конечно, блатари обманули, как всегда, начальство. Пайки и освобождение приносила справка, которую можно было добыть простой угрозой, пригрозить десятнику, и ты уже ударник, стахановец, и ты уже на воле.

Беломорканал был разоблачением воров, но от самих принципов питания в зависимости от труда, «оплаты по труду», от шкалы не отказались, а, наоборот, расширили. Всего было пять категорий: 1200 грамм, особая — план выполнен более 130 процентов; производственные, штрафная и этапная — 500 грамм. Заключенные порадовали создателей системы лагерного питания. Карточки стали менять раз в пятидневку. Увеличилась забота о подсчете, а следовательно, о сокрытии, смазывании цифр, о приблизительности. Условность была официально признана. На бригаду в 38-м году давали несколько карточек по высшей, несколько по средней, несколько по производственной выработке. Бригадир распределял карточки сам, то отнимая, то отдавая. Ничего, кроме безобразий и произвола, из этого не получилось. В 1939 году перешли на стимуляцию по номерам. Первая категория — самая высокая, далее — вторая, третья, четвертая, пятая и шестая.

Джелгала. Драбкин

На Джелгале¹ я встретил много людей, которые, как я, были задержаны до конца войны в лагерях, которые «пережидали»². По свойствам моей юридической натуре, моего личного опыта, бесчисленных примеров, что Колыма — страна чудес, по известной поговорке лагерников-блатарей, я как-то не волновался этой юридической формальностью, нарушением ее.

Я знал, знал еще с Вишеры, что лагерь — это такое место, где лишнего дня держать не будут по собственной инициативе, что остаться лишним днем в зоне после освобождения — абсолютно исключено. И начальство карается такой мерой, что никогда на это нарушение не пойдет. Не так было с моими новыми знакомыми по спецзоне, с моими попутчиками по этапу из Нексикана. Они вызывали начальников, заявляли протесты надзирателям, подавали заявления, телеграммы на имя Сталина — словом, старались использовать лагерную демократию всесторонне. И действительно, как бы отвечая на этот зов и протест, в спецзону приехал вновь назначенный начальник УСВИТЛа³ Драбкин.

Кровавые события 37-го года коснулись, конечно, и аппарата НКВД. Кто-то подсчитал, что наибольший урон НКВД

¹ «За систематическое невыполнение норм выработки» Шаламов в декабре 1942 г. был отправлен с этапом из Нексикана в штрафную зону Джелгала, где он работал на прииске на общих работах до мая 1943 г.

² Срок по приговору 1937 г. кончился у Шаламова 12 января 1942 г.

³ УСВИТЛ — Управление Северо-Восточных исправительно-трудовых лагерей.

нанес Берия, он расстрелял пятьдесят тысяч ежовских работников из расстрельного аппарата.

На Колыме был арестован и умер в магаданской тюрьме Иван Гаврилович Филиппов — член коллегии НКВД, бывший путиловский токарь, бывший председатель разгрузочной комиссии в Соловках, снятый в известном фильме «Соловки», направленный в чекисты еще в первые дни революции. Это было время чекистов-поэтов, когда Агранов был заметной фигурой в литературных салонах Москвы, Ягода покровительствовал Горькому и всем его затеям с трудкоммунами, когда следователь читал на память стихи Гумилева. Второй женой Ивана Гавриловича была библиотечарша Дома Герцена¹, ездившая с мужем и на Вишеру и на Колыму. Открывать Колыму Берзин взял Филиппова с собой. Еще в 1935 году, к 3-летию Колымы, Филиппов получил орден Ленина, а в 38-м умер в магаданской тюрьме от сердечной слабости. Филиппова на посту сменил Гаранин, развивший бурную, кровавую деятельность. Гаранина я видел раз сорок во время его приездов на прииск «Партизан». «Партизан» был вроде центра борьбы с контрреволюцией. Расстрельные списки читались на всех поверках. Об этом я написал в очерках «Надгробное слово» и «Как это началось», входящих в мою книгу «Артист лопаты». Было ясно, что Гаранина вот-вот арестуют и расстреляют. Эта особенность системы была известна очень хорошо. Так и случилось. В декабре Гаранин был объявлен «японским шпионом» («родная сестра разоблачила» — по тут же спущенной вниз легенде) и расстрелян. Заместителем

¹ Дом на Тверском бульваре, принадлежавший писательским организациям.

Павлова по лагерю стал Вишневецкий, но этого повидать я не успел.

В бухте Пестрая Дресва погибло более трех тысяч заключенных. Там заключенные должны были строить порт. Нужное количество продуктов туда было завезено и помещено на складах возле моря. Начались зимние шквалы, и во время одной из бурь все продукты смыло в море. Три тысячи человек умерли от голода, пока в Пеструю Дресву удалось забросить продукты. Вывести людей пешком не было, очевидно, возможности.

Павлов с помощью Гаранина расстрелял на Колыме гораздо больше людей, но маятник судьбы качался, шел в это время в сторону сбережения людского состава после гарантинских акций. Павлов отдал под суд Вишневецкого, и начальник УСВИТЛа исчез. Его не расстреляли, разумеется, а просто перевели куда-то вниз, на Большую землю.

После Вишневецкого был, мне кажется, Дятлов, но судьба его мне неизвестна. Сейчас был Драбкин — он пробыл на должности несколько лет. Драбкина сменил Жуков из Ленинградского управления безопасности. После исчезновения Ежова силу стал набирать Берия, и на Колыму прибыл Жуков. Жуков был человек демократичный, подавал заключенным руку. Например, при объезде центральной больницы в 1952 году.

— Почему вы рапортуете «зэка»? Надо говорить не «зэка», а «заключенный». Не надо портить русский язык, — говорил Жуков старшему повару нашей больницы Юре.

После ареста Берии Жуков застрелился в Магадане. Какая сила управляет этими страстями, этими судьбами?

Возвращаюсь к Джелгале. В один из дней заключенных в бараках разбудили командой:

— Внимание, встать!

В барак вошла толпа людей в военных мундирах. Один из них вышел вперед:

— Вот я, позвольте представиться, Драбкин. Слышали?

Барак молчал.

— Я — самый главный на Колыме. Я — начальник УС-ВИТЛа, начальник вашего лагеря. Прошу задавать вопросы.

— Почему мы пересидиваем срок?

— То есть как пересидиваете срок — юридическая вольность какая, — весело говорил Драбкин своим спутникам-телохранителям. — Объясните.

— У нас кончился срок еще много месяцев назад, мы не были освобождены, и тут начальство не может объяснить, в чем дело.

— Где здесь начальник?

Местный работник предстал перед взором Драбкина.

— Что вы им, — жест в сторону заключенных, — не объяснили советских законов, что у нас никто не пересидивает срок? А вы, — Драбкин повернулся к задавшему вопрос, — разве вам не объяснили, что вы здесь находитесь до конца войны полностью на лагерном положении?

— Нам говорили в УРЧ — задержаны до конца войны, но никаких документов не присылали.

— Ах, вам не показывали документов. Ну эту ошибку я легко исправлю. Еще вопросы есть?

Вопросов не было.

— Вот видите, а то говорите — пересидиваем, — улы-

бался Драбкин. — У нас нет людей, которые бы что-то переживали.

° И Драбкин удалился. Недели через две из Магадана действительно прислали каждому по выписке. На основании распоряжения правительства от такого-то и такого-то числа и года...

Суд в Ягодном

В карцере на Джелгале я сидел полтора месяца¹. Это была крошечная камера полтора на два метра, деревянный ящик глухой, куда воздух, свет и тепло попадали только через открытую дверь. До потолка я доставал рукой без труда. Это была часть штрафного изолятора, карцер штрафного изолятора, ибо в каждом карцере должен быть карцер еще меньше. Как изолятор был карцером для желгалинской спецзоны, а сама Джелгала была карцером всей Колымы, а сама Колыма была карцером России. С этим чувством я и провел эти полтора месяца. Кормили меня — триста граммов, кружка воды и суп через день. Изолятор был построен по каким-то типовым чертежам, в нем была и большая камера с нарами, где было всегда много людей и откуда ходили на работу. Такие бригады были во всех РУРах. РУРы — это роты усиленного режима. О РУРе на прииске «Партизан» в 1938 году написан мой документальный очерк «РУР». Такой же изолятор рабочий был и на Джелгале. Люди выполняли план, давали металл. Каждый день за работягами приходил конвой. Работали они

¹ В мае 1943 г. Шаламов был арестован по доносам.

где-то неподалеку, потому что на обед их приводили, дневальный за обедом, конечно, не ходил, но к обеду все было готово.

Бригада уходила на работу, а дневальный приносил грязную посуду и заставлял меня ее мыть, за это я доедал остатки, да и от своего обеда хлеб и юшку отдавал он мне за труды. Сначала он боялся, приносил в карцер воду для мытья, но началась весна, горячее колымское солнце сияло, лиственницы пахли. Дневальный осмелел, стал пускать меня мыть под струю воды: мимо шел желоб с текущей водой для прибора, для бутары. Это был отведенный в желоб ручей.

— Вот вы не хотите свидания с Заславским и с Кривицким.

— Я уже говорил вам.

— Вы превратились в банду уголовных убийц, — орал [следователь] Федоров.

Я не понимал, в чем дело. Догадался только уже на воле, проглядывая газеты за эти годы. Именно в это время Сталин объявил, что троцкисты превратились в банду уголовников, сомкнулись с уголовниками.

— Так не хотите признать, что Кривицкий требовал от вас выполнения государственного долга?¹

— Кривицкий — подлец.

— А Заславский? Он говорит слово в слово...

— Заславский тоже подлец.

— А Шайлевич?

¹ Кривицкий был заместителем бригадира и требовал выполнения нормы.

— Я не знаю, кто такой Шайлевич.

— Ну, с вашей бригады, бывший директор спортбщества «Динамо». Его из Ягодного...

— Никогда в жизни я Шайлевича не видел.

— Увидите еще.

— А если я попрошу вызвать моих свидетелей, ну, из той же бригады. Вот Федоров, Пономарев.

— Охотно, хоть десять. Как вы не понимаете, что я каждого пропущу сквозь свой кабинет и все они покажут против вас, все.

— Что верно, то верно. Как же быть?

— Ждать решения судьбы. Почему вы плохо работали?

— Я болел, а больной ослабел от голода.

— Напишите заявление, что вы больны и болели.

Я написал.

В ту же ночь дверь моего карцера раскрылась, и дневальный велел мне выйти. У стола стоял человек в старом полушубке. Это был врач из амбулатории. Я обрадовался.

— Как фамилия? — ясным голосом спросил врач.

— Шаламов.

— Национальность, инициалы.

Врач сел к столу, вынул медицинский бланк и ясным и твердым почерком написал: «Справка. Заключение Шаламов В. Т. в амбулаторию номер один спецзоны за медицинской помощью никогда не обращался. Заведующий амбулаторией номер один врач В. Мохнач».

Врач сложил справку вдвое и вручил дневальному. Вот это был удар, федоровский удар.

С доктором Мохначом судьба меня свела через несколько лет в центральной больнице. Мы вместе ждали этапа в

Берлаг в 1951 году. В присутствии киносценариста Аркадия Захаровича Добровольского я спросил у Мохнача:

— Вы не работали когда-нибудь на Джелгале?

— Как же, — ответил Мохнач. — Я в 43-м заведовал амбулаторией. Там две амбулатории, так я вот заведовал амбулаторией номер один.

— А не помните ли вы, Владимир Ануфриевич, — сказал я, — как вас вызывали ночью в изолятор к следственному арестанту?

— Нет, не помню.

— Вы написали ему справку, что он никогда в амбулаторию не обращался.

— Мало ли справок мне приходится давать.

Тогда же, в больнице, я выяснил, что он зря шупал мой пульс в джелгалинской амбулатории. Доктор Мохнач не был врачом. Не был даже и фельдшером. Он был химик и в больнице работал в лаборатории. В «Литературной газете» года два назад возникло какое-то целебное лекарство, над которым его автор работал уже сорок лет. Идея эта автору, по сообщению в печати, пришла в голову где-то на Колыме. Этот изобретатель и есть Владимир Ануфриевич Мохнач, доктор колымского Освенцима, сыгравший такую, мягко выражаясь, незавидную роль в моем процессе.

Мохнач ушел, а я лег на пол около двери — я дышал через шель снизу — и постарался заснуть.

На следующий день дневальный принес хлеба побольше:

— Скоро, наверное, кончится следствие.

— Это Федоров знает.

— Да. Федоров сказал, что вы крупный партийный работник и что ваш процесс будет иметь мировую прессу.

— Наверное, — сказал я, никак не понимая, к чему затеян этот странный разговор.

— Не понимаете? Это он мне давно сказал, вначале еще. И я подумал — если я вас немножко подкормлю, мне зачтется.

— Зачтется, непременно зачтется.

Именно эта подкормка и дала мне возможность добраться до суда. К худу или к добру — не знаю.

Следствие кончилось, и меня должны были доставить на суд в трибунал Северного горнопромышленного управления. В июне Федоров нашел двух оперативников, которые должны были доставить людей без возврата, ибо осужденный на Колыме не возвращается в то место, откуда он прибыл на суд. Оперативники эти повели меня по тропам, но я идти не мог, ослабел в карцере, да и до карцера. Оперативники принялись меня кормить, дали целый килограмм беяшки, которую я запил ключевой водой. Запил — ослабел еще больше и двигаться не мог. Тогда они принялись меня бить, били часа два. Было ясно, что в Ягодный они уже опоздали. У меня много зубов выбито на Колыме прикладами и зуботычинами бригадиров, десятников и конвоиров. Кто именно выбил, я не помню, но два верхних зуба выбиты сапогами этих оперативников, именно это я помню, как будто это случилось вчера.

К ночи мы выбрались к трассе — 18 километров. Десять по тропам. Тут они закинули меня в машину, сели сами и приехали в Ягодный, сдали в изолятор, набитый так туго, что дверь [откидывалась] от давления людей, их вещей обратно, боец приставил к двери меня, и силой несколько человек вжали в тюремную камеру.

Тут же меня обыскали блатарские руки — до нитки, нет ли где-нибудь благословенного рубля или десятки. Все было перешупано, и меня оставили в покое. Горела кожа, я обжег все лицо, руки, но еще больше мне хотелось спать. Я и спал до обеда, а в обед вызвали на суд.

Суд, единственный гласный суд в моей жизни, открытое заседание трибунала проходило в Ягодном 22 июня 1943 года. Были свидетели: Кривицкий, Заславский, и третьим оказался Шайлевич, которого до суда я ни разу не видел. Тем не менее он очень бойко показывал, что я — враг народа, восхвалял гитлеровское вооружение, считаю Бунина — классиком. Я повторил свои суждения о Заславском и Кривицком, потребовал отвода, но суд не удовлетворил ходатайства. Был тут и бригадир Нестеренко, который говорил, что за мной он давно следит как за контрреволюционером, борется с лодырем и врагом народа. Мне было дано последнее слово. И в последнем слове я сказал, что я отрицаю всю эту клевету, я не могу понять, почему на прииске Джелгала третий процесс по контрреволюционной агитации среди заключенных, а свидетели едут все одни. Председатель сказал, что это к делу не относится. Трибунал удалился на совешание. Я ждал расстрела — день был нехорош, годовщина начала войны, но получил десять лет.

Заседание трибунала шло в темной, странной комнате, едва освещенной какими-то лампочками, то загоравшимися, то тухнувшими. Все свидетели сидели плотным рядом на скамейках, тесно сдвинутых. Моя скамья была притиснута прямо к барьеру, и при желании я рукой мог достать до сапог председателя трибунала. Конвой, втиснутый тут же, дышал мне в спину. Конвоир, охранявший свидетелей, дышал в спину свидетелю. После приговора меня увели обратно в

ягоднинский изолятор. Начиналась одна из самых трудных полос в моей колымской жизни.

Кажется, прошел и десятый круг ада, оказывается, есть круги еще глубже.

Итак, 22 июня 1943 года я вышел на ягоднинскую пересылку как бы заново рожденный — с новым сроком в десять лет. Лагерный промежуток с 12 января 1942 года по 22 июня 1943 года так и выпал из моей служебной биографии. Целых полтора года жизни после окончания одного приговора до начала второго так и не были юридически оформлены никогда. Неизвестно, жил ли я на земле в это время, был ли на небесах. В раю? В аду?

Я запрашивал лагерные учреждения, что мне было нужно для стажа, и получал только справки об этих двух сроках. А эти — самые трудные полтора года в жизни моей — так и не отразились ни в каком официальном документе. Находился я на Дальнем Севере с августа 1937 года по октябрь 1951 года, вплоть до моего освобождения по зачету после десятилетнего приговора. «Документов не сохранилось» — такая у меня есть справка.

В общем-то, мне это совершенно неважно, так что товарищ Драбкин может быть спокоен, юридических претензий к моему статусу «пересидивающего срок» нет у меня.

Витаминная командировка

Какая у меня была первая работа после непродолжительного знакомства с упомянутым Федоровым и осведомителями Заславским и Кривицким, закончившегося десятилетним сроком.

Я едва стоял на ногах и был равнодушен к своей судьбе. С Ягоднинского ОЛПа, так называемого комендантского ОЛПа, транзитки северной лагерной, меня перевели на швейную фабрику, где, кроме швейного цеха, был еще пошивочный цех. Мастер цеха обучал меня в числе двадцати или тридцати человек держать иглу, шить. Работа была превосходная, но и с этой работой мне было не под силу [справиться]. Я что-то делал, едва двигался, запинаясь за каждую шепку и внезапно понял, что я теперь доходяга, как на «Партизане» в 1938 году, но это мне было все равно. Табельщиком в этой швейной мастерской работал Слуцкий — старый еврей, один из авторов учебника по истории Западной Европы. Фридлянд и Слуцкий — так назывались эти авторы. Мне кто-то его показал и назвал. Но все это было не нужно и не важно мне. Я мог думать только о еде, о сне.

Начальство решило, что куда-то меня приставить нужно. Начинаются скитания по витаминным командировкам. Я попал в штаты пищевого комбината. Первая же работа кончилась для меня чуть ли не арестом. На витаминных командировках битье поручают бригадирам и конвоирам. Меня били тут очень много. Документальный очерк «Ягоды», документальный очерк «Кант» написаны именно об этом времени. Не случайно первые мои рассказы вызваны в памяти днями особенного голода. Если на прииске хоть чем-нибудь кормили, хоть бурдой, ибо много крали конвоиры, надзиратели, блатари — везде, кроме больницы, то на витаминной командировке именно на жизнь-то, на «виту», и не оставалось ничего.

Старые заключенные как-то приспособивались, носили дровишки вольным десятникам, ягоды собирали конвоем, хо-

дили пилить дрова начальнику. Я тоже все это делал — напарник всегда нужен. Но все это поправить, вернуть к здоровой жизни не могло. С каждой командировки меня гнали на другую, предварительно избив и обсчитав, ибо ведь что-то я делал, как ни ничтожно было количество палок — дров, которые я приносил в лагерь, как ни малы кубометры грунта, которые я добыл своей лопатой из канавы, — ведь что-то я делал. Результат моего труда всегда, во всех случаях, приписывали другим. Но это тоже мне было все равно.

Я чувствовал, что тяжело болен. Но амбулатории на витаминных командировках не было, а разъездные фельдшера никаких болезней у меня не находили. Я давно утратил [ощущение] разницы между вареным и сырым, горячим и холодным. Я глотал все, что попадалось на глаза. И, помню, бесконечно был счастлив, когда, выскочив утром на улицу, нашел несколько корок, совершенно свежих, еще теплых корок хлеба, брошенных проходившим десятником. После я несколько утр выскакивал на мороз, но корок больше не встречал. На витаминных командировках норма питания много меньше приисковой. Да еще украдет конвой, бригадир. Передовиков там нет. Обычно даже на больших командировках кормили два раза в день, и на второй раз, кроме супа, ничего не бывало. Все, что положено вареного, — с утра, и хлеб подается с утра, чтобы заправляться и работать. Хлеб — это шестисотка, конечно, мяса там не бывает никогда, ибо по таблице замены белковую часть обеспечивает селедка. Именно селедка, селедкой живет Колыма заключенных. Это ее белковый фонд. Надежда. Ибо для доходяги нет надежд добраться до мяса, масла, молока или какой-нибудь кеты или горбуши.

43-й год остался в моей памяти какой-то полосой бесконечных отморожений, битья, холода, додлываний на этом целебном витаминном комбинате.

На командировках «шиплют» стланик, рвут иглы из стланика, их пихают в мешок и увозят автомашины на Таскан, там пищевой комбинат, где варят стланик — омерзительный экстракт, который заставляют всех зэка пить в столовой перед обедом. Ставится конвоир, чтобы пили. Омерзительный вкус держится во рту не менее часа. Стало быть, как ни ничтожен обед, он испорчен, вкусовые качества потеряны.

В 37, 38, 39, 40, 41, 42-м цинга хлестала приисковых людей, валила с ног, ноги, десны пухли от цинги и пеллагры. От пеллагры у меня сходили с рук перчатки, с ног — концы ступней, кожа всегда там шелушилась.

Это записано в истории болезни, которая когда-то хранилась в больнице. Кожная моя перчатка была на выставке на врачебной конференции в Магадане. Но все это было позже. А в 1943 году я шипал стланик и опухал от цинги. На «Партизане» в 1938 году я опухал от цинги, зубы шатались, и кровь с гноем натекала в ботинки, или, вернее, в «чуню» — резиновую галошу, ботинок заключенным на приисках не давали в гаранинские времена.

На этих витаминных командировках на моих глазах умер Роман Романович Романов — бывший комендант на прииске «Партизан». Я часто наблюдал, — заключенные ведь не могут оторвать глаз от продуктов на вахте, когда раздают посылки. Романов управлялся с этим делом, посылки разбивал, ломал, куски сахара летели на пол, табак просыпался, сухари смахивались торопливо, якобы неумелой рукой, на пол. После раздачи все эти куски и крохи оставались, оче-

видно, на долю Романова и его товарищей с вахты. Роман Романович был царем на «Партизане», когда пришел наш этап. Я и не сомневался, что это вольнонаемный, партийный даже человек. И вдруг оказалось, что его арестовали, судили по берзинскому делу. Сейчас он прибыл на витаминку полумертвецом. Он умирал в углу. Начались холода. Топора в палатку, обложенную мхом, не давали, и печку топили с пола тремя стволами, втолкнутыми в печь и горящими по закону трех головней. Вот тут-то и умер Романов, прижался к печке холодной. Я заталкивал эти деревья в печь, поддерживая огонь. Было как-то безразлично — буду я спать или не буду. Едва Романов захрипел, а товарищи уже отматывали его портянки. У Романова были хорошие портянки из одеяла, типичные портянки колымских доходяг, когда одеяло отрезано, но еще греет, если им укутать лицо, а главное, числится по [реестру], а портянки — обменная личная собственность арестанта. Я завел себе котелок жестяной из трехлитровой банки, точно такой же, как у меня был на «Партизане» в 38-м году, который начальник ОЛПа лейтенант Коваленко пробил кайлом собственной своей рукой и растоптал. Уничтожение личной посуды заключенных описано мной в очерке «Посылка».

Наконец пришел и мой час. У меня началась дизентерия. Неудержимый понос сотрясал все тело. Пока я добрал до фельдшера, понос ослаб, температурного термометра у фельдшера не было, но обошлись и без термометра. И я был записан на прием к врачу. Врач вышел со мной на двор.

— Ничего нет?

— Нет.

— Ну, поедешь обратно.

С большим трудом моему кишечнику удалось извергнуть каплю зеленоватой слизи. Врач выписал путевку в больницу Беличьё. Вот эта больница Беличьё, фельдшер Борис Николаевич Лесняк и Нина Владимировна Савоева, главный врач этой больницы, и спасли меня для жизни.

Если жизнь — благо.

Больница Беличьё была всего в шести километрах от витаминки и комендантского ОЛПа. Но пройти эти шесть километров законным путем мне удалось за шесть лет.

Беличьё

Автомашина — я был в ней единственным грузом — мягко съехала с трассы и сразу сбавила ход, подпрыгивая на выбоинах, петляя по единственно возможным проездам, кое-как выбираясь к ночному, ничем не освещенному дому, бараку. На крыльце зажегся свет, кто-то с «летучей мышью» пошел вдоль барака, потом вернулся.

— Где больной?

Впервые за шесть лет меня назвали больным, а не падлой или доходягой.

— Вот.

Вслед за провожатым я пошел, волоча ноги, спотыкаясь о каждую выбоину пути, обходя какие-то лужи, выбираясь на тропки.

— Вот на это крыльцо.

Мы вошли в огромную брезентовую палатку, старую военную палатку, заставленную кроватями с сетками и деревянными топчанами. Везде дышали, крихтели, стонали люди.

Провожатый снял бушлат, надел на плечи, выпустил заткнутый за полы белый халат и оказался доктором Лебедевым.

— Сначала сюда. — Он указал на крошечный кабинет.

— Мне в уборную.

— Ну, тогда не сюда. Александр Иванович!

Из мрака возникла огромная фигура, закутанная во множество халатов, в шапке зимней, с какой-то дощечкой в руках.

— Вот запиши его и — каждый час. Утром скажешь.

— Есть, иди сюда, — сказал кто-то с сильным грузинским акцентом.

Александр Иванович оказался бывшим секретарем Закавказского крайкома, которому было доверено дело величайшей важности — разоблачение симулянтов дизентерийников-пеллагрозников.

Александр Иванович должен был проверять стул больных: кто сколько раз сходил, какого цвета стул. Консистенция, цвет и частота стула имели решающее значение для лечения дизентерии. И скобленная многократно фанерная доска была основным [нрзб], обличающим симулянтов документом.

Время от времени больной вскакивал и судорожно мчался, кидался в уборную с закрытым «очком». На «очке» лежала доска. Вот на этой-то доске и должны были опрашиваться больные и ждать, пока Александр Иванович не посмотрит стул. Фанерная доска Александра Ивановича была разграфлена на несколько вертикалей — цвет, количество, консистенция, запах — и бесконечное количество линеек, на которые вносились фамилии больных.

Александр Иванович записал меня на последнюю линей-

ку, отметил какой-то кружок или параллелепипед внизу доски и осмотрел мой кал. Александр Иванович был удовлетворен осмотром.

— Вот так и будешь, меня толкнешь и покажешь свой стул.

Опрос во врачебном кабинете был недолгим, все ныло у меня, все болело — раны незаживающих отморожений 38-го года. Человек в белом халате отвел меня на место, койку где-то посреди палатки, короткую по моему росту, покрытую одеялом, выношенным до чрезвычайной тонизны, но чистым одеялом, с подушкой, в которую было набито сено, колымское запахнувшее сено. Тонкая подушка чуть прикрыла подголовник деревянный, вытянутые ноги свисали с топчана. Но я тотчас же погрузился в сон, в забытье, арестантский сон, которым я много лет спал на Колыме, с трудом отличая его от яви.

Ночью я очнулся мгновенно — не от голосов, от присутствия каких-то людей. Доктор Лебедев показывал на меня кому-то незнакомому, и кто-то незнакомый говорил:

— Да, да. Да. Да. Да. — И потом сказал непонятно: — Из счетоводов?

— Из счетоводов, Петр Семенович.

На следующий день заведующий первым терапевтическим отделением доктор Петр Семенович Калембет, бывший преподаватель Военно-медицинской академии, осмотрел меня, осмотрел без всякого интереса.

— Только положите его не здесь. Поставьте его койку рядом вон с той, с голубой. Поняли? А лечение — как обычно, стол — первый.

Меня сейчас же перевели рядом с голубой койкой. На

ней лежал опухший белой [нрзб] опухолью больной. Следы пальцев оставались на [его] ногах. Но больной не замечал этого — все что-то говорил, говорил, радовался, смеялся.

— Ну, знакомьтесь, — сказал Калембет, — вот вам товариш-земляк.

Белый, опухший, похожий на утопленника больной был Роман Кривицкий¹ — бывший ответственный секретарь «Известий», автор ряда статей на темы воспитания, да и брошюры у него какие-то были.

— Да вот. — Роман Кривицкий рассказывал о себе, об аресте, о гражданской войне, в которой участвовал комсомольцем, о Бухарине, о газете [нрзб] тех лет.

— Ну, как здоровье?

— Я уже поправляюсь, — со смущенной торопливой улыбкой сказал Роман Кривицкий. — Скоро уже выпишусь. Вот ослаб только — на отметки к Александру Ивановичу не успеваю. Замерзаю только тут. Спасибо Петру Семеновичу, велел выдать одеяло добавочное. Скоро и на выписку.

К вечеру Роман Кривицкий умер.

— Это Петр Семенович хотел отвлечь его, поставив вашу койку рядом с ним. Не вышло.

— А что значит — из счетоводов?

— Из интеллигентов. Это у Петра Семеновича такая поговорка. И вы — счетовод, и я — счетовод, и он сам — счетовод. Для краткости.

Так сказал мне фельдшер Лебедев, которого я поначалу принял за врача. Лебедев же был колымский фельдшер-прак-

¹ Однофамилец Кривицкого, упоминаемого в главе «Суд в Ягодном»:

тик без медицинского образования, преподаватель физики, что ли. Калембет же был преподаватель Военно-медицинской академии по курсу внутренних болезней. Он был осужден в 1937 году на десять лет по 58-й статье.

Я стал немного приходить в себя. В отделение часто приходил молодой фельдшер из хирургического отделения Борис Николаевич Лесняк. Лесняк был арестован студентом последнего курса медицинского института в Москве. Отец его умер, а мать была в ссылке. У Лесняка был срок восемь лет по 58-й. Прекрасный художник, ученик скульптора Жукова. Он лепил, учил стихи, писал стихи и рассказывал. Колымская колесница не раздробила, напротив, закалила и выдрессировала [его] для активного добра. Неисчислимо количество людей, которым помог Лесняк. На общих работах он не был, сразу попал по специальности, но это как бы дополнительный нравственный долг создало — поставило новые задачи. Он был в хороших отношениях с главным врачом Ниной Владимировной Савоевой, полной хозяйкой Беличьей, членом партии. Из партии Нину Владимировну исключили за связь с ээка. Предложили выбор: или партбилет, или Лесняк. Савоева отказалась от партбилета.

Когда Лесняк кончил срок, она вышла за него замуж, но в партии не восстановилась, специализировалась на хирурга и много лет живет в Магадане. У них есть дочка — уже невеста.

Так вот Беличья и была местом, где шла борьба за сохранение жизни именно интеллигентов, которых Калембет звал счетоводами.

Борис приходил ко мне каждый вечер, приносил кусок хлеба, табак в газете — сделал меня важным человеком в

палате. День ото дня мне становилось ясно, из долгих разговоров выяснилось, что я ничего делать не умею, не обучен ничему, кроме копки канав, что у меня нет ну буквально никакой специальности, ремесла или любимого занятия, кроме чтения книг и стихов.

— Тебе надо остаться санитаром при больнице. На истории болезни. Так во всех отделениях. Будешь носить обед, мыть пол, утки подавать, температуру мерить, подумай.

— Что же думать, это было бы счастье, но я ведь ничего не умею.

— Я поговорю с Петром Семеновичем, а ты тоже его попроси.

Я попросил Калембета. Он одобрил.

— Это правильная линия. Вот скоро Максим уйдет, ты его и заменишь.

Поскольку я уже включался в санитары, Петр Семенович перешел со мной на «ты». Я ему говорил «вы». Так заведено на Колыме. Это правильно — автоматизм врачебного мышления мешает ему санитару называть на «вы». Да это прежде всего неудобно было бы самому санитару.

Настал час, когда за Максимом пришли звать в этап. И фельдшер из бытовиков Михно, чьей кандидатурой был Максим, уверенно потребовал оставить Максима.

— Я уже говорил, — сказал Калембет, — Максим уедет.

Я надел еще теплый санитарский халат Максима и принялся за уборку, сопровождаемый осуждением фельдшера Михно и недоброжелательными взглядами всей палаты. Кого-то ставили из своих, да еще на живое место. Но после прииска и витаминки моральный барьер у меня был несколько понижен, наверное. Я ночевал в комнате, где было два

топчана: мой и Михно. Михно пришел поздно ночью совсем пьяный.

— Ты, блядь, иди, сними сапоги. Не будешь? Ух, блядь! Сапог полетел в мою сторону.

— Всех вас разоблачу!

Я не сказал, конечно, об этой первой ночи никогда и никому. Сейчас рассказываю впервые.

Вечером, как всегда, пришел Лесняк.

— Теперь ты имеешь две недели, по-колымски это срок огромный. За это время ты должен сделать то-то и то-то. Даже если месяц здесь пролежишь, — весь срок ведь лежать не будешь, — то помни вот что: место выбивай сам. Добьешься — направят в больницу, больница поддержит, положат тебя. Месяц пролежишь — потом опять.

Калембет не очень ладил с главврачом и вскоре перешел на Эльген, где был начальником санчасти. Он был освобожден в срок в 1947 году. И сразу выяснилось, что переход в новый статус не прост. Выяснилось, что и за человека не хотят считать, — клеймо бывшего заключенного снять было нельзя. Тогдашний начальник санотдела подполковник Шербаков носился по трассе, угрожая бывшим зэка сделать их сухими зэка, вмешиваясь в их жизнь. Так он поступил с Траутом на Дебине, когда тот хотел уехать на материк, — его не отпустили. Неизвестно, какие разговоры были у Петра Семеновича Калембета, только он в 1947 году в своем же кабинете на Эльгене покончил самоубийством. Как врач он точно дозировал морфий, ввел шприцем раствор. Калембет оставил записку: «Дураки жить не дают».

Ася

— Если уж ты хочешь с кем-нибудь советоваться, давай поговорим с Асей. Она плохого совета не даст.

Ася с удивлением прочла бумагу¹.

— Это только в нашей семье может случиться такая подлость. Таких случаев тысячи, десятки тысяч. Вы ему скажите, пусть он сам донесет. Вам будет проще отражать такие удары. Лезть самому в петлю...

— Я их не боюсь, — сказал я.

— Ну, это достоинство в глазах женщины, а не государства. Ты пойми, — заговорила Ася, обращаясь к сестре, — что он пройдет премьерой, будет премьером самой тайной премьеры, которая готовилась в секрете столько лет. Он получит самую высшую меру! Ничего другого он получить не может.

— Мы уже решили писать, — поджав губы, сказала жена. — Надо поставить все точки над «и», в конце концов.

— Впереди еще много точек над «и», — сказала Ася, — и много многоточий.

— Собственно, мы не за этим к тебе и пришли.

— А за чем же?

— Кому именно послать, на чье имя?

— Там приличных людей сейчас нет, — резко сказала Ася. — Я ведь знала людей круга Дзержинского, ну, Менжинского. Впрочем, там есть один человек самый приличный. Он много лет работает и показал себя очень хорошо. Это на-

¹ По настоянию родственников жены Шаламова Г. И. Гудзь он написал в 1936 г. заявление в НКВД с отречением от «троцкизма». Особенно категорически требовал этого брат жены. Родственники считали, что это заявление спасет их от репрессий.

чальник СПО Молчанов. Вообще-то он латыш, Молчанов его псевдоним. Вот в его ящик. У него и ящик там свой есть. Вообще-то лучше бы такую глупость не делать.

Мы поцеловались, и больше в своей жизни Аси я не видел. Письмо мое лежало в ящике Молчанова до того часа, пока не был арестован и расстрелян сам Молчанов. Письму моему был тогда же дан законный ход.

Ася была арестована в 1936 году, за две недели до Нового года. За две недели до ареста у нее умер муж Володя, с которым она дружно прожила на Арбатской площади. На его поминках Ася сказала задумчиво:

— В сущности Володя был счастливый человек.

— Почему вы так думаете?

— Ну, никогда в тюрьме не сидел.

Ася была приговорена к восьми годам сурового тюремного заключения, а в 1939 году отправлена на Колыму, на Эльген, ибо природа не терпит безделья заключенных. Но мы не встретились, не списались, ибо Колыма устроена еще и так, что за сорок километров рядом можно проехать через Москву, к тому же я доплыл еще в 1938 году навеки и продолжал доплывать многократно, то подплывая к спасению, то отталкиваясь от него.

Потом началась война. Меня судили в 1943 году, добавили десять, и вот в этом безнадежном положении судьба и привела меня в места...

— Повторите, как вас зовут?

Я повторил.

— Где вы родились, где арестованы, надо сообщить. Но такая кость, грязь, цинга...

— Отмоем.

— У вас нет [на Колыме] родственницы?

У меня нет никаких родственников.

Но санитар был поопытнее.

— У вас нет родственницы по фамилии Гудзь, родственницы Гудзь?

— Нет.

— Я говорил, что это не он, одних вшей там пуд.

Я заснул и проспал еще сутки.

— У вас нет родственницы по фамилии Гудзь? Нет? Сейчас с вами будут говорить...

Москва? Дальняя зимовка? Генеральный секретарь ВКП(б)? Санитар продолжал трясти меня за плечо, и как будто это имя было выше только что перечисленного — Москва, Антарктида, Генеральный секретарь: главный хирург центральной районной больницы для ээка Валентин Николаевич Траут.

— У вас есть, отвечайте на вопросы прямо и честно, глядите мне в глаза, у вас есть родственница, сестра, сестра вашей жены Александра Игнатьевна Гудзь? Слушайте меня внимательно! Родственница эта ишет вас, она находится в сорока километрах от вас. Я могу отвезти ей записку от вас!

Записку? Разве этими пальцами я напишу, могу написать какую-нибудь записку? Я могу писать только кайлом, топором, лопатой. Да и притом все это чушь, чушь.

— У меня нет никаких родственников на Колыме.

Траут в бешенстве перешел на блатной жаргон, на феню:

— Тебя, тварь, в натуре ишет родственница, разыскала, объявилась.

— Табачку дайте скорее.

— После получишь, как сознаешься. К тому же сам не курю, не занимаюсь этим. На вот, соси, тварь.

Кто-то сунул мне в рот окурок газетной сигарки. Я отдышался, затянулся, и в мозг как бы скользнуло новое, не нужное даже для моего иссохшего мозга известие. Известию надо было пробиться через многие препятствия. Речь идет об Асе, Асе — Александре Игнатьевне Гудзь, оказывается, она и есть Ася. Меня заставляли написать записку. Записку! Асе! Смех, да и только! А что писать?

— Да что хочешь, то и пиши.

Я написал: «Ася, мне очень плохо. Перешли мне хлеба и табаку».

— Вот, видите, — комментировал Лесняк, — глубокая стадия дементивного процесса. После того, как собирал миски в столовой, собирал окурки. Я живу рядом и не собираю ни окурков, ни корок. Это распушенность просто, знаете, слабая воля.

— Ну, что же ответить Александре Игнатьевне? — сказала Савоева, в квартире которой и шел этот разговор.

— Пусть забудет своего неприличного родственника, — сказала княгиня Чиковани. — Я напишу Асе, что это безнадежный случай.

— Я это все скажу ей сам завтра, — сказал Траут, подводя итоги этого консилиума.

Но Ася не поверила записке.

— Я требую личного свидания. Увижу его сама, поговорю и решу.

Стали готовить медицинские документы на отправку этапом в больницу Беличью заключенной А. И. Гудзь.

— Завтра, завтра придет Ася, и вы сможете с ней поговорить у меня в кабинете. Она ложится на обследование, пробудет здесь неделю, — кричал мне Траут.

— Завтра придет ваша родственница, — сообщил мне фельдшер Борис Лесняк, никогда не бывший на обших работах.

Но это завтра не наступило, Ася умерла. Ася умерла от крупозной пневмонии, захватив воспаление легких, пока она обливалась ледяной водой — ее всегдшний режим. Но лед Москвы, ветры Москвы — это вовсе не то, что лед Колымы, ветры Колымы. Там правят другие законы, чисто физические, и тем не менее не только физические.

Асю похоронили на Эльгене. Было ей всего сорок семь лет.

А меня выписали на обшие работы в самом обычном порядке. Я уже успел что-то понять в Колыме, открыть одну из ее тайн — явился в следующий раз на госпитализацию форменным доходягой.

Двигаясь от больницы до забоя, я провел несколько лет до [того] самого момента, как сам кончил фельдшерские курсы и уже не зависел от врачей и фельдшеров — ни от Траута, ни от Савоевой, ни от Лесника, ни от памяти Аси.

Но [суть] именно в памяти, в смерти Аси, в этой драме эльгенской, ибо сульфидин и пенициллин уже были в природе, но на Эльгене их не было. Ася умерла в несколько дней и почти в сознании.

Наравне со мной тогда подставлял свою глотку и Варпаховский, и такой субъект, как Шпринк, который говорил, что он поэт Всеволод Рождественский. Каждый спасается как

может. Разумеется, выдавать себя за Рождественского лучше, чем писать донос.

Группа Савоевой, как и полагается, боролась с другими группами за влияние, место под солнцем, территорию.

Чем это хуже, чем начальник управления, который торговал табаком или чаем?

Спасли меня от смерти, падения фельдшерские курсы. Это уже было кое-что!

Вот на этих-то курсах студентка, моя соученица Елена Александровна Меладзе и передала мне последнее Асино — копию заявления в Центральный Комитет партии. Ася не была членом партии, но действовала как «истинный член партии в трудных обстоятельствах», как сказано в партийной реабилитации Раскольниковова. Ася умерла, и нарушить ее последнюю волю было вполне допустимо — я подарил завешание Аси¹, написанное той же самой разборчивой черной гуашью, Меладзе.

Беличья была самой обыкновенной «кормушкой», от которой отгоняли врагов, не считая нужным замечать, что друзей на полярном воздухе не существует и тот, кого отгонят, — умрет. И приближали к «кормушке» своих, которые тоже черпали мало.

После смерти Аси меня отогнали, как вшивую падлу, быстро выписали, койко-день есть койко-день. Но я уже понял, что даже несколько дней перерыва могут продлить пусть не нужную мне самому жизнь.

¹ То есть письмо в ЦК ВКП(б).

Я просто приспособился к свите Савоевой и прихватывал что давали, не жалуясь и не благодаря.

Жратва — это с обычной большой кухни, и мне выносили остатки или давали рыться в отбросах наравне с целым рядом других, явно уголовного рода.

На Траута действовала и физическая крепость Аси, ее резкая южная смуглая красота, ее громкое имя, ее привлекательность, всегда отличная спортивная форма, фигура, за которой Ася следила, не снимая средства медицинской и народной косметики. Асе было сорок семь лет, и все внимание было обращено на борьбу с этим рубежом: массаж, поразительного действия массаж, косметика, ежедневные обязательные обливания, ежеутренние растирания снегом на холодном воздухе: водой в Москве, ледяным песком — в Магадане.

— И уж если Ася-матушка, Ася-голубушка захотела лично наложить персты на цинготные раны этого проходимца, [он] просто не может быть тем человеком, которого ждет Ася-лапушка, — ведь он дважды побывал в спецзоне, в этой Джелгале, это что-нибудь значит — туда и один-то раз не посылают, да еще возвращенец... Неопрятный вечно и притом из магаданской тюрьмы 39-го года... Надо отвести нашу лапушку от этого авантюриста!

Вот почему я враг лучшего и признаю только хорошее. Хорошее — это жизнь, а лучшее — это может быть и смерть. В нашем примере хорошим была жизнь Аси.

Отложен был отъезд Аси на один день. По заверению специалистов, лично не голодавших, в числе их были Лесняк, Траут, Савоева, Калембет и Пантюхов, я мог ждать Асю, как какой-нибудь фараон Эхнатон. Разница тут была невелика.

Ася могла бы спешно приехать с Траутом... Но все медики ей говорили, что это не я, что это какая-то Асина ошибка, бзик.

— Мы все пережили заключенными известный канонизированный геноцид 1938 года. Но сейчас ведь не 38-й год, а 43-й. В войну пайки не убавлены, а прибавлены. Этот живой мертвец с витаминного ОЛПа, разве на витаминном ОЛПе нет жизни? Когда получил известие о вас, потребовал табаку. Ну, скажите, Ася-голубушка, ваш муж, отец, брат, сын попросил бы у вас табаку в такой ситуации? Он напомнил бы вам об истории русского костюма, которую вы с ним писали, или какое-нибудь светлое мгновение жизни вашей семьи, какую-нибудь тайну семейную приоткрыл... А тут — табак.

Сказала жена Траута, вольнонаемная акушерка Эльгена:

— Я думаю, что Александре Игнатъевне будет даже неприятно встретиться с таким подозрительным доходягой, да еще хвастается сроком. Он не может ее знать ни по воле, ни по тюрьмам и пусть не тянет свою грязную руку в такое общество.

— Да ведь не он ее ждет, а она его. Все совпадает, срок, рождение, все личное дело сходится, нужна только его личная записка.

— Ну, будите!

— Это не он, не он, — каркали санитары, и под это карканье я заснул.

В тот же день вечером поздно, еще не погас отбойный свет, лампочка мерцала трижды и запылала, и я еще не заснул, мне подали ответ, который мне привез с Эльгена Траут.

— Почему так скоро? Тут же сорок километров.

— Эльген — его участок, он бывает там очень часто, чуть не каждый день.

Письмо в белом самодельном конверте, не заклеено. Черной гуашью, разборчивым редакторским почерком Ася писала: «Я искала тебя с самого первого дня, как вступила на колымскую землю. В сороковом году я искала тебя вместе с Анатолием Василенко, который был твоим начальником на Черном озере. У нас он работал в ларьке. Из поисков тогда ничего не вышло. И вдруг такая неожиданность, узнаю, что ты просто рядом, ничего больше не пишу, жди меня завтра, и мы обо всем поговорим».

Спокойный

В моем характере нет услужливости. Поэтому я не мог стать хорошим санитаром, хотя возможность к этому была. И, понимая, что ненависть моя сильнее меня, я и не пытался сделать карьеру санитаря. Работа фельдшера, да фельдшера с курсов — государственных, с дипломом, хотя бы и лагерным, — это другое дело, это было по мне. Но тут я был вовлечен в водоворот интриг, склок, провокаций, личных счетов до последнего часа моего пребывания на Колыме.

Как я попал на «Спокойный», на открытие прииска, где мне было всего хуже? И когда?

Из комендантского ОЛПа, с Ягодного, когда лейтенант Соловьев меня вызвал и сказал:

— Вот, Шаламов в этом списке, отправляют плотников на новый прииск.

Я вышел из толпы:

— Я не плотник, гражданин начальник.

— А, ты здесь. Ты и не едешь как плотник, ты едешь как штрафник.

— Штрафник? Какой же я штрафник, гражданин начальник?

— Ну, брось травить. Я не забыл, как ты от меня бежал в Беличьей.

А такой случай действительно был. Он описан мною в рассказе «Облава» — о том, как я выскользнул из цепи конвоиров и ушел в тайгу, дождался, когда этап ушел, вернулся, рассчитывая, что если я нужен, то меня дошлют. Но было не нужно, и я прожил еще несколько месяцев в больнице.

Так и случилось. А потом я наткнулся на улице на машину Соловьева и в тот же вечер был отправлен с конвоем в Ягодный на комендантский пункт.

Приехали на берег, началась переправа. По тропе шли через Колыму по льду. Но начался ветер, пришлось вернуться и заночевать в сарае, где не было ни одной палки дров, где все деревянное было сожжено, в том числе и стены сарая. [Нрзб]. Вот без дров все плотники и начальство сели вместе пережидать метель. Вечером дошли до Спокойного и разошлись каждый на свою работу. Я познакомился тут с начальником ОЛПа Емельяновым и начальником прииска Сархановым.

Здесь валили лес и собирали дом тут же из сырых лист-

венниц, ибо Сараханов как опытный колымчанин уверял, что деревянный дом на Колыме можно согреть только людьми — поэтому все бригады из заключенных сразу же и селили в мерзлые бараки, ставили железную печь, топили. Страшная это была ночевка. Мокрые бушлаты, белый пар, белый пар от холода.

Начальником санчасти был там доктор Ямпольский, вольнонаемный, бывший зэка, только что кончивший срок. Доктор Ямпольский сделал мне много зла, поэтому я напишу о нем поподробнее. Начальником санчасти может быть и не врач — это административная должность. Бывший работник органов, Ямпольский целых пять лет, весь свой срок, сумел продержаться на несложных обязанностях фельдшера, на участке приисковом, работал с врачами, которые, впрочем, ничему его не учили. А может быть, и учили. Может быть, и менее пяти [лет] проработал он фельдшером. По ухваткам его было видно, что он ничего не знает. Когда освободился, он начал работать начальником санчасти. Хороший оклад, положение. А о медицинской отчетности он представление имел. Я его застал на Спокойном в этой роли. Он принимал больницу, в аптеке была только марганцовка — для внутреннего и внешнего лечения. Я смотрел эту аптечку, с которой он работал: йод, марганцовка. У него была мысль вот такая. От каждого врача он что-то получил и с каждой сменой должности все увеличивал свои знания.

Вот у него в больнице я встретился с Рябоконею — маховцем, описанным мною в рассказе о страшной смерти какого-то эстонца Яниса, которого купали в ванне, опухшее тело погружали в огромную бочку с теплой водой. Янис умер, и Рябоконь, кажется, умер.

Я убирал палаты, но не был симпатичен Ямпольскому. Скоро случилось так, что для больницы отвели новый участок, завезли туда бревна, и доктор Ямпольский, по колымской традиции, вкладывал туда и свою личную силу, и [силу] своих санитаров в порядке субординации. Ямпольский объявил, что с завтрашнего дня мы будем оба трудиться на [постройке] своей больницы. Он, Ямпольский, выйдет с топором и пилой. Но подходящего напарника во мне [он] не нашел — просто из-за крайней моей слабости.

На следующий же день я был отчислен из санчасти, потерял свое счастье, безумный, и уже весело бежал в рядах какой-то бригады. Но это еще не была бригада доходяг.

Мы были переведены на участок, где строительным техником — такое бывает здесь — был мой старый знакомый по 69-й камере Бутырской тюрьмы Леша Чеканов. Леша Чеканов ехал сорок пять дней от Москвы до Владивостока в одном вагоне со мной, только на пароходу и на Колыме наши пути разошлись. Будучи уже кое-чему наученным по временам 38-го года и приисковым встречам старых знакомых в тяжелых условиях, я ничего и не ожидал от этой встречи. Но Леша Чеканов был явно напуган моим появлением на его участке. Чуть ли не с третьего дня он начал высоким голосом орать, что вот этих, которые всех загубили и... Эти крики скоро обернулись битьем.

Я попросил нарядчика перевести меня на другую работу и был переведен в бригаду Королева. Бригадир Королев — вольняшка, красавец, бригадир из блатарей, из бывших блатарей, бил меня ежедневно, не требуя никакой работы, не ставя на работу, просто бил и бил. Потом уставал, бросал и

переходил к другому делу. Так было много дней, и часть зубов выбита тогда лично именно Королевым.

На вечер меня записали по рапорту того же Королева в ледяной карцер прииска Спокойный. Этот ледяной карцер остался в наследство от командировки дорожников, что-то получивших от прииска и обещавших принимать на ночлег его штрафников. Изолятор Спокойного был еще не построен. Мы же его и строили. Ледяной карцер был карцером, вырубленным в скале, в вечной мерзлоте, стены его были деревянные, самые обыкновенные лиственничные бревна. Посередине стояла обыкновенная печь, на которую давали два килограмма дров на сутки по карцерной норме, а также кружку воды и суп через день. Но больше нескольких часов никто этого карцера не выдерживал ни зимой, ни летом. Я простоял в этом карцере несколько часов с вечерней поверки до утреннего развода, не имея возможности и повернуться: кругом был лед и на полу тоже лед. Говорили, что все, кто прошел через этот карцер, получили воспаление легких. Я — не получил. После карцера следовали избиения все тем же Королевым. Однажды на работе я попросил своего напарника Гусева ударить меня ломом по руке, чтобы сломать руку. Но Гусев отказался категорически. Я пытался сделать это сам, но не мог. Набил синяк, и все.

Уже чуть ли не через год, когда я сидел в ягоднинском изоляторе после побега и ходил на работу на бурение ямок, шурфов каких-то, кто-то из проходившей партии арестантов закричал диким и веселым голосом:

— Шаламов, Шаламов, слушай, тебе интересно. Я Королева-то зарубил! Зарубил! Топором! В столовой.

Я и сейчас не знаю, кто это кричал, но Королев действительно был зарублен в столовой той же зимой.

Внезапно Ямпольский получил письмо от Савоевой, где она просила отправить меня в Беличью как больного. Письмо совершенно личное, передано ему в руки. Ямпольский не нашел ничего сделать лучшего, как познакомить с содержанием этого письма Емельянова — начальника ОЛПа. Емельянов вызвал меня, не забыл...

— Тут Ямпольский письмо получил какое-то насчет тебя.

— Не знаю, гражданин начальник.

— Ну, ладно, иди, отправим.

Емельянов не разобрался в деле, и я не попал в ловушку, расставленную Ямпольским.

Прошло еще несколько дней, было лето, обжигающее лето. Вдруг меня вызвали и привезли, но не в Беличью, а на инвалидный ОЛП при Северном управлении. Там восполнялись силы людей, своеобразная транзитка Колымы. Шли сутками и кто поскользку. Всех отправляли на витаминные командировки, а то и в места посерьезнее. Прибывали машины с людьми, но больше увозили. Комиссовали круглые сутки. Я лег в первую же ночь по незнанию на верхние нары в инвалидной транзитке. Там было такое количество клопов, что, как я ни устал, я должен был смахивать со щек несколько раз клопов, уже ввевшихся в щеки и в несколько слоев, потом вышел на улицу, счистил с себя клопов и попытался заснуть прямо на улице, на холоде. Ночью на Колыме, как бы ни жарок был день, — холодно. Положив доску, можно было спать. На земле — опасно, простудишь легкие. Наутро комиссии не было, и я умолил доктора Эфу, фельдшера из заключенных, передать в Беличью, что я, Шаламов, на инвалидной транзитке.

Эфа:

— Да, я буду в Беличьей через час, вот и передам, пожалуйста.

Через несколько часов пришла машина, приехал Эфа и Лесняк за мной, но взять меня было не так просто, нужно было решение комиссии, акт. Пришлось ждать еще сутки этого акта, и с этим я был выписан и передан Лесняку. Я приехал на Беличью. Нина Владимировна Савоева встретила меня очень хорошо и сказала, что она договорилась с начальством, Соловьева давно в Ягодном нет, что я буду работать официально культторгом — читать газеты, объяснять.

Это был уже 45-й год. Конец войны я встретил на Спокойном. Туда сведения дошли лишь дней через пять — курьер с депешей опоздал из-за разлива Колымы. Атомную бомбу и конец войны с Японией я встретил в должности культторга больницы Беличья.

Конец Беличьей

Это, пожалуй, было самое счастливое мое колымское время, самое безмятежное. Увы, смертная игра опять должна была начаться. У Нины Владимировны и Лесняка были свои друзья, свои враги — новые и старые, свои сражения, свои поражения и победы, своя война. Я был одним из очень многих, кому Савоева и Лесняк помогли из заключенных в те годы. Нину Владимировну всегда окружала толпа людей, которых она ставила на какие-то работы. Давно уехал на материк ее земляк и покровитель, начальник СГПУ¹ полков-

¹ СГПУ — Северное горно-промышленное управление.

ник Гагкаев. К колымскому начальству Савоева как-то не пристала, брак с Лесняком, из-за которого она была исключена из партии, исключил ее из узкого круга людей власти. Когда Лесняк кончил срок, она вышла за него замуж, но это не вернуло ее в круг колымского начальства, в круг старого колымского начальства, получавшего взятки, оклады да еще торговавшего махоркой и чаем через своих дневальных. Нина Владимировна попробовала наладить жизнь по схеме высших начал и потерпела полное поражение. Вошла в круг лиц неудобных, которых обходят по службе, следят за каждым их шагом. Внезапно Савоева получила назначение начальником санчасти прииска и была вынуждена уехать, оставить больницу. Этими же днями кончился срок у Лесняка, и он уехал вслед за ней. Новая начальница, фамилии ее я не помню, звали ее кличкой «Камбала» из-за того, что один глаз у нее был искусственный, в первый же день работы выгнала меня из культторгов и приказала сесть рубить капусту, что я делал до вечера. А вечером был отправлен, вернее, отведен нарячиком в Ягодный на комендантский ОЛП. Больше в Беличью я никогда в жизни не возвращался. К вечеру этого дня я был отправлен на ключ Алмазный, на командировку по заготовке для Ягодного высоковольтных столбов. Ягодный и ключ Алмазный находятся на разных реках Колымы.

Ключ Алмазный

На ключе Алмазном не было конвоя. Давно сделано мною наблюдение, что больше всего произвола в лагере там, где нет конвоя, нет и режима. Конвой в лагере — это прежде

всего зашита арестантских прав. Даже если начальник хороший, все равно в бесконвойном состоянии хуже, чем в конвое. Больше произвола там, где нет конвоя. На ключе Алмазном в бараке жило человек 20 лесорубов, ходили они на работу по выборке и рубке сосновых стволов, пригодных для высоковольтных столбов. Нормы тут выполнимые, но почему-то никто с ними не справлялся только. Кормили два раза в день. Лесорубы жаловались на повара, и десятник поставил поваром меня. Нельзя большего придумать издевательства. Притом десятник сказал, что и взял меня на работу, имея в виду, что я работал в Беличьей. Я согласился. Я никогда не стряпал и не мог ничего придумать путного. Работа моя поварская началась с того, что десятник взял себе банку консервов, банку мясных консервов. Всего примерно на 30 человек в день выдавали две банки. И сказал, что пусть я справляюсь. Я понял и тут же отказался от этой блатной работы. Увидев по моей готовке, что я в самом деле первый раз берусь за поварское дело, десятник снял меня на общие работы — дело мне хорошо знакомое, но ни я, ни он и не рассчитывали, что я могу выполнить норму лесоруба. Вот какого уж он поставил повара, я не знаю, наверное, старого взяли обратно, и я стал работать в лесу. На этой командировке заключенных не били. Тогда было увлечение немедленным учетом. На ключе Алмазном дело было поставлено так, что вечером объявляли, кто из заключенных не выполнил нормы, — не выполнившим вовсе не выдавали хлеба на следующий день по цифрам прошлого дня. Я таких чудес не видел ни разу и твердо решил не жить на этой командировке ни одного слишком голодного дня.

Скоро этот день пришел. Тем самым утром, когда мне не

дали хлеба, я взял блатные ботинки, которые у меня были в вешах, и отдал сапожнику участка — сапожник, между прочим, был вольнонаемный, бывший зэка. Ботинки эти я отдал сапожнику за пайку хлеба семисотку и шепотку махорки на несколько папирос. Взял я с собой спички, газетную бумагу и вышел на дорогу в лес. Через километр я отвернул прямо в тайгу, обошел поселок сбоку, в километре примерно, и пошел пешком в Ягодный. План у меня был такой: дойти неподстреленным до ОЛПа, а там — что будет. Я не пошел по дороге, а прямо тайгой пошел до речки Колымы. Колыма уже встала, я выбрал узкое место, перекат, где можно перейти, но не было места ниже метра. Стало быть, перейти — шагать в воду. Я просто подвязал веревками бурки под коленями. Все это обдуманно было мною и раньше. Свойство колымских рек — в большой мороз не промокает обувь и одежда — мне было хорошо известно. Я прямо шагнул в воду, прошел глубоких несколько метров до суши и, выйдя на берег, отряхнул сосульки рукавицей — намерзшие сосульки на бурках. Переход через Колыму был закончен, я не пошел на переезд, где была будка сторожа, где была зимняя и летняя переправа. От реки Колымы я прошел еще несколько километров по тайге, когда рассудил, что двигаться надо открыто. В большой мороз я дошел до барака, где жили больничные лесорубы во главе с одним санитаром, Степаном Ждановым, которого я хорошо знал по Беличьей, и он меня знал. Степан, не спрашивая меня ни слова, дал мне поесть супу, дал хлеба немного, табаку, а главное, я выспался на теплой печи.

Утром я ушел еще раньше работяг, а за ночь, попросив у Степана бумаги, написал большое заявление на имя начальника ОЛПа Козычева, какие порядки на ключе Алмазном.

Положил в карман, застегнулся и зашагал в Ягодный. По дороге я зашел в Беличью, там повар в больнице был Федя, успел налить мне целый котелок еды, но посоветовал не есть в больнице, и я понял, что меня уже ищут. Я съел весь котелок, съел весь хлеб, какой был, сидя в кювете, на трассе, и вошел в Ягодный. Уже сильно стемнело, пока я добрался до ОЛПа. Начальник ОЛПа Козычев сам сидел на вахте. Он принял мое заявление и велел отвести меня в изолятор. Изолятор, так хорошо мне знакомый, сейчас пустовал. Сидел какой-то блатарь, ждал машину для отправки в спецзону — он сидел за убийство и ограбление на трассе, как я узнал позже. Не в арестантских правилах спрашивать «Ты за что сидишь?» и прочее.

Утром меня вызвал следователь, допросил, но чисто анкетно, без вопросов и ответов, и сказал, что он вызовет меня и начнет новое дело за побег. Я не отбыл еще и двух лет от своего нового срока и не очень волновался по поводу прибавок и добавок и прочих арестантских дел.

Но новое дело не было начато. Следователь рассудил, что начинать новое дело — громоздко, волянка большая. Резолюция была административной: направить для отбывания срока в спецзону Джелгала. Так я удивительным образом вернулся на тот же самый прииск, где меня судили, на Джелгалу.

Снова Джелгала

На Джелгале зимой 45-го года ни Заславского, ни Кривицкого уже не было. Стало быть, Федоров рассчитался со своими помощниками честно. Но за это время явилось на

Джелгале лицо, приезд которого был прямо катастрофой для меня. Новым начальником санчасти был доктор Ямпольский — старый мой знакомый по Спокойному. Никаких надежд на получение освобождения от работы у меня не было, я в санчасть не ходил.

Я попал тогда в бригаду 58-й статьи, где бригадиром был Ласточкин — сын крупного работника на КВЖД. Отца расстреляли в это время, а сын — он описан мною в очерке «Артист лопаты» — был хуже, чем всякий блатарь. Никаких денег там не платили, хотя и выписывали. Все пропивал бригадир с нормировщиками и блатарями, и на первую попытку заикнуться о деньгах я получил удар по зубам, свалился с ног и подвергся публичному избиению.

Ласточкин был боксер. Его руку знали немало людей на Желгале. Дневальным у него работал какой-то старый партийный работник, каждый день напивался и плясал перед Ласточкиным для его удовольствия какую-то одесскую пляску под сопровождение: «Я купила два корыта...»

В бригаде Ласточкина работал я недолго и попал в последнюю из моих колымских бригад, в бригаду Шпаковского. Шпаковский держался со всеми в высшей степени сдержанно. Не волновался по поводу невыработки, плохой работы, меньше слушал начальство, чем свое собственное сердце. Я уже совсем начал превращаться в колымского работягу, как вдруг на прииск пришла машина с репатриантами и было объявлено, что Желгалу отдают репатриантам, а спецзону увозят в Западное управление. Настала и моя очередь. Близ Сусумана, в сарае, у меня поднялась температура, я был доставлен в малую зону Сусумана — транзитку большой

зоны — это барак работяг Сусумана. Малая зона — это огромный барак с четырехэтажными нарами, описанный мною в рассказе «Тайга золотая».

Сусуман

Малая зона Сусумана 1945 года — одно из моих больших сражений за жизнь.

Меня везли в спецзону, которая еще не была открыта. И задачей было задержаться на транзитке, пока не положат в больницу. Температура прошла, несколько ночей я отбивался от нарядчика, включавшего меня в разные списки к вербовщикам. Я выходил, отвечал, «обзывался».

— На дорожные!

— Не хочу на дорожные. Не могу работать с тачкой.
Болен.

— Будешь метлы вязать?

— Сегодня — метлы вязать, а завтра тачку катать.

Всегда при этапах приезжает представитель той организации, которая принимает людей. Представитель обычно вычеркивал меня сам, но иногда приходилось напомнить ему об этом.

— А в сельхоз?

— И в сельхоз не хочу.

— А куда ты хочешь?

— В больницу.

В амбулаторию меня тоже водили, но врач не собирался мною заниматься. Я же в больнице узнал, что в километре от малой зоны работает мой знакомый врач с Беличьей Андрей

Максимович Пантюхов. Вся моя энергия сосредоточилась на том, чтобы известить Пантюхова о том, что я в малой зоне. Если есть возможность, он, безусловно, поможет. Я дал фельдшеру, не помню его фамилии, записку для Пантюхова. Он сказал, что передал и что Пантюхов ничего не сказал.

Я не поверил и попробовал дать записку регистратору больницы. Регистратор:

— Да, я сегодня туда иду, записку отнесу.

В тот же день, поздним вечером в бараке раздался истошный крик:

— Шаламов! Шаламов! Где Шаламов?

Понимая, что это не нарядчик, я скатился с нар.

— Тебя вызывают к зубному.

— Я не записывался к зубному.

— Иди, тебе говорят.

Это был санитар зубного врача. Мы выбрались на улицу, через дорогу, в пяти шагах, была зубная амбулатория. Кто-то в белом полушубке ждал меня в коридоре. Это был Андрей Максимович Пантюхов. Мы обнялись... Я вкратце рассказал о своем положении. Фельдшер, конечно, не передал моей записки.

— Завтра я поговорю с Соколовым, начальником больницы, и вас положат к нам. Я — ординатор хирургического отделения.

Мы расстались, а на следующий день вечером меня вызвали вместе с другими тремя больными и повели пешком в больницу.

Андрея Максимовича я в больнице не застал. Принимал больных сам начальник больницы, доктор Николай Иванович Соколов. Мы не успели сговориться, какой же диагноз будет. Я решил сослаться на аппендицит. Хирург вниматель-

но осмотрел трех больных, одного за другим, — два были с грыжами, третий с трофической язвой обширной на голени. Настала моя очередь, и, не осматривая меня, доктор Соколов встал и вышел на улицу.

Нас принимал местный санитар. У меня не оказалось белья, и это в высшей степени затруднило прием. Но все же какую-то рваную пару завхоз мне выдал, и меня отвели в палату, такую же точно, как все палаты, в которых я лежал на Колыме. Тут же я заснул глубоким сном. К вечеру проснулся, у койки стоял обед и ужин, я все съел и опять заснул. Поздно вечером меня разбудил санитар:

— Тебя вызывает врач.

Я пошел. Андрей Максимович жил при отделении. Стояла каша, чай, сладкий чай, махорка лежала.

— Вы ешьте и рассказывайте.

Так я ходил каждый вечер к Андрею Максимовичу. В это как раз время он и рассказал мне свою жизнь. У него недавно умер фельдшер-итальянец. Я стал работать санитаром, ставить градусники, ухаживать за больными.

Но Андрей Максимович договорился с Соколовым, что будет учить меня на фельдшера, держать на истории болезни. Дал мне учебники, их было очень немного. Кое-что рассказывал, но эти занятия почему-то были утомительными для Андрея Максимовича. Андрей Максимович рассказал про историю своего конфликта со Шербаковым¹, а раз сказал так:

¹ Подполковник Шербаков, начальник санотдела, отправил тяжело больного туберкулезом А. М. Пантюхова в Северное горное управление (Усть-Неру), чтобы разлучить его с лагерной женой доктором О. Н. Поповой.

— Все люди, с которыми вы встречались на Колыме, одетые в белые халаты, — не фельдшеры и не врачи по специальности. Вам нужно обязательно научиться этому, в сушиности, простому делу.

Я стал заниматься. Поэтому каждый раз, когда в больницу поступал какой-нибудь интересный больной, Андрей Максимович будил меня и заставлял смотреть и запоминать. Так однажды Андрей Максимович показал мне больного с газовой гангреной. Больной умирал.

На прииске рубили руки в это время, но саморубов не освобождали от работы — посылали топтать дорогу, а летом заставляли мыть золото одной рукой. Саморубы — это больше самострелы, капсюль в руку — и взрыв сносит ладонь. [Очерк] «Бизнесмен» рассказан мне доктором Лоскутовым, но я и сам знаю много подобных случаев. Когда же стали посылать на работу с культями руки, — стали взрывать ноги. Это было еще проще, капсюль в валенок — и взрыв. Больной с газовой гангреной залежался на прииске. Не было машины довести. В чертах лица больного я с трудом узнал одного из своих колымских врагов, помощника Королева, который избивал меня за плохую работу. Фамилия его была Шохин. Шохин умер на моих глазах.

Вскоре настал день, когда Андрей Максимович Пантюхов вызвал меня и сказал:

— Вот что, хорошо, пока мы вместе. Колымская судьба разлучает быстро. Ну, отдохнете вы месяца два, ну, поработаете, ну, нравимся друг другу. Но все это слишком непрочно. По-колымски непрочно. Есть возможность самым решительным [образом] изменить вашу судьбу. Есть запрос из Магадана на фельдшерские курсы годовые с программой, очень

уплотненной. Если вы кончите такие курсы, это даст вам права на место под солнцем на все время вашей жизни на Колыме. Нам дают разрешение послать двух человек. Соколов согласен послать от больницы, или, вернее, от санчасти Сусумана — Соколов одновременно начальник санчасти, — согласен послать вас и еще одного человека. Решайте. Я вам советую не обращать внимания на меня, я справлюсь со своими делами сам, и не упустить этой возможности. На курсы принимают бытовиков и 58 пункт 10, до десяти лет срока. У вас, кажется, именно 58 пункт 10 со сроком 10 лет.

— Именно так.

— Тогда и думать нечего — ваше решение.

Через два-три дня на рассвете машина повезла в Магадан меня и Кундуша на фельдшерские курсы. Это было ранней весной 46-го года — февраль или март. Оттепель была.

Я приехал в Магадан, держал экзамен на фельдшерские курсы, окончил их. Держал экзамен, получил права и начал фельдшерскую работу в центральной больнице УСВИТЛа, на 23-м километре магаданской трассы. Рассказ об этом, документальный до предела, есть в моей записи «Курсы», а также «Вейсманист».

[На 23-м километре]

В кладовке, несмотря на страшный мороз и мохнатые наросты инея на окнах, бутылках, пахло лизолом, карболкой — пахло вагоном, вокзалом. Мы легли в темноте на какие-то холодные банки, бутылки, ящики, обжигающие руки. Я зажег спичку бережно, пряча пламя ее в ладонях,

чтоб не было видно огня снаружи, сквозь дверные щели. Я зажег спичку на секунду, чтобы рассмотреть любимое лицо. Глаза Стефы с огромными черными расширенными зрачками приблизились к моему лицу, и я потушил спичку. Я положил ее...

Белый пар шел от наших ртов, и сквозь дверные щели мы видели звездное небо. Стефа на минуту завернула рукав, и тыльной стороной ладони я погладил ее кожу царевны — пальцы мои были отморожены и давно потеряли чувствительность. Я гладил, целовал руки Стефы, и казалось, что на них надеты перчатки, кожаные перчатки с обрезанными пальчиками, губы у меня не были отмороженными, я целовал жесткую, царапающую кожу рук и тонкую горячую кожу кончика каждого пальца.

Я хотел еще раз зажечь спичку, но Стефа не велела испытывать лишний раз судьбу.

Я вышел первым...

1953—1956 годы

В 1953 году я приехал с билетом до Чарджоу от Иркутска, рассчитывая на пересадку в Москве. На вокзале встретила меня жена, она жила в Москве после 1947 года. Я знал из ее писем: «Все формальности для того, чтобы жить в Москве вместе со школьницей-дочерью, я проделала». Из чего я сделал вывод, что она со мной развелась, что, разумеется, я одобрял всей душой и надлежащее письмо написал еще из Бутырской тюрьмы 16 лет назад. Когда я получил второй срок десятилетний в 1943 году, данный мне трибуналом в

Ягодном, я написал еще раз о том, чтобы она не связывала свою судьбу с моей из-за полной бесперспективности, вечной, как тогда я понимал.

В ответ я получил фотографию мою и ее с соответствующей надписью. Фотографию эту забрали у меня блатные из-за толстой пачки писем в бумажнике. Ничего, кроме писем, там не было, даже медной копейки, но было много фото. Я ожидал, что письма подбросят к стенке уборной на улице, как полагается по блатным законам. Но никаких писем никто не подбрасывал. Было это в Нексикане, когда нас собирали на пресловутый смертный этап в спецзону прииска Джелгала. Я сделал вывод, что письма уничтожены, очевидно, со злости, что не было денег. Это вполне в правилах блатной морали. Я просил у кого-то из блатарей, чтоб вернули хоть фото.

— Фото? Фото им самим нужно... Для сеансу...

Я понял и перестал надеяться. Я остался вовсе без фотографий. Такие фото имеют в лагере некоторое значение, небольшое, но некоторое все же имеют. И вот я кончил этот второй срок в 1951 году, работал фельдшером в центральной больнице, и, когда из центральной больницы в 51-м и 52-м году уехать не удалось, — уволился и поступил в дорожное управление в Адыгалахе, на поселке Барагон, где и встретил смерть Сталина, кровавую амнистию Берии, когда были освобождены только блатари...

Героическими усилиями мне удалось уволиться, почти чудом я перелетел эту пропасть Оймякон — Якутск, семь часов на «дугласе», а 16 лет [назад] этапом из Москвы с 12 января 1937 года.

На Ярославском вокзале в ноябре 1953 года я встретился

с женой и установил: мой паспорт колымский с 35-й статьей, то есть проживание в поселках не свыше 10 тысяч человек, — вовсе не обязывает проживать в Средней Азии. Можно и в Клину или в Калининской области, скажем, в Конакове.

Ночевать мы приехали на квартиру к какой-то реабилитированной партийке с дореволюционным стажем, которая уже возвратилась, и ей дали квартиру на Песчаной. Номер дома и фамилию партийки не помню. За столом было много народу, и хозяйка провозгласила тост за мое здоровье, сказав, что рада моему возвращению в Москву, что она надеется, что я докажу государству свою революционную преданность, что она вспоминает, как она, когда была лагерницей, не шадя себя, работала в портняжной мастерской на помощь фронту.

Я сказал, что у меня другие мысли об обязанностях гражданских и что ночевать в доме таких лагерных работяг не буду.

Пришлось экстренно менять квартиру. Куда? Наталья Александровна Кастальская — дочь бывшего директора консерватории композитора Кастальского — предложила свою комнату в консерватории. Там мы и ночевали. Там только невероятный сор, пыль, которая не убиралась несколько месяцев, если не годы. И узкий ход к дивану среди стопок книг. На следующий день я выехал в Калинин, а оттуда в Конаково — устраиваться фельдшером по своей лагерной специальности, на которую у меня был официальный документ. В горздравотдел мне пришлось подать заявление.

Конаково

Поскольку в фельдшерском деле я чувствовал себя весьма уверенно — образование, стаж лагерный, лагерный диплом, — я пытался найти работу именно по этой медицинской своей специальности. Поэтому я затратил много времени на поездку в Конаково, в райздравотдел, — переписка у меня цела, хотя с самого начала меня не оставляло ощущение, что я попал в железные колеса обыкновенной бюрократической вертушки.

Так как денег у меня было мало — поэту, фельдшеру, агенту снабжения равно надо питаться четыре раза в день, — то тоший кошелек подстегивал мою судьбу, заставляя то не доводить до конца дело, то не полагаться на обещания. Однако я еще держался, спал в вагонах, ждал решения. Надо мной висел дамоклов меч излишнего перерыва в стаже — тошую мою трудовую книжку, выданную на Колыме, разведочный, анкетный, охранительный метод угрожал подвергнуть ненужному вниманию «органов». Дело в том, что по тем временам разрешен был только двухнедельный перерыв в стаже — и для Дальнего Севера с прибавлением еще двух недель. И все. Между тем или, вернее, именно поэтому администрация тянула ответ, ставя меня в безвыходное положение. Это тоже один из принципов, не столько бюрократический, сколько охранительно-разведочный. Но я еще верил — волю я знал мало. В конаковском райздраве, где я хотел устроиться фельдшером, от меня потребовали характеристику с места работы, то есть из Магадана, из сануправления. За свой счет я отправил телеграмму туда и через неделю получил ответ, разумеется, самого секретного харак-

тера — у нас все было секретно, — где разрешалось прочесть ответ автору телеграммы, то есть мне. Смысл ответа был тот, что лагерный фельдшерский документ действителен только на Дальнем Севере, только в управлении Дальстроя и что права лечить больных людей я не имею. Заведующий конаковским райздравотделом не то что относился ко мне чересчур подозрительно и как-нибудь партийно плохо — скорее безразлично. Он предложил мне поехать в Калинин и там объяснить по поводу своего рабочего стажа и так далее. Звонил ли он в Калинин, не знаю. Калининский горздрав нашел выход другой, юридически вполне обоснованный, поскольку у меня нет документа, а фельдшерские курсы лагерные могут быть приравнены лишь к неоконченному сестринскому техникуму. Мне и давали разрешение на работу с оплатой, как медсестре в сельской местности с незаконченным образованием. По закону это выходило чуть более 200 рублей в месяц. Я даже не думал, что у нас в стране на 37-м году революции существуют такие официальные государственные ставки. Конечно, на двести рублей в месяц в 1954 году я жить не мог, фельдшерскую специальность приходилось бросить. В вагоне возвращался я из Калинина в Конаково, под постукивание колес я еще обдумывал варианты и возможности даже в таких условиях, перерыв в стаже ведь кончался. Я пришел в конаковский райздравотдел и выразил согласие на эту двухсотрублевую работу. Но вертушка только началась. Чтобы получить работу, нужна прописка. А чтобы прописаться — нужна работа. Это адский круг, хорошо знакомый всем, побывавшим в заключении, всем, хлебнувшим тюремной похлебки.

Я отправился на прием в местное НКВД — не помню уж

фамилии начальника, как и во всех этих учреждениях, чрезвычайно любезного. Начальник отказал.

— Нет, нет, только не бывших заключенных. К тому же в Конакове уже больше десяти тысяч жителей. Без работы я не пропишу, найдете работу, придете ко мне, все будет решено.

Я вернулся в райздрав.

— Как пропишетесь, так и получите работу.

Железные стенки клетки, вертушки я ощутил очень хорошо. На медицинской специальности приходилось ставить крест. Конечно, во время этих скитаний я не тратил денег на дома колхозника или гостиницы. Вокзал, только вокзал, вагонная койка — вечное мое прибежище, транзитная арестантская кровать. В это время я об этом и не думал. Я и не знал, что существуют какие-то иные способы спать, кроме вокзала и вагона.

Большие пожары

[история архива]

В 49-м году на ключе Дусканья вытолкнулось на [перо] нечто неукротимое, как смертельная рвота... Я устоял, оклемался, очнулся от этого потока бормотания смеси из разных поэтов и продолжал жить, к своему удивлению. Все первые стихи написаны мною на оберточной бумаге, предназначенной для рецептов. Я был фельдшер и по казенной разверстке получал бумагу по норме, сэкономил ее. Вскоре я выяснил, что можно и не носить с собой эти оберточные блокноты. Жил я в фельдшерской избушке, один, стало быть, скрыт — постыдные тайны стихотворения не откроются никогда.

Один — в этом вся надежда, если [пойдет] удача.

Двое — это сто процентов риска.

Родилась же в 37-м году горькая острота: «Человек разглядывает себя в зеркало при утреннем бритье — один из нас предатель».

У меня были свои подсчеты: все, что не вышло за изгородь зубов, — твое, все, что вышло, — может, твое, а может быть, и нет.

Сталин ненавидел стихи и не простил Мандельштаму. Выжал из Пастернака «Художника», живущего в соседстве с «поступком, ростом в шар земной».

На Колыме стихи не уничтожали, не жгли, как некие жертвы, а хранили бережно, чтобы исказить, дать ложное толкование и овеществить самым зловещим образом. В тех миллионах обысков, «сухих бань», по выражению Бутырской тюрьмы, стихов не находили никогда. Да я их и не писал. А если и писал, то уничтожал в каком-то ближайшем просвете разума.

В 49-м году я вернулся к записи. Лагерные начальники вряд ли отличили бы стихи, даже рифмованные, не верлибр, от письма заключенного. [Нрзб].

Лагерь и стихи?

Разобраться, на первый взгляд, было невозможно. Но тетрадка выросла, толстела...

В 1951 году я был освобожден по сроку и впервые задумался весной 1951 года, как сохранить свои стихи. Не вывезти к семье, а просто сохранить до какого-то часа, месяца, года — в чужих руках. В самих стихах, разумеется, не было ничего криминального. Самое либеральное — это «Камея», которую написал я на пленэре близ Оймякона в 1950 году.

Португалов, мой постоянный чтец, не посоветовал рвать.

— Выучить наизусть свои собственные стихи нельзя. Память — не такой инструмент, чтобы что-то надежно хранить. Ну, 20, 30 стихотворений можешь выучить, поверь моему актерскому опыту. Но не тысячу же! Как у тебя. Подготовка к отъезду, вручи Воронской...¹ Имя отца, традиция — дело верное. Тем более кто возьмет, прочтет: «Камея».

Разговор с Воронской я отложил до реальности отъезда — и стал записывать все стихи в две тетради с надеждой один экземпляр вручить Мамучашвили — даме последней Траута, а второй — Воронской.

И вот в двух пачках было по триста стихов. Каждое было просмотрено на свет, но еще и на звук, чтобы при всех обстоятельствах не возникло никакого [оттенка] тематического.

— Об этом не может быть и речи! У меня дочь, дочь!!!

Знакомый голос моей жены зазвучал в этом истерическом крике [Воронской].

— Да вы посмотрите, это стихи.

— Не хочу и смотреть. Нет, нет, у меня — дочь!

Я оцепенел, пораженный. Португалов был поражен не меньше моего. Но билеты в автобус уже были заказаны, расчет уже получен, доплаты доплачены после трех лет работы в больнице. Я был тверд и ждал этих доплат. На то, чтобы сжечь стихи, оставалась у меня ночь и, конечно, не на природе, не на улице — где кто-нибудь выйдет и продаст. Но у меня была дезкамера, собственная дезкамера с хорошей тягой. Я приступил к сожжению. Оказывается, жечь на обыкновенном огне обыкновенную бумагу необыкновенно трудно.

¹ Воронская Галина Александровна, дочь А. К. Воронского.

Я провозился целую ночь. Вспоминаю два известных мне примера из классики, писателей-реалистов. Один — это Достоевский. Брошенные в печь на огонь деньги, миллион. Миллион ассигнациями или кредитными билетами, напечатанными на бумаге высших достоинств, на гербовой знаковой. Там пачка тлела в камине «Идиота», дезкамеры Достоевского, не менее часу, а то и больше, если их не помешивали кочергой. Кредитные билеты — бессмертны, и Настасья Филипповна ничем не рисковала, доводя до припадка бедного Ганечку. Кредитный билет в таком камине можно жечь час, да еще помешивать кочергой. Я подумал об этой сцене, поворачивая, измельчая в кусочки, мелкие крошки все, что было на дне дезкамеры.

Вспомнил я и другую сцену — Некрасова из «Русских женщин»: камин затопили и одни читали и бросали, другие бросали, не читая.

В дезкамеру было опасно бросить что-либо, не читая. И ясно, что огонь просто не берет моих стихов, пока сам я по кусочку не верну в огонь листки.

Пришлось поехать с тетрадкой, где было записано открыто два-три стиха. Это, хоть и просмотрят, не вызовет подозрения.

Главная же опасность была не в том, что я провезу или не провезу стихи, а в том, что мои попытки что-то спрятать, сохранить угадают профессиональные блатные и, получив разочарование от собственной попытки, передадут начальству с очередным доносом. Начальник передаст еще выше, никогда не рискнет пресечь эту караульную цепь, и моя тетрадка доплывет до Москвы, до центра. Все рассмотрят со следователем, криптографом, лупой и кое-что если захотят, то найдут. Вот в чем был главный риск.

Отец мой был человек тшеславный — церковный службист прогрессивного направления¹. В огромном дорожном чемодане заграничной марки хранился его архив. Там не было никаких тайных рукописей, был только ход наверх, отраженный чисто должностными копиями. Фотопортреты портативные, не похожие, но на это отец плевал — для показа гостям многочисленные фото, фото — портативный, удобный документ, [приятный] гостям.

— Вот я на пароходе на Аляске, вот я в богадельне Алеутских островов. Вот я с ружьем, целюсь в какую-то чайку...

По тайным правилам своим отец разрешал себе рыбную ловлю и запрещал охоту.

Никогда на эти фото я не мог смотреть [потом] без истерики, только в группе, только в куче родственников.

Заглядывал я в этот архив случайно и по просьбе матери. И не потому, что я не интересовался архивом.

Каждый раз на протяжении многих лет и до самой смерти моих родителей я не успевал даже подумать [о них], как слезы подступали к гортани, и я плакал².

Вторая причина. Мать не один раз говорила, уже после смерти отца: «Оставь все, что, может быть, будет нужно».

Как решить, что оставить и что сжечь? Если сжечь, это значит — уничтожить. Эта причина — общая для каждого архива, для каждого прикосновения к чужой бумаге. Как решить, что сжечь и что оставить. Смелость архивиста или

¹Тихон Николаевич Шаламов (1868—1933), вологодский священник. С 1893 по 1904 г. служил в Североамериканской епархии на о. Кодьяк (Алеутские острова).

²Родители Шаламова после того, как дети разъехались, в течение почти десяти лет, до самой смерти, оставались в Вологде совсем одинокими и беспомощными.

юриста... Сам уклонился от такого решения. В чужой-то жизни как решать, а в смерти и тем более. Словом, с отцовским архивом я сознательно тянул, как делают все, когда хотят уклониться от решения.

Наконец, был и еще один юридический вопрос. Я все откладывал да откладывал разборку этих семейных бумаг. Мне хотелось взглянуть на эту драму со стороны и на некотором расстоянии по времени. Но выяснилось, что я все для смерти оставляю.

Я трусил, оставляя и эту попытку. Чего я хотел (кроме хладнокровия)? Чтобы кто-то другой решил за меня? Нет, не потому я не разобрал архива. Вся моя писательская привычка требует, чтобы я держал в руках, видел предмет, когда я пишу. Пусть это будет какое-нибудь пальто, лоскут. Я знаю, что перо мое будет пушено в ход. А в архиве, там, правда, была косынка матери, рабочее пальто отца для кормления коз.

Много раз подходил я к чемодану-архиву и возвращался из-за подступавших слез, но думал, что настанет день и час, когда я смогу открыть крышку, [нрзб] и я напишу о страшной трагедии матери своей.

— Твой отцовский архив Маша¹ сожгла, посмотрела, что там есть, — не нашла ничего важного и сожгла...

Этот разговор был в Москве в 1953 году во время одного из моих приездов в столицу из Туркмена (есть такой в Калининской области).

Ну, что тут сказать? Была война. Эвакуация. Я сам на Колыме не написал ни одной строки. Это сейчас кажется, что архив мог быть сохранен, а в 1941 году вряд ли и сам я

¹ Мария Игнатьевна Гудзь, сестра жены Шаламова.

принял бы другое решение. Мне в архиве нужна была мать. Семья уничтожила и мой архив, вместе с архивом моего отца сожгла — перед отъездом из Москвы во время эвакуации. Я не нашел в себе силы для обиды.

В конце концов, родные есть истинный источник всякого сожжения. Жгут же ради детей или руками сестер, матерей. В 1927 году, когда я жил в университете, родная моя сестра¹ сожгла все до последней бумаги, письма — Асеева, Третьякова... Все просто потому, что я некоторое время был там, у нее, прописан.

Отношение моей семьи не отличалось ничем от этой шумной паники.

Жена сохранила напечатанное и уничтожила все написанное. Кто уж так рассудил... Сто рассказов исчезли. Дерьмо, которое было сосредоточено в архиве «Октября», сохранялось, а сто неопубликованных рассказов (вроде «Доктора Аустино») исчезли.

Даже в 1956 году не было поздно повторить карьеру генерала де Голля. Но для этого нужна была опора пошире и покрепче, чем моя семья тогдашняя, которая в трудный момент предала меня с потрохами, хотя отлично знала, что, осуждая, толкая меня в яму, она гибнет и сама. И действительно, уже в июле 1937 года мою жену выслали на десять лет в Чарджоу, и только после войны, энергично освобождаясь от формальных оков прошлого, она вернулась в Москву, ради, разумеется, будущего дочери. Больше фальши, чем забота о будущем, в человеческом поведении нет. Каждый знает, что тут сто процентов ошибок.

¹ Галина Тихоновна Сорохтина.

[Реабилитация 1956 г.]

...Чтение продолжалось около трех часов, ибо формула моей реабилитации — «по вновь открывшимся обстоятельствам» — требует, конечно, такой именно работы.

Мне пожали руку каждый из пяти и секретарь шестой, вручили в руки справку — действительно, роковой документ.

— Вы где живете?

Я сказал.

— Мы устроим вас в Калинин на хорошую работу. В Москву только ездить не надо.

— Я могу дать подписку о невыезде.

— Нет, подписку не надо, — внезапно вмешался председатель, — а просто не надо ехать в Москву. Жена ваша ни в чем не виновата.

— В материалах дела не было ни строчки о моей жене.

Потом я сообразил, что это чисто общие суждения. Реабилитация внесла в столицу такой жестокий мордобой и за то, что было, и за то, чего не было. Мордобой — родственник — стал своего рода общественным явлением.

Доктор Лоскутов написал мне:

«Берегите справку. Сразу же снимите с нее десять, сто копий и только тогда выходите на улицу».

1970-е годы

Берзин

Схема очерка-романа

«Как теперь убивают? Приводят в исполнение?» — равнодушно думал Берзин¹.

Берзина привели с допроса, и он лежал теперь в тюремной камере вниз лицом.

Берзин был длинен — огромные ступни свисали с койки. Он поглядел на свои ноги, на решетку в окне и вспомнил Феликса Эдмундовича. На утверждение к Дзержинскому принесли какой-то хозяйственный заказ, разговор шел о размере нар, и Берзин вошел в кабинет предчека как раз во время этого разговора.

¹ Берзин Эдуард Петрович (1894—1938), участвовал в раскрытии заговора Локкарта (1918), возглавлял строительство Вишерского химического завода, в ноябре 1931 г. направлен на Колыму, с 3 декабря директор Дальстроя, 19 декабря 1937 г. арестован, 1 августа 1938 г. — расстрелян.

— Нет, нет, — говорил Дзержинский. — Не скупитесь. Не один восемьдесят пять, а один девяносто и даже...

Дзержинский смерил глазами заведующего своим секретариатом — Эдуарда Петровича Берзина и чуть улыбнулся:

— Один девяносто пять. Вот так. Один девяносто пять. Все.

Это была шутка.

Или пророчество?

Давно это было. И нынче теперь не те — короче. Берзин перевернулся на спину и согнул ноги в коленях.

Так как же теперь «приводят в исполнение»? При Дзержинском это было обязанностью, правом и долгом того самого следователя, который вел дело. В этом была логика. Романтическая логика и мудрость. Если ты, следователь, доказал суду, трибуналу, что подсудимый — враг и достоин смерти, если ты убежден, что он виноват, если ты добиваешься для него смертного приговора, — имей мужество убить сам, своей рукой. И знай, что всех, кого по твоему докладу осудят на смерть, убивать придется тебе самому. А ведь убить своей рукой совсем другое дело, чем ставить «птички» на докладе или буквы «вин» на протоколе заседания, или написать «К расстрелу». Но все это было в романтические времена Феликса Дзержинского. Давно уже следователи были избавлены от необходимости убивать. Были профессиональные «исполнители». Берзину никогда не приходилось встречаться с такими. Но он знал — «исполнители» есть в том самом учреждении, где он работал. Только думать об этом сейчас не надо. Надо ждать. Может быть, все исчезнет, как кошмарный сон. Или как-нибудь известить Молчанова? Но Молчанова нет. Артузова? Но Артузов расстрелян.

Берзин поморщился. Надо просто ждать. Ждать смерти. Это он знал со вчерашнего дня.

Здесь, в этой бывшей гостинице, давно превращенной в тюрьму, мало что изменилось — Берзин помнил эти коридоры и комнаты, когда приходил сюда на «обходы» вместе с Дзержинским — сейчас дождаться высокого начальства нельзя. На широкие окна были надеты свинцового цвета козырьки — «намордники». Надзиратели, обутые в валенки, ходили в коридорах по толстым коврам. Когда водили на допросы, надзиратель шел сзади арестованного, негромко приговаривая: направо, налево. На поворотах надзиратели прищелкивали пальцами, спрашивая этим сигналом у других надзирателей — свободная ли дорога, не открыта ли чья-нибудь камера. Ответом был не шелчок, а хлопки в ладоши, тоже негромкие. А если не хлопали, то надзиратель останавливал арестанта.

Закрыв глаза, Берзин думал о своей жизни. Для чего он жил? И отвечал: для революции, для партии... Всю жизнь он старался выполнить свой долг, послужить как можно лучше. Успехи были, что там говорить. После дела Локкарта он говорил с Лениным, и деньги эти локкартовские именно по совету Ленина были переданы латышам. Успех или удача? Удача выполнить долг — так тоже можно сказать. А главное — он считал — и придумал это для себя еще в юности, что каждое новое дело, за которое он брался, должно быть еще важнее, еще значительнее. И все кончается тюремной камерой на Лубянке.

Он командовал дивизией латышских стрелков — и латыши дрались, победоносно сокрушая белогвардейшину на всех фронтах гражданской войны — много ли латышей ос-

талось живыми? Латыши здорово послужили революции, а он, Берзин, был их прославленным командиром. Тогда же он и встретился с Локкартом, с английским послом, и с Сиднеем Рейли — знаменитым английским разведчиком и заманил шпионов в ловушку. Осторожный Рейли бежал, а Локкарт был арестован и обменен позднее на Литвинова, который сидел в английской тюрьме. Вот так подвиг Берзина вошел в историю советского государства. Гражданская война кончилась, Берзин был молод, полон сил. Он заведовал секретариатом у Феликса Эдмундовича, а когда Дзержинский умер — ушел на новую работу.

Это Дзержинский с его постоянным интересом к переделке людей, к разным коммунам беспризорников внушил ему, Берзину, свою страсть, свою любовь. В это время из Соловков, из УСЛОНа приходили дурные вести о «Курилке», о «выстойке на комарах», о побоях, о произволе, о пьянстве лагерного начальства, и соловецкими делами занималось правительство. Было решено строить эти дела по-новому, найдя людей, которые понимали бы, как трудна наука помогать человеку, которые понимали бы, как опасна и тяжела власть над бесправными людьми.

Ему, Берзину, был доверен первый эксперимент такого рода. Он был назначен большим начальником на Северный Урал — на строительство Вишерского бумажного комбината.

Своим заместителем по лагерной части Берзин взял Ивана Гавриловича Филиппова, члена коллегии ОГПУ, бывшего путиловского токаря. Старый чекист, Филиппов был бессменным председателем знаменитых Соловецких разгрузочных комиссий. Филиппова снимали в документальном фильме «Соловки», а блатные поэты сочиняли о нем стихи:

Каждый год под весенним дождем
Мы приезда комиссии ждем.

Мотивчик немудреный, но запомнился до сих пор.

Филиппов сразу согласился, и Берзин считал это своей большой удачей. Берзин знал свой главный недостаток: то, что он суховат с людьми, не всегда умеет выслушать до конца, что меньше думает о людях, чем о деле. Подчиненному еще неясно то, что ясно самому Берзину, а Берзин готов рассердиться и, случается, сердится. Часто кажется, что русский язык он знает недостаточно, и хотя он все великолепно понимает — переспрашивает. Хотя внешне и не горячится — проклинает и себя и собеседника. И память на людей, на лица, на фамилии была у него всегда плохая. И людям он не верил. Верил только одному-двум близким к нему людям — Филиппову, например, — и понимал, что этого — мало.

Филиппов был великолепным дополнением к нему, Берзину. Полный, добродушный, веселый Филиппов любил людей, любил и умел делать добро людям. Ведь людям делать добро трудно — надо не задеть самолюбия, надо угадать или понять чужое сердце, если не чужую душу.

Филиппов знал все и всех. Авторитет у него среди лагерных работников, среди заключенных был огромным, и когда Филиппов согласился принять должность заместителя начальника Управления по лагерю — Берзин понял, что его мечта осуществится.

Вдвоем с Филипповым он выехал тогда на Северный Урал от Соликамска, где кончалась железная дорога — короткими переездами к северу, до Вижаихи километров сто, немного больше.

— Этап пройдет в пять суток, — говорил Филиппов.

Когда это было? В 1929 году. Началось то, что называлось после «перековкой», «Беломорканалом», «Медвежьей горой».

Начало всей «перековки» было положено Берзиным в том месте, где сейчас стоит город Красновишерск.

Да, у него тогда была мечта, идея.

Ноги затекли, и, как только Берзин лег на правый бок, Вишерские горы — красные в июле от земляники — такая была там пропасть ягод в урожайные годы — отошли куда-то в сторону.

Берзин встал, подошел к двери. Живой человеческий глаз — глаз надзирателя виднелся в «волчке». Берзин отошел и сел на койку.

Как же теперь убивают? Берзин рассердился. Разве нельзя заставить себя не думать о смерти? Тотчас же Вишера зажурчала под его окнами, захрапел рысак Санька, на котором зимой тридцатого года катал он своих дочерей. Дочери всюду были с ним. Жена Берзина умерла, перед смертью взяв с него честное слово, что он никогда не женится. И он дал слово и держал его.

Какая же у него была мечта на Вишере? На «Вишхимзе» — «Строительстве Вишерских химических заводов» — так называлось его, берзинское, дело, его эксперимент. Все заключенные должны были работать каждый по своей специальности, а если специальности нет — лагерь дает ее — и не только краткосрочными курсами, а основательной учебой. Было открыто множество мастерских, больших и малых, и каждый заключенный мог требовать и рассчитывать, что будет работать свою работу. Для художников были созданы

мастерские, где занимались не копированием «Ивана Грозного» или «Мишек в лесу», а работали пейзажи и портреты по всем правилам. Картины увозили в Москву и там продавали. Тогдашний УВЛОН, превращавшийся в УВИТЛ, названный «исправительно-трудовым» вместо лагеря «особого назначения», быстро рос, впитывая в себя домзаки и исправдома. За 60 тысяч человек было в этом лагере. Среди них отыскивались 4 бахромшика, и бахромшики были свезены и работали по специальности. Заработок заключенных на Берзинковско-Химстрое — стройке первой пятилетки — был выше заработков вольнонаемных рабочих. Лагеря росли. К январю 1931 года вместо УСЛОНа было 16 больших лагерей с почти миллионным населением.

И Берзин увидел, что все новые стройки просят, требуют людей, и не просто людей, а людей-арестантов, рабочую силу из заключенных. Лагеря открывались в каждом городе, в каждой области — Бамлаг, Рязанлаг, при каждом даже небольшом строительстве. Только на Днепрострое не было лагерей.

Берзинская идея была раздавлена в болотах Москанала, где уже ни о каких мастерских, ни о какой учебе не было речи, а говорили только о процентах, о выработке и физической силе, которая удивительным образом оценивалась начальством как сила моральная.

О переделке человека говорить перестали, и большие начальники отводили в сторону глаза, едва Берзин заговаривал об этом. В арестантской рабочей силе, в рабском труде видели спасение от всех зол. Все это было вовсе не похоже на робкие опыты Берзина и Филиппова над человеческим сердцем в лесах Северного Урала.

Берзин понял, что духи, которых он выпустил из бутылки, слишком могучи. Он испугался.

В 1932 году вместе с Филипповым представил правительству докладную записку, изложил новую идею, Колымскую.

Занятные люди окружали Берзина на Вишере. Был Степанов — когда-то эсер-максималист, политкаторжанин — командир сводного отряда бронепоездов во время гражданской войны на Тамбовшине, красный командир, который помог бежать Антонову — забытое историей дело. Забудется ли Локкарт? Нет, не забудется. Арест Локкарта — большая история, Антоновский мятеж — малая.

Был Цвирко — лихой пограничник, который, возвращаясь из отпуска, напился в Москве и ночью открыл стрельбу по Аполлоновой колеснице Большого театра — очнулся на Лубянке без ремней, без пуговиц и петлиц и не вернулся на заставу, а этапом ушел на три года в Вишерские лагеря и там был верным помощником Берзина по «перековочным» делам.

Был Шан-Гирей, шестидесятилетний татарский князь из свиты Николая Второго. В семнадцатом году, когда Корнилов шел на Петроград, Шан-Гирей командовал Дикой дивизией. Вместе с другими офицерами Дикой дивизии перешел на службу в Красную Армию. Командовал корпусом в операциях против Энвера-паши, против басмачей. Энвер ушел, прорвался, и что-то было неясное в обстоятельствах его бегства. Шан-Гирей был лично знаком с Энвером, встречался с ним при дворе. От командования корпусом Шан-Гирей был отстранен, демобилизован и в половине двадцатых годов работал как литературный критик в только что созданной тогда газете «Комсомольская правда». Тогда Шан-Гирей взял себе

псевдоним — Тамарин-Мирецкий. С этим псевдонимом его и судил трибунал в 1927 году, когда басмаческие дела да кое-какая мемуарная литература на Западе дали обвинительный материал. Тамарин получил три года и уехал в Вишеру. Он отрицал свою связь с Энвером, да и срок наказания был слишком нелеп — ведь дело шло об измене родине. На Вишере в невиновность Тамарина поверил один человек. Этим человеком был Эдуард Петрович Берзин. Татарский князь Шан-Гирей, по воспитанию своему, принадлежал к тому кругу, где не растят бездельников — всякий, кто читал мемуары Игнатьева, обратил, наверное, внимание на воспитание сыновей Председателя Совета Министров. В лагерях, в ссылке давно обнаружилось, что царские офицеры почти всегда имели какую-нибудь специальность ремесленного типа. Это были любители — сапожники, столяры, агрономы. Страстью Александра Александровича Тамарина-Мирецкого, князя Шан-Гирея, были цветы. Цветоводство и садоводство. Берзин разрешил организовать, как это тогда называлось, «сельхоз» вблизи лагеря, назначил шестидесятилетнего князя заведующим — и дело пошло. «Сельхоз» все рос и рос, свежие овощи часто попадали к столу заключенных, а на стол Берзина старик ежедневно ставил только что срезанный живой цветок — розу, астру, бегонию...

В 1930 году старика неожиданно вызвали в Москву — за несколько месяцев до окончания срока заключения.

— Хорошего не жду, — говорил Тамарин, уезжая.

Бывший чекист, Берзин понимал еще лучше Тамарина причину вызова. Конечно, какие-то новые материалы по энверовскому, не иначе, делу. Но Берзин, бывший чекист, по-

нимал и другое — эти новые сведения, особенно если они из заграничного источника, могут быть просто провокацией.

— Во всяком случае, что бы то ни было, если не освободят, приезжайте опять сюда. Место — за вами. — Берзин с трудом улыбнулся — улыбаться он не умел.

Незадолго до вызова к Тамарину приехали его мать — восьмидесятилетняя старуха — и сестра, чуть помоложе самого князя. Сестра поступила на работу — машинисткой в контору Вишхимза. И обе женщины стали ждать сына и брата.

Через полгода Тамарина привез спецконвой. Все предположения были верны. Дело его было пересмотрено, и вместо трех лет Тамарин получил десять. За границей за эти годы были опубликованы мемуары каких-то энверовцев, где было рассказано о личном знакомстве Энвера и Тамарина. Берзин оказался прав. Но он верил старику. Тамарин был возвращен на Колыму. Здесь Александр Александрович организовал знаменитый «КОС» — Колымскую опытную станцию — близ будущего совхоза «Эльген» и стал пионером сельскохозяйственного освоения Дальнего Севера, добился больших успехов: по представлению Берзина был досрочно освобожден, а в 1936 году — к трехлетию Колымы — награжден орденом. Тамарин умер раньше, чем Берзин был арестован.

«Сейчас его тоже бы арестовали, — думал Берзин. — И все бы началось снова: Энвер-паша, Дикая дивизия, царь...»

Как все это было с Колымой — главным делом его, берзинской, жизни?

Он не просто был назначен генерал-губернатором Восточной Сибири — как Пестель, как Муравьев.

Он был директором Дальстроя, хозяином жизни и смерти десятков тысяч людей, он был высшей партийной инстанцией, главной советской властью золотого края, командующим пограничными войсками на границе с Японией и Америкой. Он был высшим представителем Советской власти для десятков национальностей, населяющих Колыму, — юкагиров, эвенов, якутов, чукчей...

Этого было много для одного человека, но все это было не главное.

Главных дел было два — земля и люди, или, по Дзержинскому, люди и земля.

О том, что на Колыме много золота, — известно триста лет со времен походов Стадухина¹, а может быть, и раньше. Геологи давно писали, что Колыма и Аляска — «крылья» золотого пояса, главные сокровища которого под морским дном. Золото моют на Колыме не одну сотню лет — в краткие летние месяцы. Моют сибиряки, японцы, американцы. Старательским лотком, хищническим способом.

Но никогда правительство не решалось направить сюда в стосуточную ночь, на шестидесятиградусный мороз людей насильно, принудительно. Остров Сахалин хоть и почти рядом, но там теплое течение Куросиво, а не ледянящий душу и тело полярный ветер Чукотки.

Как может быть повторен Клондайк? Какими «длинными рублями» можно заманить сюда на камень, на лед? Как и кем можно колонизовать край?

Опыт колонизации подобного рода велик и разнообразен.

¹ Стадухин (Михаил) — якутский «служилый человек», один из известных землепроходцев по Сибири. В 1644 г. открыл р. Колыму.

зен. Австралия, Британская Гвиана, Кайенна, царский Сахалин, Байкало-Амурская «Колесуха»....

Но холод, холод...

Золота тут много. Билибин и Цареградский уже вычертили первые подземные карты. Тут было не только золото, но и то, что называется «вторым металлом» — все от олова до урана. Но главное — золото, первый металл. Расчеты показали, что все окупится, что можно пойти на огромные расходы — миллиардные расходы — зафрахтовать пароходы Севморпути на несколько рейсов, построить свои суда — завезти лучшие продукты, лучшие инструменты, лучшую одежду — и начать...

Построить дорогу через весь край — восьмую часть Советского Союза. От главной «трассы» отвести в сторону «зимники», «временки», перекрестить шоссейными дорогами из местных материалов всю берзинскую страну, построить прииски, завести бутары и драги. Построить морской порт в бухте Нагаево, заложить новый город — столицу золотого края. Все окупится золотой добычей.

А люди? Кроме энтузиастов-начальников, приехавших с Вишеры, и всех, кто захочет работать честно и энергично, хотя бы в погоне за «длинным рублем», — заключенные.

Вопрос не простой и не потому, что будет знать заграница, как она знала о Соловках, о Вишере; Берингов пролив — рядом. Зачеты рабочих дней уже применялись по всей стране, по всем многомиллионным лагерям Союза.

На Колыме надо сделать так, чтобы при любом сроке каждый осужденный мог выйти на свободу через несколько месяцев, да еще с большими деньгами. Расценки были одинаковыми для вольных и заключенных. Работай и, если ты хо-

рошо работаешь — через лето, максимум два лета ты, десятилетник, будешь на свободе. С большими деньгами. Тебе дается возможность пойти по пути настоящей жизни — если ты захочешь.

Здесь вишерская «работа по специальности» была забыта... Здесь все кричали «Скорей, скорей!». Сломалась машина... Шофер, бери новую и — скорей, скорей! Завози лучшие продукты, одежду, инструмент.

Работали десять часов летом без выходных, только с «пересменком», суточным отдыхом раз в десять дней.

Но уже в октябре работали 8 часов, в декабре — шесть, в январе — 4. В феврале кривая поднималась — шесть, восемь, снова десять.

«В один день Колыма добывает золота столько, что на эти деньги можно прокормить один день целый мир», — писал Берзин в «Правде» в 1936 году, — когда отмечал трехлетие своего дела, когда были построены первые шестьсот километров знаменитой Колымской «трассы».

В 1937 году на Колыму в качестве «очередного пополнения» прислали осужденных «троцкистов» — как их тогда называли. Среди них было много людей, которых Берзин знал и лично. Они прибыли со странным предписанием: «использовать только на тяжелых физических работах», «запретить переписку», сообщать об их поведении ежемесячно.

Берзин и Филиппов написали докладную записку: что этот «контингент» не годится в условиях Крайнего Севера, что людей заслали без надлежащих медицинских актов, что в «этапах» много стариков и больных, что девяносто процентов новых арестантов — люди интеллигентного труда — ис-

пользование которых на Крайнем Севере прежде всего неэкономично.

Берзин был вызван в Москву телеграммой и арестован прямо в поезде.

Сейчас он лежал в тюремной камере и ждал смерти.

«Если арестуют Ивана Гавриловича, — думал он о Филиппове, — он не выдержит тюрьмы — умрет, сердце плохое». Берзин похвалил свое здоровье — здоровья хватило и на допросы, и на весь этот кровавый бред.

— Ты японский шпион! Отложиться задумал, передать Колыму Японии!

Лицо и жесты следователя кого-то Берзину напоминали.

— Ха-ха! Да это Локкарт! — с удивлением вспомнил. Конечно, тот давно в Англии, его ведь тогда обменяли на Литвинова, давно, наверное, умер, — и все же — какое сходство. И Берзин улыбнулся.

— Смеешься, сволочь! — закричал следователь и ударил Берзина по лицу. На уголке губ долго держался вкус соленой влаги.

«Сейчас я его ударю», — подумал Берзин. Но в кабинет уже вбежали люди в форменной одежде.

Сколько часов он просидел на допросе? Не одни сутки — несколько следователей менялось за допросным столом. Каждый, «отработав» свою смену, уступал место другому, и допрос продолжался. И Берзин сидел, падал от усталости, его поднимали, сажали на стул, и допрос начинался снова. Это называлось модным словом «конвейер».

Сейчас уже целые сутки не вызывают. Но скоро начнут все с начала. Главное теперь — достойно умереть. Не расте-

ряться, не поддаваться на обман, не испугаться, не просить о пощаде.

«Что-то случилось в царстве датском», — горько подумал Берзин. Впрочем, он знал, что случилось, еще со времени самоубийства Орджоникидзе знал. Ну, что ж!

Загремел ключ, и дверь камеры открылась.

— Кто здесь на букву «Б»? — закричал незнакомый надзиратель — рыжий, сытый, в пенсне без ободков.

Берзин встал и надел сапоги.

— Идите вперед. Налево. Направо. Вниз. Подождите. Идите. Направо. Опять направо. Вниз. Еще направо.

«Сейчас он выстрелит мне в затылок», — подумал Берзин.

Яркий синий огонь вспыхнул в его мозгу, и Берзин перестал жить.

Рыжий в пенсне подошел и выстрелил еще раз, в голову мертвого Берзина — как полагалось по инструкции.

1960-е годы

Несколько слов о Хренове

«Человек из песни» — Иулиан Петрович Хренов, которого звали уменьшительно то Ульян, то Ян, бывший директор Краматорского металлургического завода, репрессирован не в 1938 году, как полагает доцент Кемеровского института Борис Чельшев (Новокузнецк) («Литература и жизнь», 16 декабря 1962 г.).

С девятого августа 1937 года Хренов, в числе тысяч других «троцкистов», плыл в верхнем трюме парохода «Кулу» из Владивостока в бухту Нагаево (пятый рейс). Здесь-то, в трюме тюремного парохода, и обнаружилась «причастность» Хренова к литературе. Чемодан Яна был свален, как и у всех, в общую кучу «вешей». На руках у арестантов не было ничего, кроме свитеров, пиджаков, брюк, — наиболее предприимчивые выменивали на эти вещи хлеб, сахар, масло у команды... Но таких, опытных и энергичных, было немного... Остальные же хранили свитера и домашние вещи до севера, до конца...

Среди этих тысяч людей лишь один человек был с книгой — Ян Хренов. Книга, которую он взял в трюм, берег и перечитывал — однотомник Маяковского, с красной корочкой. Желаящим Хренов отыскивал в книге страницу и показывал стихотворение «Рассказ Хренова о людях Кузнецка». Но впечатления стихи не производили там, в пароходном трюме, никакого, и перечитывать Маяковского в такой обстановке никто не собирался. Не перечитывал стихи и сам Хренов. Грань, отделяющая стихи, искусство от жизни, уже была перейдена — в следственных камерах она еще сохранялась.

Хренов был бледен особой тюремной бледностью, кожа на пухлом лице его была с зеленоватым отливом.

Я не думаю, что Хренов возил книжку в качестве визитной карточки. Рядом с ним на нарах лежали люди, на которых такая визитная карточка не произвела бы ни малейшего впечатления. Притом любителей Маяковского в те годы было немного. Свистопляска вокруг имени поэта только-только начиналась. Просто Хренову было приятно как можно долее сохранить, держать в руках перед глазами это особенное свидетельство былого.

В дальний путь тоже такую рекомендацию не имело смысла брать. Лагерное начальство и блатари не любят стихов. А от тех и других зависела судьба Хренова.

В том мире, куда плыл Хренов, было благоразумнее забыть о стихах, притвориться, что ты никогда стихов не слышал, чтобы не вызвать на себя огонь начальства, блатарей и даже собственных товарищей.

Через пять суток пароход «Кулу» пришел в бухту Нагаево, 14 августа 1937 года, три дня «обших работ» на устрой-

стве шоссе в бухту Веселую — огромная работа «для дяди» — классическая работа тюремного «этапа».

Через три дня загудели машины и одна за другой помчались по шоссе вверх на север от Магадана. Это шоссе в августе 1937 года было всего шестьсот километров (сейчас оно более двух тысяч километров) и тянулось до Ягодного, до поселка Ягодный.

В стороне от Ягодного лежал прииск «Партизан». Туда-то мы и прибыли из Магадана в одной машине с Хреновым.

Хренов был встревожен, молчалив, томик Маяковского был упрятан в чемодан. Больше я этот томик в руках Хренова не видел. Позднее, в декабре 1927 года, Хренов говорил мне, что однотомика Маяковского отобрали на одном из многочисленных обысков — тогда, когда отбирали все «вольные» вещи, оставляя лишь казенное.

Болезнь спасла Хренова. Серьезное заболевание сердца, да еще камни в печени дали возможность Хренову работать на «легких работах», получать повышенный паек, ибо проценты выполнения норм пересчитывались, и хоть Хренов работал в бригаде — «трановшиком» или с метлой по забою, — но личный его паек пересчитывался с большой скидкой. Пайков было три: «стахановский» — начальство стремилось быть «с веком наравне» (свыше 110%), ударный (от 100 до 110) и производственный (от 80 до 100). В те сказочные времена родилось выражение «стахановцы болезни».

Вот стахановцем болезни называли и Хренова.

Потом пошли повальные расстрелы, аресты, но Хренов как-то уцелел. В зиму 1938 года Ян Петрович работал «пойнтистом» — бурил горячим паром, что тоже было посильно,

несмотря на холод и голод. Это была одиночная работа, не зависящая от «процента» бригады.

В декабре 1938 года меня с «Партизана» увезли, и я потерял следы Хренова. Но встречаясь со своими знакомыми по 1937 году, узнал я, что Хренов кончил срок — у него было пять лет. Но «КРТД» освобожден в войну не был, и в конце войны получил «пожизненную ссылку» там же, где работал — на одном из приисков Севера. Работал «по вольному найму» нормировщиком на прииске, а в 1947 или 1948 году умер.

Все это небольшое дополнение к рассказу Б. Челышева в газете «Литература и жизнь» 16 декабря 1962 года.

1960-е годы

Павел Васильев

Павла Васильева¹ я видел близко один-единственный раз в 1933 году в Москве. На литературных вечерах слышал много раз — тогда он читал «Одну ночь». Стихи в честь Натальи. Читал хорошо. Всякий поэт читает всегда свои стихи лучше, вернее, чем кто-нибудь другой, пусть самый распрямленный чтец-актер. Поэт читает свои стихи вернее, чем чьи-либо стихи чужие.

В двадцать седьмом году в клубе I-го МГУ было немало вечеров, когда поэты с эстрады читали чужие стихи, не свои. Особенным энтузиастом такой тонкой пропаганды чужого поэтического искусства был Николай Дементьев, постоянно вызываемый аплодисментами на сцену своего клуба. Дементьев учился тогда в МГУ и, к разочарованию слушателей,

¹ Васильев Павел Николаевич (1909/10—1937) — поэт, автор произведений о гражданской войне и коллективизации: «Песня о гибели казачьего войска» (1928—1932), «Соляной бунт» (1933).

читал Сельвинского, Багрицкого — любых поэтов, только не себя. Поэты, в отличие от актеров — людей другого искусства, чем поэзия (Мандельштам даже считал «противоположного искусства»), могут открыть в строке пушкинской, и блоковской, и пастернаковской интонационные подробности, неведомые простым смертным. Поэт, читающий чужие стихи с эстрады, — это гораздо более квалифицированный чтец, чем актер. Таков этот вопрос с принципиальной стороны. Дементьевский же выбор был не очень богат, вкус не очень тонок.

Вот и Васильев, в квартире, где я его увидел, не читал стихов своих. Зато много читал Клюева, своего учителя, начав с «Песни о кольце». — Вот мой учитель!

Запомнилась цитата из Клюева, приведенная тогда Васильевым:

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах.
Как будто истоки разрух
Он ищет в поморских ответах.

И слова: «Подтекст этих стихов пропал для нас. Клюев — поэт сложный, серьезный. Балагана в нем нет. Поморские ответы¹ — это катехизис русского сектантства, знаменитое исповедание веры Андрея Денисова. Истоки хозяйственной разрухи были именно в сопротивлении всяким новшествам, исходящим из Москвы. Да и печатают Поморские ответы со строчной, не заглавной буквы».

Васильев был прав в своем суждении о Клюеве. Роль Ключе-

¹ Поморские ответы — старообрядческая доктрина (1723 г.), авторами которой были братья Денисовы, в основном — Андрей Денисов. Поводом к составлению ответов послужило утверждение в 1722 г. Священным Синодом областных миссий для собеседований со старообрядцами.

ева в русской лирике XX века не разобрана, не оценена, не отмечена даже.

Клюев был великий знаток людей, великий искатель талантов. Ни Горький, ни Блок талантом этим не обладали. Клюев ввел последовательно в русскую поэзию: Есенина, Клычкова, Васильева, Прокофьева. Именно Клюев дал им знамя и вывел на крестный путь поэзии, научил жить стихом.

И еще, если уж не Клюев:

Беспечна, светла и любовна
Веселая юность моя.
Да здравствует Марья Петровна!
И ручка и ножка ея!

— Ея! Ея! — повторял Васильев в восторге. — Это — Языков! Ея!

Стихотворение держится новизной, необычайностью. Изменение правил русской грамматики и орфографии вскрыло нам эту строку Языкова как самоцвет этой удивительно чистой воды. Ясно, что стихотворное достоинство этой строчки неизмеримо возросло после изменения правил орфографии.

В Васильеве поражало одно обстоятельство. Это был высокий хрупкий человек с матово-желтой кожей, с тонкими, длинными музыкальными пальцами, ясными голубыми глазами.

Во внешнем облике не было ничего от сибирского хлебоборода, от потомственного плугаря. Гибкая фигура очень хорошо одетого человека, радующегося своей новой одежде, своему новому имени — Гронский¹ уже начал печатать

¹ Гронский Иван Михайлович (1894—1985), член РСДРП(б) с 1918 г., журналист, в 1928—1934 гг. — отв. редактор газеты «Известия ВЦИК».

Васильева везде, и любая слава казалась доступной Павлу Васильеву. Слава Есенина. Слава Клюева. Скандалист или апостол — род славы еще не был определен. Синие глаза Васильева, тонкие ресницы были неправдоподобно красивы, цепкие пальцы неправдоподобно длинны.

Жестокость! — вот какой след мог оставить на земле Васильев-человек.

Пьянел он быстро.

— Ты — кто?

Васильев вцепился в пиджак Алексею Михайловичу Огану — доценту каких-то литературных наук.

— Я выступаю с театром, — сдержанно ответил Алексей Михайлович, пытаясь освободить пуговицу.

— С каким театром? — Васильев закрутил пуговицу покрепче.

— С литературным...

— А-а-а-а!.. Это — Пушкинский вечер. Тургеневский вечер.

— Вот-вот.

— Но ты ведь не актер. Или — актер?

— Нет, не актер.

— Ты-то там что делаешь?

— Я делаю вступительное слово.

— А-а — Пушкин родился в семье... имел общественное значение. Изобрел онегинскую строфу... Стихи на семьдесят пять процентов писал четырехстопным ямбом. Главное произведение — «Медный всадник». Расстрелян в 1837 году.

— Вот-вот.

— Хорошо. — Васильев отпустил пуговицу.

Оган поправил пиджак.

— А сколько ты получаешь?

— За что?

— Ну, за лекцию эту. За вступительное слово. Что дороже — Пушкин или Некрасов?

— Это все одинаково. Я получаю сто рублей в час.

— Сто рублей в час?

— Да.

Васильев расстегнул пиджак и вынул толстый новенький бумажник.

— На вот тебе двести рублей. Читай мне два часа. Сначала Пушкина, потом Некрасова. Да что ты сердишься? Не все ли тебе равно, если ты этим живешь...

Тут Васильева отвели в сторону, и разговор прервался.

В первой половине тридцать седьмого года в Бутырскую тюрьму пришла «параша». Поэт Павел Васильев арестован за то, что в пьяном виде сорвал портрет Сталина. Арестован и расстрелян.

Все тюремные «параши» сбываются. Сбылась и эта. Павел Васильев убит в 1937 году.

1960-е годы

Александр Константинович Воронский

Александр Константинович Воронский был человек романтический, твердо уверенный в непосредственном действии художественного произведения на душу человека, на его деяния и поступки. С верой в это облагораживающее начало литературы Воронский и действовал.

Осуждал Лассаля за то, что тот погиб на дуэли из-за женщины, не прошал страстям Пушкина, приведшим его к смерти, но сам готов был погибнуть на дуэли в споре за какой-нибудь классический идеал, вроде Андрея Болконского.

Героям Достоевского был чужд, сторонился всей этой темной силы, не понимал и не хотел понимать.

Воронский был романтический догматик.

Никаких других оценок, кроме полезно — не полезно, у Воронского по существу не было.

К стихам относился так, как к прозе — по примеру Белинского.

Есенинский талант признавал, но не хотел видеть, что успехи Есенина вроде поэм о 26, о 36 и даже «Анна Снегина» — все это вне большой литературы, что «Москва кабацкая», «Инония», «Сорокоуст» не будут превзойдены.

Столкновение с этой поэтикой привело Есенина к смерти.

И «Русь советская», «Персидские мотивы» и «Анна Снегина» значительно ниже по своему художественному уровню, чем «Сорокоуст», «Инония», «Пугачев» или вершина творчества Есенина — сборник «Москва кабацкая», где каждое из 18 стихотворений, составляющих этот удивительный цикл, — шедевр русской лирики, отличающийся необыкновенной оригинальностью, одетой в личную судьбу, помноженную на судьбу общества — с использованием всего, что накоплено русской поэзией XX века — выраженной с ярчайшей силой.

Но не только «Анна Снегина» и «Русь советская» — тут еще найден какой-то удовлетворительный компромисс за счет художественности, разумеется, при всей их многословности, антиесенинском стиле по существу — у Есенина нет сюжетных описательных стихов.

Есенин — это концентрация художественной энергии в небольшом количестве строк — в том его сила и признак.

Но речь даже не об «Анне Снегиной». Есенин написал и поспешно с помощью Воронского и Чагина опубликовал плоды своей перестройки и «отказался от взглядов» — по модному тогдашнему выражению.

«Баллада о двадцати шести», «Баллада о тридцати шести», все это, как и прежде делаемые попытки в том же направлении — стихотворение «Товариш», — вне искусства.

Попытки насиловать себя и привели к самоубийству.

Сейчас мы знаем, что наряду с этой халтурой Есенин писал и «есенинские» стихотворения «Метель», «Черный человек»...

В то время каждый «вождь» оказывал покровительство какому-либо писателю, художнику, а подчас оказывал и материальную помощь.

Троцкий покровительствовал Пильняку, Бухарин — Пастернаку и Ушакову, Ягода — Горькому, Луначарский и Сталин — Маяковскому.

Троцкий написал о Пильняке несколько статей, требуя взаимной любви и ее доказательств.

«Талантлив Пильняк — но многое с него и спросится» — так оканчивалась статья Троцкого о «Голом годе» Пильняка.

Ягода покровительствовал Горькому. Не следует думать, что имя Горького открывало в двадцатые годы чьи-либо двери, Горькому никогда не простили его позиций в 1917 году, его выступления в защиту войны 1914 года. Положение Горького было более чем шатко, и РАПП и Маяковский травили Горького, не говоря уже о Сосновском¹, в сущности выполняя партийное решение.

Партийная точка зрения на Горького была изложена в специальной статье Теодоровича² «Классовые корни творче-

¹ Сосновский Лев Семенович (1886—1937) — член РСДРП(б) с 1904 г. В 1912—1913 гг. работал в «Правде», в 1921 г. — зав. агитпропом ЦК РКП(б).

² Теодорович Иван Адольфович (1875—1937) — член РСДРП(б) с 1895 г., избран в члены ЦК партии в 1907 г.; историк революционного движения.

ства Горького» (люмпен, волжские буржуазные антиленинские выступления, дружба с Богдановым, который — антиленинской школы на деньги миллионера Горького).

Обеспечить Горькому спокойную жизнь и взял на себя Генрих Ягода. Это было солидной поддержкой.

Со Сталиным Горький сговорился быстро и после расстрела своего друга Ягоды выступил с известным заявлением «Если враг не сдается — его уничтожают».

Тут уже Горькому не нужна была помощь и поддержка второстепенных лиц. Сталина Горький боялся панически.

Всеволод Иванов оставил рассказ о своем приглашении на завтрак к Горькому на Николину Гору.

Во время завтрака в столовую вошел сын Горького — известный автомобилист-любитель Максим и сказал: «Папа, я сейчас обогнал машину, кажется, Иосифа Виссарионовича».

Дачи Горького и Сталина были рядом.

Горький побледнел, побежал извиняться, завтрак прервался, и когда хозяин вернулся, на нем не было лица, и гости поспешили уйти. Этот красочный эпизод описан в журнале «Байкал» в 1969 году в № 1.

Но что происходило во второй половине тридцатых годов, стало возможно рассказать в куцем виде лишь через тридцать лет.

О двадцатых же годах и сейчас ничего правдивого не напечатано.

Но вернемся к меценатам, партийной политике самого верха.

Николай Иванович Бухарин в докладе на I Съезде писателей назвал Пастернака первым именем в русской поэзии.

Но вместе с Пастернаком надеждой русской поэзии Николай Иванович назвал Ушакова.

В этом не было ничего необыкновенного.

Своими первыми книжками «Весна республики» и «50 стихотворений» Ушаков сразу вошел в первые ряды современной русской поэзии. От него ждали, к нему протягивали руки лефовцы, конструктивисты, рапповцы, спеша заполнить новый бесстрашный талант в свои сети.

Николай Николаевич Ушаков, человек скромный, убоясь веселой славы и отступил в тень, не решаясь занять место в борьбе титанов вроде Маяковского и Пастернака. От Ушакова ждали очень многого. Он не написал ничего лучше первых своих сборников.

Сталин покровительствовал Маяковскому. Оба деятеля обменивались комплиментами. Сталин на заявлении Лили Брик написал резолюцию, адресованную Н. И. Ежову: «Маяковский лучший талантливейший поэт нашей советской эпохи. Равнодушие к его памяти преступление».

Маяковский еще раньше сочинил стихотворение на ту же тему:

Я хочу, чтоб к штыку
приравняли перо,
С чугуном чтоб и с выделкой
стали,
О работе стихов на Политбюро
Чтобы делал доклады Сталин.

Пастернак решил обезопасить себя от мстительной враждебности Сталина, выражаемой против всех, кого хвалят враги, и написал сам стишок о Сталине в 1934 году, назвав цикл «Художник»:

Живет не человек — деянье,
Поступок ростом в шар земной.

Это стихотворение не только спасло Пастернака, но удостоило личной беседы по телефону со Сталиным, хотя не по поводу своей оды.

До сих пор никто не может понять, как поэт, к которому резко отрицательно относился Ленин, вписан в историю и позднее даже в школьный учебник.

Маяковского вписали Сталин и Луначарский.

Когда Горький жил на Капри и начинались переговоры о столь деликатном деле, как возвращение Горького в Советский Союз, Маяковский опубликовал в «Новом Лефе» свое письмо Горькому.

Воронский получил от Горького письмо, что он, Горький, пересмотрит свое решение о возвращении, если ему не гарантируют исключения подобных демаршей со стороны кого бы то ни было.

Воронский ответил, что он поставил об этом в известность членов правительства и Алексей Максимович может не беспокоиться. Маяковский будет поставлен на место.

Оба письма есть в архиве Горького.

К кому из членов правительства обращался Воронский? Не к Сталину же... И вряд ли к Луначарскому.

Во всяком случае переговоры велись через Воронского, а Воронский отнюдь не был поклонником Горького — ни как художника, ни как общественного деятеля.

На многолюдном диспуте с Авербахом и рапповцами Воронский оспорил принадлежность Горького к пролетарской литературе (Гладков, Ляшко, Бахметьев и т. п.). Воронский потрясал перстом, и наброшенная для тепла бекеша спала

с плеч. В конце концов Воронский сбросил бекешу, положил ее на кафедру и договорил речь без бекеша — и потом только одел в рукава и сел за деревянный, некрашенный стол президиума.

В 1933 году я был на чистке Воронского в Гослите. Последняя работа Александра Константиновича в Москве — старший редактор Гослита. Сам Гослит помешался тогда в Ветошном переулке.

Чистку вел Магидов, старый большевик.

И Магидов, как и Теодорович — да все, все без исключения люди, чьи фамилии были в первых рядах строителей новой жизни, — все были уничтожены Сталиным, физически уничтожены.

Воронский рассказал о своей жизни, о том, что, дескать, ошибался, работал там-то и там-то.

Вопросов никаких не задавалось, народу было немного, человек шестьдесят в зале, а то и меньше. Магидов уже приготовился продиктовать секретарю: «Считать проверенным», как вдруг из задних рядов поднялась рука, просящая слова для вопроса.

Встал какой-то молодой парень. На лице его написано было искреннее желание постичь ситуацию, не уколоть, не намекнуть, а просто понять — для себя.

— Скажите, товарищ Воронский, вот вы были выдающимся критиком. Уже давно в советской печати не видно ваших критических статей. Вот вы написали книгу о Желябове — это хорошо. Воспоминания написали еще лучше. Повести, наконец главу «Урагана». Все это очень хорошо доказывает большой запас творческой энергии. Но критика, критика-то ваша где?

Воронский помолчал и ответил спокойно, неторопливо и холодно:

— По возвращении из липецкой ссылки я сломал свое перо журналиста.

Парень в задних рядах восторженно закивал головой, сел, пропал из глаз, и Магидов вызвал очередного на проверку.

Александр Константинович Воронский как редактор двух журналов — «Красной нови» и «Прожектора», как руководитель крупного издательства («Круг») и вождь литературной группировки «Перевал» отдавал огромное количество времени, энергии, сил нравственных и физических чтению чужих рукописей. Стихов всегда писалось много, и самотек двадцатых годов представлял такое же бурное море, как и сейчас.

Я сам был консультантом по художественной литературе при Центральной рабочей читальне им. Горького в Доме союзов в тридцать втором и тридцать третьем году. Поток рукописей, беседы с авторами и прочее. А ведь библиотека не журнал.

Александр Константинович читал день и ночь и ничего, понятно, путного не нашел, ни одного имени из самотека не поднял и не мог поднять — ибо в мешанине такой количество и качество особые. Вот эту особенность искусства и не хотели принимать догматики и теоретики, реалисты и романтики, отшельники и дельцы.

Ни одного нового имени в литературе, которое бы вышло рукоположенное Воронским.

Чтение чужих рукописей — худшая из худших работ. Неблагодарное занятие. Но теоретические убеждения застави-

ли Воронского обращаться в новых поисках и с новым вниманием. Впрочем, это внимание стал разжевывать скепсис со временем. Дочь Воронского рассказывает, как принимал иногда отец чью-нибудь объемистую рукопись.

— Как фамилия автора?

— Пупырушкин.

Александр Константинович взвесил на руке бумажную тяжесть.

— Вышлите назад. Не пойдет.

— Почему? — недоумевала дочь.

— Потому, — назидательно говорил Воронский, — что если это талантливый автор, обладающий литературным вкусом, он писал бы под псевдонимом.

Резон тут, конечно, есть.

Тогда все ждали Пушкина: вот-вот пять лет пройдет — и появится новый Пушкин, ибо капитализм — это такой строй, который «мял и душил», а теперь...

Время шло, а Пушкина все не было. Постепенно стали понимать, что искусство живет по особым законам, вне общественных коллизий и не ими определяется.

То же самое внимание обращал в своей переписке, в своей писательской деятельности и Горький. Та же была политика и те же неудачи.

Кого в литературу ввел Горький? Ни чести, ни славы горьковские восприимчивики не принесли.

Мы не однажды заводили разговор с Воронским о будущем. Воронский не на новые фигуры надеялся, а на то, что все талантливые писатели перейдут на сторону советскую. А не перейдут — им не дадут писать — «Кто не с нами!».

Поэтому Мандельштам и Ахматова были и для Воронского чуждым советской власти элементом.

Будущее Александр Константинович рисовал перед нами в классическом стиле всеобщего расцвета, роста всех потребностей, удовлетворения всех вкусов.

Как-то случилось на ту же тему побеседовать с Раковским¹. Раковский вежливо выслушал мальчишеские наши мечты и улыбнулся.

«Я должен сказать, ребята, — он так и сказал «ребята», — хотя у него были студенты университета, — что картина, нарисованная вами, привлекательна. Но не забывайте, — и Раковский улыбнулся, — что это представления людей буржуазного общества. И мои и, главное, ваши, ваши, хотя вы меня и моложе на сорок лет — такие представления, идеалы буржуазного общества. Никто не знает, каким будет человек коммунистического общества. Какими будут его привычки, вкусы, желания. Может быть, он будет любить казармы.

Мы с вами вкусов его не знаем, не можем представить».

Много лет позже этого разговора попалась мне в руки автобиография Ганди. Ганди пишет о своей религии так. Человек должен интересоваться самоотречением, а не загробной жизнью, которую надо заслужить самоотречением. Если аскет на земле выполнит свой долг — то какую загробную жизнь лучше этой может он себе представить...

Как случилось, что Воронский настолько хорошо был знаком с Лениным, что даже организационное собрание первого советского литературно-художественного журнала «Красная новь» было на квартире Ленина в Кремле. На этом

¹ Раковский Христиан Георгиевич (1873—1941) — дипломат, член РСДРП(б) в 1917—1927, 1935—1937 гг., член ЦК партии 1919—1927 гг.

первом собрании присутствовали Ленин, Крупская, Горький и Воронский. Воронский делал доклад о программе нового журнала, который он должен был редактировать и где Горький руководил литературно-художественной частью.

Для этого первого номера Ленин дал свою статью о продналоге.

В каком-то мемуаре я прочел, что Ленин присмотрелся к газете «Рабочий край» — в Иванове, которой руководил Воронский, и вызвал его для новой работы. Разгадал в нем автора еще не написанных книг по искусству.

На самом же деле Александр Константинович Воронский, профессиональный революционер, большевик-подпольщик, член партии с 1904 года, был одним из организаторов партии. Воронский был делегатом Пражской конференции в 1912 году, партийной конференции, которую проводил Ленин в один из самых острых моментов партийной истории. Депутатов Пражской конференции было всего восемнадцать человек.

Личные качества Воронского — бесребреник, принципиальный, скромный в высшей степени — иллюстрированы по рассказам Крупской, Ленина. Воронский стал близким личным другом Ленина, бывавшим в Горках в те последние месяцы 1923 года, когда Ленин уже лишился речи. Крупской написано о тех, кто посещал Ленина в Горках в то время: Воронский, Евгений Преображенский¹, Крестинский².

¹Преображенский Евгений Алексеевич (1886—1937), экономист, член РСДРП(б) с 1903 г., член ЦК в 1920—1921 гг.

²Крестинский Николай Николаевич (1883—1938), член РСДРП(б) с 1903 г., член ЦК партии (1917—1921).

Сейчас все это вошло в справочники, приезд Воронского к Ленину 14 декабря 1923 года записан. Но не записан другой приезд, более поздний, в конце декабря, когда Александр Константинович был у Ленина на елке рождественской. Этот факт еще юридически не удостоверен.

Это свидетельство Крупской удалось опубликовать лишь через пятьдесят (!) лет в 1968 году (в сборнике «Волго-Дон» т. I, стр. 196).

Первая часть воспоминаний А. К. Воронского «За живой и мертвой водой» вышла в издательстве «Круг», которое организовал сам Воронский как руководитель «Перевала» в 1927 году. Писалась же первая часть в 1926 году — начало бурных партийных и литературных сражений.

Так называемая оппозиция, молодое подполье, в первую очередь нуждалось в самых популярных брошюрах с изложением элементарных правил конспирации.

Кравчинский, Бакунин, Кропоткин — все это штудировалось, изучалось молодежью, прежде всего студенчеством.

Задачу быстро написать катехизис подпольщика, где читающий мог научиться элементарным правилам конспирации, поведению на допросах, и взял на себя Александр Константинович Воронский.

Фишелев дал типографию, где набирал платформу 83, основной оппозиционный документ. Троцкий и его друзья Радек, Смилга, Раковский выступали с письмами, и эти платформы перепечатывались, развозились по ссылкам.

Александр Константинович Воронский взял на себя особую задачу — дать популярное руководство поведения.

Таким руководством и были вторая и третья части мемуаров «За живой и мертвой водой».

Вторая часть напечатана в журнале «Новый мир» в № 9—12 1928 года. Эта вторая часть имела особый эпиграф из Лермонтова.

И маршалы зова не слышат,
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою.

Этот в высшей степени [выразительный] эпиграф был снят в отдельных изданиях.

Вторая часть, где любой арестованный и ссыльный может получить добрый практический совет, очень высоко оценивалась среди оппортунистической молодежи.

Это — главная книга, настольное пособие молодых подпольщиков тех дней.

Имеется пример делегатов Пражской конференции, решившей судьбу России — всех делегатов было восемнадцать человек.

Воронский написал в своей книге чрезвычайно коротко о своей близости к Ленину. Ленин был очень скромный, но еще более скромным был сам Воронский. Черты скромности у них обоих одинаковы.

В оппозиции А. К. Воронский был председателем ЦКК подпольным. Ведь оппозиция строилась как параллельная организация с теми же «штатами», но «теневыми».

Вне всякого сомнения, что, отказываясь от взглядов по модной тогдашней формуле, Воронский не занимал никакого даже теневого поста в подполье. Но когда-то, в какой-то день и час он этот подземный теневой пост занимал.

Мне известно также об исключительном отношении В. И. Ленина к А. К. Воронскому. Жорж Каспаров, сын секретарши Сталина Вари Каспаровой, которую Сталин загнал

в ссылку и умертвил, говорил мне в Бутырской тюрьме в 1937 году весной, что Надежда Константиновна Крупская по просьбе Ленина — а Воронский бывал в Горках у Ленина во время его болезни, как личный друг, личный приятель — <спасала Воронского, пока могла>.

Из многолетнего чтения издательского и журнального самотека Воронским был сделан правильный вывод, что талант — это редкость. И Воронский обратил сугубое внимание на приближение к революции так называемых «попутчиков».

На попутчиках сломал себе шею РАПП, и также и нигилисты из ЛЕФа.

Роспуск РАПП шел мимо Воронского и пользы Воронскому не принес.

Воронскому к этому времени — начало тридцатых годов — был вменен худший грех, по сравнению с которым литературные сражения считались, да и на самом деле были делом менее важным.

1928 год — аресты по всей Москве, разгром университета. Воронский получил свою долю. Раковский, Радек, Соновский — в политизоляторах. Воронский — в ссылке в Липецке. Это объясняется энергичным ходатайством Крупской, которой, по ее словам, поручил Ленин присматривать за здоровьем Воронского.

Крупская, сама подписавшая основную программу — платформу 83 — спасала жизнь Воронского, пока могла.

В 1938 году Крупская умерла.

По сведениям печати, смерть Воронского отнесена к 1944 году. На самом же деле никто из товарищей с Воронским позже 1937 года не встречался. Личное следственное дело Воронского уничтожено неизвестной рукой.

Воронский подписал платформу 83 — основную программу левой оппозиции, под этим именем программа вошла в историю. Однако первоначальная программа эта называлась платформа 84. Восемьдесят четвертой была подпись Крупской, которую впоследствии Крупская сняла под нажимом Сталина. В Москве мрачно острили, что Сталин угрожал Крупской, что объявит женой Ленина Артюхину¹. Эти мрачные остроты не очень были далеки от истины. Примеров этому в истории было сколько угодно.

Крупская даже выступала в защиту оппозиции на какой-то партийной конференции, но была немедленно дезавуирована Ярославским.

По специальному решению — уточнению сего деликатного и кровавого предмета — лидеры, т. е. подписавшие платформу, письма в ЦК и так далее, лишались права партийной реабилитации и восстанавливались в правах только гражданских.

Но это решение было принято не сразу. Задолго до этого решения ходатайство о партийной реабилитации возбудила дочь Воронского, на основании несостоявшихся исключений в тридцатые годы, — когда расстрел, уничтожение обгоняли формальности, вроде исключения из партии.

Жена Воронского давно умерла в лагерях, дочь вынесла двадцать два года на Колыме, — пять в лагере на Эдьгене и семнадцать в самой Колыме

Семнадцатилетней девочкой она туда уехала — вернулась седой и больной матерью двух девочек.

¹ Артюхина Александра Васильевна (1889—1969) — советский партийный и государственный деятель, редактор журнала «Работница».

Считал бы Воронский при его принципиальности, высоким нравственным требовании к себе возможным для себя заявление о реабилитации — не знаю. Ответить на этот вопрос не могу. Но дочь подала заявление, и Александр Константинович Воронский получил полную партийную реабилитацию.

Раньше 1967 года о Воронском не писали. Книжки его издавались очень туго. «За живой и мертвой водой» издали только в 1970 году — через пятнадцать лет после реабилитации; сборник критических статей тщательно отфильтровывался, чтобы вытравить сомнительный дух.

Через год или два после реабилитации дочери Воронского понадобилась какая-то справка в ЦК о партийном стаже отца. Работник секретариата, занятый этими делами, сообщил, что выдать справки не может, потому что ее отец реабилитирован неправильно: «Он, как подписавший платформу, не подлежит реабилитации».

Работник ЦК заявил: «Еще надо поглядеть, кто вашему отцу давал рекомендацию для реабилитации».

Но, посмотрев эти рекомендации, он успокоился и быстро выдал требуемую справку.

Заявление в ЦК о реабилитации Воронского написали Микоян, тогдашний председатель ЦКК СССР, и Елена Стасова.

1970-е годы

Разговор с Михаилом Светловым

С Михаилом Светловым я разговаривал один раз в жизни. И тогда же записал число: 13 мая 1956 года.

Вечер переделкинский был ветреный, темный. За водкой ходили уже второй раз, и бесконечное количество раз я отражал приглашения Светлова и его товарища на тот вечер — способного журналиста Мыса... Мыс недавно вышел из вытрезвителя на Шаболовке, и рюмки, которые он опрокидывал в свой рот, чокаясь со Светловым, были первыми его рюмками после лечения антабусом. Хозяйка этой квартиры хоть и пила, но немного и все уговаривала Светлова прочесть «Гренаду». Мыс довольно живо рассказывал о житье-бытье вытрезвителя, о курсе лечения антабусом — не зная, что я «дипломированный» фельдшер в той, загробной моей жизни, откуда я только что вернулся и бывал в Москве полулегально, приезжая на воскресенья. Работал я там, где и положено было работать человеку, имеющему паспорт по 39-й статье — в поселках с населением менее десяти тысяч чело-

век. Я жил в поселке со странным названием Туркмен в восьми верстах от станции Решетниково, работал агентом по техническому снабжению. Время было уже позднее, и я подсчитывал про себя время — пешком до станции Переделкино, потом электричкой в Москву, в Москве на метро «Кольцевой» до Комсомольской площади. Здесь если я не попадал на последний поезд в час ночи, то мог лечь на скамейку или на пол в вокзале и проспять до 4 часов утра — и с первым поездом уехать в Решетниково, а от Решетникова поймать «вертушку» до торфяных разработок или мотовоз, который иногда появлялся там. Или пройти пешком все эти восемь верст. При этом я попадал к началу «занятий», успевая даже умыться с дороги.

Путем этим я ездил не первый раз — нужно было только не опаздывать.

Мыс разговорился, сообщил, что постоянные посетители вытрезвителя — Погодин и Водопьянов, что процент преподавателей истории в вытрезвителе очень велик — превышает чуть не вдвое обыкновенное число этих людей, приходящееся на население каждого города.

Лицо мое не могло скрыть нетерпения, неудовольствия. Я встал и начал прощаться.

— Я вижу по вашему лицу, что вы пережили что-то серьезное.

— Это вас не должно интересовать, Михаил Александрович, — сказал я.

— Аркадьевич, — поправил Мыс, — Михаил Аркадьевич.

— Почему я пью? Потому, что водка помогает мне под-

держивать форму. Я и сухой, худощавый поэтому. Сухой как кость. Понимаете, жид-кость. Я — жид и я же — кость.

— Антрэ-кот, — сказал Мыс.

— Вот именно, — сказал я, вставая.

— Миша, прочти «Гренаду» на прощанье, — сказала хозяйка.

Светлов встал, протягивая мне руку:

— Подождите. Я вам кое-что скажу. Я, может быть, плохой поэт, но я никогда ни на кого не донес, ни на кого ничего не написал.

Я подумал, что для тех лет это немалая заслуга — потрудней, пожалуй, чем написать «Гренаду».

— Острота хорошая, Михаил Аркадьевич. Да вы и не такой уж плохой поэт. До свиданья.

В это время загремела дверь веранды, и прямо из ночи, из темноты возникла пьяная фигура взъерошенного какого-то человека — в телогрейке, в рабочей робе, плотника какого-нибудь. Плотник был вдребезги пьян.

— Эй вы! — заорал он, наваливаясь на стол и удерживая падающие бутылки. Сидите тут! Федин застрелился!

— Федин? — сказал Светлов и изрек нечто непроизносимое.

Плотник исчез, растаял во тьме.

Светлов налил рюмки Мысу и себе.

— Пьем!

Я распрошался и едва успел добежать до поезда.

На другой день утром я узнал из газет, что застрелился не Федин, а Фадеев. Пьяный плотник перепутал фамилии.

Вечер памяти О. Э. Мандельштама

Мехмат МГУ, 13 мая 1965 г.¹.

ЭРЕНБУРГ. Мне выпала большая честь председательствовать на первом вечере, посвященном большому русскому поэту, моему другу Осипу Эмильевичу Мандельштаму.

Этот первый вечер устроен не в Доме литераторов, не писателями, а в университете молодыми почитателями поэта. Это меня глубоко радует. Я верю в вашу любовь к поэзии, верю в ваши чувства, я радуюсь тому, что вы молоды.

Мандельштам только сейчас возвращается к читателю. Правда, в журнале «Москва» была напечатана подборка стихов и статья Н. К. Чуковского². Вчера я получил журнал «Простор», где опубликован цикл замечательных стихов. Алма-Ата опередила Москву. В жизни много странностей.

¹ Запись неустановленного лица.

² Чуковский Николай Корнеевич (1904—1965) — писатель, сын Корнея Ивановича Чуковского.

Начинает Алма-Ата, а не Москва, начинают студенты, а не поэты. Это и странно и не странно.

Что сказать вам о поэзии Мандельштама? Прочувствованных речей я произносить не умею, кое-что о нем как о человеке уже написал.

Хочу сказать, что русская поэзия 20—30-х годов не понятна без Мандельштама. Он начал раньше. В книге «Камень» много прекрасных стихов. Но эта поэзия еще окована гранитом. Уже в «Tristia» начинается раскрепощение, создание своего стиха, ни на что не похожего. Вершина — тридцатые годы, здесь он — зрелый мастер и свободный человек. Как ни странно, именно тридцатые годы, которые часто в нашем сознании связаны с другим, годы, которые привели к гибели поэта, определили и высшие взлеты его поэзии. Три воронежские тетради потрясают не только необычной поэтичностью, но и мудростью. В жизни он казался шутивным, легкомысленным, а был мудрецом.

В 1931 году, — прошу не забывать о дате, — он написал:

За гремучую доблесть грядущих веков...

(Читает по журналу «Простор».)

Все в этом стихотворении — правда. Вплоть до фразы «и меня только равный убьет». Его, человека, убили не равные. Но поэзия пережила человека. Она оказалась недоступной для волкодавов. Сейчас она возвращается. Здесь внизу студенты спрашивали, нет ли лишнего билета, как люди просят стакан воды. Это жажда настоящей поэзии.

Книга стихов давно составлена и ждет. Она прождет еще, быть может, год, быть может, пять лет, — меня ничто не удивит, — но она выйдет. Теперь это понимают уже все.

День, когда она выйдет, будет праздником. Ведь нельзя

вместить не только в эту аудиторию, но и в Лужники всех тех, кто любит стихи Мандельштама.

Я ничего не хочу внести от той горечи, которая в каждом из нас, тех, кто знал его, видел, кто знал, как трагично он умирал. Пусть стихотворение 1931 года будет в моих словах единственным напоминанием о судьбе большого поэта, который был виноват только в том, что жил во время, созданное для пира бессмертных, — как казалось Тютчеву, — но в котором были волкодавы, убившие Мандельштама.

Мне радостно, что я председатель, но это, конечно, вяжет: председатель может говорить лишь то, что входит в сознание собравшихся.

Н. К. ЧУКОВСКИЙ. Я встречался с Мандельштамом в течение 17 лет. Не очень часто. Не был с ним близок. Всегда знал, что это огромный русский поэт. Всю жизнь восхищался им. И во время войны, когда так особенно нужны стихи, я чаще всего вспоминал стихи Блока и Мандельштама. Я прочту отрывки из моей работы о Мандельштаме, часть была опубликована в журнале «Москва». *(Начало не записано.)*

...Из поздних стихов знал только то, в котором он отрывается от «Камня» («Уничтожает пламень...»).

Мы, тенишевцы, сидели на деревянных скамьях, а он стоял перед нами, читал торжественно, задирая маленькую голову.

Крымские впечатления обосновали необходимость возвращения к эллинизму. Смысл стихов дошел до меня позже, тогда я был заморожен звуками и буквально задышался от наслаждения *(читает «На страшной высоте блуждающий огонь...»)*. Второе стихотворение о Петрограде написано в

Крыму при Врангеле. (Далее Н. К. читает описание комнаты О. Э., говорит о «безбытности» М., читает «Соломинку».)

М. был полон чувства собственного достоинства и самоуважения и очень обидчив. В Евгении он изобразил себя, это он и был «самолюбивый пешеход». Точно написано об этом в стихотворении «Леди Годива».

Литературную деятельность он начал вместе с акмеистами, потом отошел. Стихи ему удавалось печатать редко, вот последний сборник «Стихотворения», изданный в 1928 году тиражом в 2 тысячи экземпляров. В «Звезде» был напечатан цикл стихов об Армении. Его стихотворения переписывались от руки. Читатель этих стихов — только из среды образованной интеллигенции. Он был лишен великого счастья — говорить языком подлинной поэзии и вместе с тем обращаться к миллионам. Этим счастьем в указанную эпоху оказались наделенными только Блок и Маяковский.

Мандельштам был великим русским поэтом для узкого круга интеллигенции. Он станет народным, это неизбежно, когда весь народ станет интеллигентным (смех, аплодисменты).

Он находился в тревожном, нервном состоянии духа, испытывал душевную угнетенность, помню его с горсткой пепла на левом плече. Последний раз видел его у Стенича, там была и Ахматова. Мандельштам был в сером пиджаке, рукава были длинны, этот пиджак накануне подарил ему Ю. П. Герман (комментарий Н. Я.: «Это были брюки, а не пиджак»). Ахматова читала тогда «Мне от бабушки татарки...». С тех пор я на всю жизнь запомнил стихотворение «Жил Александр Герцович...».

ЭРЕНБУРГ. Когда я открывал вечер, я не сказал и не знаю, одобрят ли мои слова Надежда Яковлевна, которая в этом зале. Она прожила с Мандельштамом все трудные годы, поехала с ним в ссылку, она сберегла все его стихи. Его жизнь я не представляю себе без нее. Я колебался, должен ли я сказать, что на первом вечере присутствует вдова поэта. Я не прошу ее прийти сюда (*далее его слова заглушил гром аплодисментов, они долго не смолкают, все встают. Надежда Яковлевна наконец тоже встает, обернувшись к залу, говорит: «Мандельштам писал: «Я к величаниям еще не привык...» Забудьте, что я здесь. Спасибо вам». Все еще долго хлопают*).

АРТИСТКА плохо читает стихи из армянского цикла и «Турчанку».

Н. Л. СТЕПАНОВ¹. Мандельштам в моей памяти остался как Поэт с большой буквы в несколько романтическом представлении. Он совсем не похож на тех разбитных, ловких оперативных литераторов, которые готовы откликнуться на самый последний крик моды. При этом для меня Мандельштам при всем различии масштаба сходен в чем-то с Хлебниковым. Это впечатление сложилось с период встречи, с 22 или 23 года. Я тогда писал стихи, грамотные, не очень оригинальные и даровитые. Блока уже не было, единственный человек, который мог мне сказать, писать мне стихи или нет, — был Мандельштам. Я поехал в Москву, пришел в Дом

¹ Степанов Николай Леонидович (1902—1972) — литературовед, текстолог.

Герцена и спросил беспечно и развязно первого встречного: «Где живет Мандельштам?» Он ответил: «Это я».

Я вручил ему благоразумно 4 стихотворения, он их прочел. Не важно, как он отнесся к ним (*смех*), во всяком случае с большей деликатностью, чем вы (*снова смех*). Он стал говорить со мной о поэзии, о Пастернаке и Тихонове. Видимо, он воспринял мои стихи как подражание Тихонову. Прямо он так не сказал, но дал понять. С тех пор я стихов не писал.

У него не было заданной поэтической позы, было подлинное величие поэта.

Прав Н. Чуковский, у Мандельштама есть детали обстановки, но это не быт. «Мне так нужна забота, и спичка серная меня б согреть могла». Быт отходит от бытового звучанья. В нескольких словах охарактеризовать его невозможно. Ему, без сомнения, предстоит большое будущее. Он уже определил во многом пути нашей поэзии. Можно наметить 2—3 темы, этапа. Поэзия «Камня» — архитектура пропорций, внутренней сдержанности. Он во многом напоминает Батюшкова, Державина по роскошному патетическому рисунку (*читает «Адмиралтейство»*). Дальше в «Tristia» — намечается новая большая тема, может быть из центральных, — гуманистическая, эллинистическая, узнавание всечеловеческой гармонии, к которой он стремился и прообраз которой увидел в Элладе. Стих становится прозрачнее, он как бы просвечен фоницей античности (*читает из статьи о русском языке*). Звучащая плоть слова, насыщенность языка музыкой, — и не только звуковые повторы, — необходимое свойство поэзии Мандельштама.

Весь строй, лад его стихов противостоял и противостоит спешной небрежной газетной недоработке, тому, что так

часто наблюдается в современной поэзии. Как ювелир слова — он один из самых замечательных. Третий этап — тридцатые годы. В стихах этих лет есть, конечно, и автобиографические элементы, но главное, как всегда у Мандельштама, — общее. Трагические испытания, которые выпали на долю не только ему, но всему народу. И в этих трагических стихах звучит эллинская музыка, но по-иному. При всей тяжести, которая давит на поэта, он сохранил веру в красоту и справедливость мира.

Я должен жить, хотя я дважды умер...

По своему совершенству, по конденсированности поэтичности трудно что-либо поставить рядом. Он лирик прежде всего, не случайно не писал поэм.

Студент МГУ БОРИСОВ читает подряд, великолепно, на одном дыхании:

Бессонница, Гомер, тугие паруса.
Я список кораблей прочел до половины...

Я не слышал рассказов Оссиана...

На страшной высоте блуждающий огонь...

Я вернулся в мой город, знакомый до слез...
Ламарк.

ТАРКОВСКИЙ¹ (начинает как бы с середины фразы). И у Мандельштама никогда не будет такой эстрадной славы, как у Есенина или Маяковского, и слава богу, что не будет, нет

¹ Тарковский Арсений Александрович (1907—1989) — поэт, отец Андрея Арсеньевича Тарковского, кинорежиссера.

ничего ужаснее такой славы (*аплодисменты*). Он был сложившимся поэтом в традиции Пушкина, Овидия, Батюшкова, когда он резко изменился, изменил поэтику, в его стихах зазвучало иное время, иное пространство. Там, где был поэт старого русского акмеизма, где слово было однозначным, там оно стало многозначным. Слову теперь предоставлена большая власть над миром и поэтом. Работа — уже не описание мира, оказалось, что лучше подчиниться словесной системе. У М. — прекрасное зрение, возможность выражать, удивительная по точности метафорическая система. Он не выносил тепло молочной лирики, изливания не холодных, не горячих чувств. Очень не любил стихов, похожих на него, любил, например, стихи Берендгофа («Челуха». — Н. Я.).

В его поэзии пересеклись дарование и время. Он труден для невнимательного понимания. Когда читается «век-волкодав», то ведь это век, который *давит* волков и попутно наваливается на плечи поэту. Идея соц. переустройства мира была ему очень близка, он весь — в пафосе первых пятилеток. Он очень не любил снобистских мальчиков, ему казалось, что жизнь важнее.

Вершина поэзии М. — «Стихи о неизвестном солдате». М. — один из основоположников того нового мироощущения, с которым связана теория относительности, открытия Резерфорда, живопись Пикассо, фильмы Чаплина. В поэзии он разработал стихию нового мироощущения первый. Самое важное — его связь со словарем, со всем богатством русского языка. Он далек от расхожего романса. Его известность в литературе близка известности другого великого русского поэта — Боратынского (*аплодисменты*).

СТУДЕНТ Шукинского училища читает стихи (удивительно пошло и развязно):

...но люблю эту бедную землю,
потому что иной не видал.

ВАРЛАМ ШАЛАМОВ (бледный, с горящими глазами, напоминает протопопа Аввакума, движения некоординированные, руки все время ходят отдельно от человека, говорит прекрасно, свободно, на последнем пределе, — вот-вот сорвется и упадет...).

Я прочитаю рассказ «Шерри-бренди», написал его лет 12 тому назад на Колыме. Очень торопился поставить какие-то меты, зарубки. Потом вернулся в Москву и увидел, что почти в каждом доме есть стихи Мандельштама. Его не забыли, я мог бы и не торопиться. Но менять рассказ не стал.

Мы все свидетели удивительного воскрешения поэзии М. Впрочем, он никогда и не умирал. И не в том дело, что будто бы время все ставит на свои места. Нам давно известно, что его имя занимает одно из первых мест в русской поэзии. Дело в том, что именно теперь он оказался очень нужным, хотя почти и не пользовался станком Гутенберга.

О М. говорили критики, якобы он отгородился книжным шитом от жизни. Во-первых, это не книжный шит, а шит культуры. А во-вторых, это не шит, а меч. Каждое стихотворение М. — нападение.

Удивительна судьба того литературного течения, в рядах которого полвека тому назад М. начинал свою творческую деятельность. Принципы акмеизма оказались настолько здоровыми, живыми, что список участников напоминает мартиролог, — мы говорим о судьбе М. Известно, что было с Гумилевым. Нарбут умер на Колыме. Материнское горе, под-

виг Ахматовой известны широко, — стихи этих поэтов не превратились в литературные мумии. Если бы этим испытаниям подверглись символисты, был бы уход в монастырь, в мистику.

В теории акмеизма — здоровые зерна, которые позволили и прожить жизнь, и писать. Ни Ахматова, ни Мандельштам не отказывались от принципов своей поэтической молодости, не меняли эстетических взглядов.

Говорят, Пастернак не принадлежал ни к какой группе. Это неверно, он был в «Центрифуге» и очень горько сожалел об этом. Ни М., ни Ахматовой ничего не пришлось пересматривать.

Давно идет большой разговор о М. Здесь — лишь миллионная часть того, что можно сказать. В его литературной судьбе огромная роль принадлежит Надежде Яковлевне, она не только хранительница его стихов, она — самостоятельная и яркая фигура.

(Читает рассказ «Шерри-бренди».)

«Поэт умирал. Большие, вздутые голодом кисти рук с белыми, бескровными пальцами и грязными, отросшими трубочкой ногтями лежали на груди, не прячась от холода. Раньше он совал их за пазуху, на голое тело, но теперь там было слишком мало тепла. Рукавицы давно украли — для краж нужна была только наглость — воровали среди бела дня. Тусклое электрическое солнце, загаженное мухами и закованное круглой решеткой, было прикреплено высоко под потолком. Свет падал в ноги поэта — он лежал, как в ящике, в темной глубине нижнего ряда сплошных двухэтажных нар...»

(По рядам в президиум передали записку, успев, конечно, по дороге прочитать; кто-то из начальства просил «так-

тично прекратить это выступление». Председатель положил записку в карман, Шаламов продолжал читать.)

«...Жизнь входила сама, как самовластная хозяйка; он не звал ее, и все же она входила в его тело, в его мозг, входила как стихи, как вдохновение... Стихи были той животворящей силой, которой он жил... Он не жил ради стихов, он жил стихами...

...Все, весь мир сравнивался со стихами — работа, конский топот, дом, птица, скала, любовь — вся жизнь легко входила в стихи и там размешалась удобно. И это так и должно быть, ибо стихи были словом... Поэт понял, что сочиняет сейчас настоящие стихи. И что в том, что они не записаны? Записать, напечатать — все это суета сует. Все, что рождается не бескорыстно, это не самое лучшее. Самое лучшее — то, что не записано, что сочинено и исчезло, растаяло без следа, и только творческая радость, которую ошущает он и которую ни с чем не спутать, доказывает, что стихотворение было создано....

...К вечеру он умер.

Но «списали» его на два дня позднее — изобретательным соседям его удавалось при раздаче хлеба двое суток получать хлеб на мертвеца; мертвец поднимал руку, как кукла-марионетка. Стало быть, умер раньше даты своей смерти — немаловажная деталь для будущих биографов».

ЭРЕНБУРГ. Наш вечер окончен. По-моему, он был очень хорошим. Для меня самым лучшим был студент МГУ, который чудесно читал стихи, — пусть не обижаются мои товарищи писатели.

Может быть, как капля, которая все-таки съест камень, наш вечер приблизит хоть на день выход той книги, которую мы все ждем. Я хотел бы увидеть эту книгу. На этом свете. Я родился в один год с М. Это было очень давно. Впрочем, с времен конца того периода, который называют периодом беззаконий, тоже прошло уже много времени. Подростки стали стареть. Пора бы книге быть.

Товарищи, вечер окончен. Спасибо вам.

1965 г.

Пастернак¹

Я не биограф Пастернака, не репортер. Мне было радостно найти в Пастернаке сходное понимание связей искусства и жизни. Радостно было узнать: то, что копилось в моей душе, в моем сердце понемногу, откладывалось, как жизненный опыт, как личные наблюдения и ошущения, разделяется и другим человеком, бесконечно мною уважаемым. Я — практик, эмпирик. Пастернак — книжник. Совпадение взглядов было удивительным. Возможно, что какая-то часть этой теории искусства воспитана во мне Пастернаком — его стихами, его прозой, его поведением, — ведь за его поэтической и личной судьбой я слежу много лет, не пытаюсь познакомиться лично. Не потому, что идола теряют, когда рассматриваешь их слишком близко — я бы рискнул на это! — а просто жизнь уводила меня очень далеко от городов, где

¹ Впервые: Воспоминания о Борисе Пастернаке. М.: Слово. 1993.

жил Пастернак, и как-то не было ни права, ни возможности настаивать мне на этой встрече.

Когда мы стали встречаться, я казался Пастернаку не столько человеком, рожденным его собственными идеями, сколько единомышленником, пришедшим к его мыслям трудной дорогой. Записана тысячная часть наших разговоров. Есть большое количество моих писем к нему, писем, на которые он отвечал при встречах. По его просьбе я написал подробный разбор «Доктора Живаго» в рукописи. Этот разбор, написанный в два приема (первая и вторая части), должен быть в бумагах Бориса Леонидовича.

В Бутырской тюрьме, во время следствия, мы часто играли «в слова». Из букв заданного слова надо было составить другие слова, повторяя комбинации букв сколько угодно. Все повторения вычеркивались взаимно, и победителем считался тот, кто записал больше слов-вариантов. Это было превосходное упражнение на аллитерации, специальная техника поэта, воспитание его уха.

— Фамилия героя романа? Это история непростая. Еще в детстве я был поражен, взволнован строками из молитвы церковной православной церкви: «Ты если воистину Христос, сын Бога живаго». Я повторял эту строку и по-детски ставил запятую после слова «Бога». Получалось таинственное имя Христа «Живаго». Не о живом Боге думал я, а о новом, только для меня доступном его имени «Живаго». Вся жизнь понадобилась на то, чтобы это детское ошущение сделать реальностью — назвать этим именем героя моего романа. Вот истинная история, «подпочва» выбора. Кроме того, «Живаго» — это звучная и выразительная сибирская фами-

ля (вроде Мертваго, Веселаго). Символ совпадает здесь с реальностью, не нарушает ее, не противоречит ей.

У Пастернака не было секретарей. На каждое письмо из любой страны отвечал он собственноручно — и на языке автора. Стихов Пастернаку слали немного, и заводить особый резиновый штамп для ответа, какой был у Льва Толстого, Пастернаку не было необходимости. Льву Толстому слали много стихов. Но он никогда их не читал — раз навсегда секретарям было дано распоряжение отсылать стихи обратно. Позднее был заведен резиновый штамп такого текста: Уважаемый имярек. Лев Николаевич прочел Ваши стихи и нашел их очень плохими. Секретарь (подпись).

Письма Пастернака, написанные крупным разборчивым почерком, писались всегда обыкновенным школьным пером, химическими лиловыми чернилами. Никакими авторучками Пастернак не пользовался. Рукописи написаны простым черным карандашом, хорошо отточенным.

Пишущая машинка — не для Пастернака. Ему были бы под стать державинские, пушкинские перья. Я отлично представляю себе Пастернака с гусиным пером в руке.

Пастернак нездоров. Пастернак болеет. Не принимает, встретиться с ним нельзя. Сердце? Гипертония? Нет, экзема. Экзема выбрала место на щеке Пастернака, и это пустячное заболевание ужасно его угнетало, не давало показываться на людях.

С утра — работа, в три часа — послеобеденная прогулка. Вечер в чтении, прогулка перед сном и почти всегда — снотворное: нембутал, барбитал.

Пастернак не читал газет. Не имея газетного «иммунитета».

В. Ш. — Сейчас никто не говорит по вопросам искусства, по вопросам существа нашей работы.

Б. П. — Вы невысокого мнения о Сельвинском. Сельвинский поэт, не виршеписец. Я хотел прочесть что-либо из современного. Каверин, говорят, написал хороший роман «Доктор Власенкова». Но прочла жена, сказала, что начало хорошее, а дальше — неудача. У Каверина почти во всех его вешах начало лучше середины. Скоро надоедает автору собственный сюжет.

Я не люблю Горького. Притом наше время показало, что «человек» отнюдь не «звучит гордо».

На его творчество большое влияние, не прямое, может быть, кроме Анненского и Блока, имеет Андрей Белый. Это — гений. Когда Белый умер, мы написали некролог (он был напечатан в «Известиях»): «Считаем себя его учениками». Подписи было три: Пильняка, Санникова и моя.

...Сурков несколько лет назад обвинял меня в том, что я написал стихи о Керенском. У меня действительно есть такие стихи, но ведь они относятся к 1917 году.

...Когда отец уезжал в Англию, мы поссорились, Я видел много светлого тогда, вначале... Потом этот свет потускнел. Судьбы людей, которых я знал, говорили о многом. В 1930 или 31 году я ездил на Урал в составе писательской бригады и был поражен поездкой — вдоль вагонов бродили нищие — в домотканой южной одежде, просили хлеба. На путях стояли бесконечные эшелоны с семьями, детьми, криком, ревом. Окруженные конвоем — это тогдашних «кулаков» везли на север умирать. Я показывал на эти эшелоны своим товарищам по писательской бригаде, но те ничего путного

ответить мне не могли. А через два-три года начались «кировские потоки» — и «ежовщина».

...На вечере в Политехническом, где Пастернак читал в числе прочих стихотворений «Другу», выступил Безыменский и сказал, что такие стихи — антисоветская пропаганда, выступление классового врага. Возмущенный до глубины души Пастернак вышел на авансцену:

— Я одно только скажу: Безыменскому я больше руки не подам, — и отошел в сторону.

От волнения я и звонить не мог. В семьдесят вторую квартиру позвонила моя жена. Дверь быстро открылась, и вот Пастернак на пороге — седые волосы, темная кожа, большие блестящие глаза, тяжелый подбородок. Быстрые плавные движения. Маленькая прихожая, вешалка, открытая дверь в кабинет справа и крайняя комната с роялем, заваленным яблоками, глубокий диван у стены, стулья. По стенам комнаты — акварели отца.

У меня где-то записано это свиданье. Я пробовал его вспомнить сразу, когда шел пешком через мост на Красную площадь, мимо Василия Блаженного, — семнадцать лет я не был в Москве. Судьба была ко мне слишком добра, слишком. Через семнадцать лет я встретился с городом, который я любил и знал, в котором я вырос, учился и сражался, — встреча с городом тоже чего-то стоит.

Только вчера я приехал с Колымы, из ледяного тумана Заполярья, из страшного мира лагерей Колымы, только вчера я встретился с женой, которая ждала меня семнадцать лет. Только вчера я встретился с дочерью, которую оставил 12 января тридцать седьмого года, поцеловал ее в кроватке и ушел за следователем, делавшим обыск, — ушел на целых

семнадцать лет. Дочь выросла без меня — она была уже студенткой. Впервые в ее и моей жизни встретились мы вчера. По Москве еще ходили ежевечерне милиционеры, проверяя в каждой квартире лишних и чужих, — а у меня был паспорт с 39-й статьей, с правом проживания в поселках с населением не выше 10 000 человек.

Куда я ехал? Сам еще не знаю. Что за человек моя дочь? Что за человек моя жена? Разделят ли они те чувства, которые переполняют меня до краев, чувства, которых хватит еще на 25 лет тюремного срока? Кого мне слушать? Только собственное сердце, собственную совесть, где никакая логика ничего не оправдывает и ничему не поможет.

Счастье, великое мое счастье было в том, что на вторые сутки моего появления в Москве я мог звонить у этой двери в Лаврушинском переулке. Ибо завтра был уже поезд, ночевать мне было негде.

Но сегодня, 13 ноября 1953 года, я поднимался по лестнице и за дверью 72-й квартиры ждал меня Пастернак — что могло быть поразительнее?

Волнений было слишком много для одного дня, для одного года, может быть.

Я привез и отдал ему книжку стихов, синюю тетрадь, записанную еще около Оймякона, в Якутии.

Через час после моего ухода Пастернак позвонил сестре жены — он рад, он взволнован стихами. Но это я узнал только из письма — я уехал утром в Конаково, на фарфоровую фабрику.

Разговоры наши — не интервью, не беседы репортера со знаменитостью. Я приехал учиться жить, а не учиться писать. Пастернак задолго до нашей первой встречи был для меня

больше, чем поэтом. Никакого вопросника не было во время наших встреч. В своих письмах я писал, спрашивал, и во время встреч Борис Леонидович на многое отвечал.

Мне было сорок шесть лет. Из них двадцать я пробыл в тюрьме и в ссылке.

Но все беседы наши больше касались общих вопросов искусства, чем лагеря, тюрьмы.

Борис Леонидович был «общий», и я это хорошо понимал. Но то, о чем мы говорили, имело важность прежде всего для меня, для моего собственного поведения.

Мне было легко и радостно узнать, что по целому ряду вопросов мы держимся одинаковых взглядов. Так и должно было быть, иначе — что бы меня заставило желать личной встречи?

Я — тяжелодум, я всегда вспоминал дома самые сложные аргументы, которые не пришли в голову.

— Где Пильняк? Вы не встречали такого, кто бы знал? Ничего не слышали?

— Нет. Пильняк умер.

— Я знаю: «там» на меня тоже заведено дело. Дело Пастернака. Мне рассказывали. Но — не арестовали. Сколько друзей... а я — жил и живу... В день, когда Сталин умер, я написал вам письмо — 5 марта — открытку, что перед смертью все равны. Я был в Переделкине, стоял у окна — увидел — несут траурные флаги и понял.

Соседка моя два-три года назад сказала:

— Я верю, глубоко верю, что настанет день, когда я увижу газету с траурной каймой. Мужество, не правда ли?

Шолохов — первая часть «Тихого Дона» великолепна. Сила, свежесть. Больше не написал ни строки. Очень далек от гуманизма, от человеколюбия. Человеческая жестокость — вот его подстрочная тема.

Я гляжу ему в лицо, в веселые его глаза и весело слушаю:

— Нынешний год был хорошим годом. Я написал две тысячи строк «Фауста». Заново перевел. Была уже вторая корректура, но захотелось кое-что изменить — и как из строящегося здания выбивают несколько подпорок — и все готовое рассыпается в прах и надо строить заново. Так мне пришлось писать этот перевод заново. Я очень спешил, радостно спешил. Я понимал Фауста так: ведь Гете был ученый, естествоиспытатель и чертовщина Фауста не могла быть темой его поэтического одушевления. Не легенда народная, а реальная жизнь, напоминающая эту легенду, поэтический земной поток сквозь маски Фауста — так надо было его понять и так переводить. Эта попытка мной и сделана, и новый перевод во многом отличен от того, что было напечатано.

Я. — Это первый полный «Фауст» на русском языке?

ПАСТЕРНАК. — Нет, не первый. «Фауста» переводил Фет, Холодковский. Но я не брал, не смотрел этих переводов, когда работал. Вот когда я переводил «Гамлета» — я обложился переводами чужими, всеми, которые мне были только доступны и известны, — и двигался от строки к строке, сверяясь поминутно; «Фауста» я переводил без всяких вех, один... «Фауст» выйдет в ноябре, днями.

Но этот год, пятьдесят третий год, был для меня не только годом переводческих удач. Я написал еще летом несколько стихотворений. Строго говоря, они еще не записаны. Хотите, я прочту?

— Еще бы.

Много лет назад, в клубе 1-го МГУ в бывшей церкви Пастернак читал «Второе рождение». На стульях сидели актеры, музыканты, ученые — чуть ли не каждый мог собрать публику на собственный вечер. Здесь все они были зрителями, слуша-

телями, искателями истины. Где-то в толпе, забившись в самый безвестный угол, сидел и я, ловя каждое слово. Стихи читают по-разному. Есть манера Блока, равномерная, энергично отрубавшая строку за строкой. Есть напевное чтение Северянина и Есенина. Есть ораторское чтение Маяковского. Пастернак читал стихи как прозу, ритмизованную прозу. Получается теплее, проше, задушевнее. Тогда в университете Пастернак просил прощения, что не умеет читать стихи.

«Второе рождение» Пастернак читал по книжке, постоянно справляясь с текстом, не отводя от глаз маленькую книжицу.

— Не пропускайте, читайте все. Вы не прочли «Опять Шопен не ищет выгод».

— Сегодня мне не хочется читать это стихотворение.

Начались «ответы на записки», любимая московская потеха. Для этих ответов такой «характер», как Маяковский, заготавливал и вопросы и ответы заранее. Это называлось — «домашняя подготовка». Кто лучше сострит, тот и прав. Кто лучше обхамил литературного противника — тот и победитель. Но с Пастернаком дело обстояло совсем не так. Он развертывал и читал вслух подряд все записки, которые передавались на эстраду, и сразу отвечал со всей серьезностью, без тени улыбки, боясь только одного: как бы не солгать, не покривить душой при ответе ради «красного слова».

Помню — был вопрос явно провокационный: «Какую пользу принесет литературе постановление о роспуске РАПП?» Борис Леонидович провел рукой по виску, — был он тогда почти не седой — и ответил: «Литература живет по своим законам, и после постановления снег не будет идти снизу вверх».

Много говорил тогда Пастернак о том, что он не будет больше писать стихов, будет писать только прозу...

Было все это в тридцать третьем году, или в конце тридцать второго — двадцать, стало быть, лет назад.

Борис Леонидович читал в двух шагах от меня на память. Цветаева когда-то написала, что не знает своих стихов наизусть, и объяснила, почему это происходит. «Я слишком редко читала». Это замечание — правильное. Свои стихи надо учить, как чужие, и даже труднее запоминать, чем чужие, из-за вариантов, отвергнутых, выброшенных строк, строф и слов. Этой опасности нет при пользовании чужим текстом.

Я понял, что Пастернак тысячу раз уже повторил свои новые стихи — для себя ли, для близких, для знакомых читал ли — этого я не знал. Но любое стихотворение звучало без запинки. Все это были те самые стихи, которые после стали известны как «Стихотворения из романа в прозе».

Первым читалось «Половодье», «Мне далекое время мерешится», «Колыбельная» и «Август», конец которого затвердил я про себя тут же. «О плахе и хмеле», «Русская сказка».

— «Сказка» — ваша тема, — сказал Борис Леонидович.

Пирушки наши — завешанья,
Чтоб теплая¹ струя страданья
Согрела холод бытия.

В. Т. — Я когда-нибудь напишу рассказ, как я за вашим первым письмом ездил в пятидесятиградусный мороз, пересяживаясь с оленей на собак и с нарт — на автомобиль. Пять суток я ездил за этим письмом.

Б. П. —...В ответе вашем на мое большое письмо мне больше всего понравилось суждение о рифме. Рифма — как поисковый инструмент поэта — это очень верно, очень хо-

¹ У Пастернака — «тайная»

рошо. Теперь очень любят ссылаться на авторитеты. Так вот — это пушкинское определение рифмы.

...— Понимание искусства надо выстрадать. Самой важной перепиской такого рода для меня была переписка с Цветаевой — она все это очень тонко, очень больно понимала и чувствовала. Вот мне приходится читать статьи искусствоведа нашего Алпатова — учено, книжно, а не выстрадано, не выболено и потому — холодно, мертво. Огромный личный опыт, такой, как у вас, поможет вам найти правильный путь.

Я пытаюсь объяснить, чем был для нас Пастернак на колымской каторге, в заключение пытаюсь объяснить, почему стихи Пушкина или Маяковского не могли быть той последней нитью, соломинкой, за которую хватается человек, чтоб удержаться за жизнь — за настоящую жизнь, а не жизнь — существование...

Как Орлов, бывший референт Кирова, читал вечером в бараке накануне расстрела:

Скамьи, шашки, выпушка охраны,
Обмороки, крики, схватки спазм <...>

Сядут там же за грехи тирана
В грязных клочьях поседелых пасм.
Будет так же ветрен день весенний,
Будет страшно стать живой мишенью,
Будут высшие соображенья
И капли вешней дребедень.

Б. П. — Маяковский? Разве вы не видите, что из него сделали теперь? Хорошо, что вы не знаете «Охранной грамоты».

«Охранную грамоту» я знал чуть ли не наизусть, но промолчал.

— Как много плохого принес Маяковский литературе — и мне, в частности, — своим литературным нигилизмом, фокусничеством. Я стыдился настоящего, которое получалось в стихах, как мальчишки стыдятся целомудрия перед товарищами, опередившими их в распутстве...

— Вы не знаете языков?

В. Т. — Нет, в нашем поколении знание иностранных языков считалось чуть ли не подготовкой к шпионажу. Во всяком случае отягошало «обвинение» при случае... Почти столь же тяжкое преступление, как иметь родственников за границей.

— Когда будет наконец время печатать то, что думаешь? — спрашивает он сам себя и вздыхает. — Я был на пленуме, послушал. К голосовым упражнениям такого рода можно привыкнуть года за два. Сидят и твердят, как заклинание: «Нам нужна хорошая драматургия! Нам нужна хорошая драматургия». Это похоже вот на что: по улице идет молодой человек и все ему желают хороших внуков, и он твердит, что хочет хороших внуков. А ему надо думать о детях, а не о внуках. Надо получить жизнь хорошую, тогда будет и хорошая драматургия.

Было ощущение, что грозная пелена спала, и казалось, что люди, как у Андерсена, заколдованные в жаб, будут опять превращаться в людей. Но время идет, а жабы в людей что-то не расколдовываются...

Павел Васильев — вот кто был истинно талантлив из молодежи. Это — клюевский ученик, а Клюев был настоящим поэтом. Большим поэтом.

В. Т. — Воронская Галочка, дочка Александра Константиновича, была на Колыме как «ЧС».

— Я это тоже все знаю. Как «член семьи». Ужасно. Алек-

сандра Константиновича я знал и относился к нему с великим уважением. Позвольте спросить вас о Мандельштаме, о его судьбе.

В. Т. — Знаю только с чужих слов, что Мандельштам умер в 1938 году во Владивостоке, на пересылке, не попав на Колыму, куда его везли. Остался «должен» лет десять.

Б. П. — У нас нет Льва Толстого. Под силой его гения росло много писателей.

В одном из своих писем вы написали, что я обратился к евангельским темам. Но ведь дело не в евангельских темах, а в том удивительном соответствии реальности, жизненного тона с каким-то с детства известным сказочным событием, переключка душевная с чувствами и мотивами...

— Я так это и понимал и писал отнюдь не осуждающе.

— В ваших письмах было очень интересное для меня замечание о том, что поэтические идеи Пастернака близки поэтическим идеям Анненского, это совершенно верно, хотя никто никогда мне этого не говорил. Иннокентий Анненский — мой учитель.

— Вместе с Блоком...

— Блока мы все боготворили. Тогдашние молодые. Блок был всеобщий кумир. Но заражались от Блока жертвенностью, святостью поэтического долга, бурей чувств. Я находил у Анненского ряд тончайших замечаний, которые подсказывали пути, по которым никто еще никогда не ходил. Я писал уже вам, что я хотел бы уничтожить все из старого, за исключением «Февраль, достать чернил и плакать», «Был утренник, сводило челюсти», и написать по-новому, где деталь, подробность была бы столь же весома, как у Анненского или Льва Толстого.

Б. П. — Я в это лето вернулся к прежней работоспособности — вставал ночью к бумаге, забыл про режим, про инфаркты.

В. Т. — Я написал вам с Севера письма. Послал стихи, которые и отвезти-то все боялись, потом одна врачиха согласилась, привезла в Москву — а у Вас инфаркт. И я, получив об этом сообщение, подумал: «Вот как мне везет». Но вы поднялись, и встреча наша состоялась.

Б. П. — В марте — апреле (после смерти Сталина) звонили мне из «Знамени», из «Литгазеты» — нет ли у меня чего-нибудь готового для печати... Смешно...

Борис Леонидович целует меня в прихожей.

— Я хочу, чтоб вы прочли мой роман. Половина его — написана. Окончание романа — моя ближайшая работа. Возьмите первую часть у Н. А. Кастальской¹. Все это — и роман, и стихи, и «Фауст» — работа одного плана. Человек ведь не пишет — вот одно, а вот другое, все, что написано — есть отражение, ощущение одного периода. Впрочем, все это хорошо известные вещи, и напрасно я вам все это говорю...

Мы выходим на лестницу. Борис Леонидович машет нам рукой. Сил спускаться почти нет, держусь за перила. Жена отчитывает меня:

— Ты поздоровался с Б. Л. раньше, чем он поздоровался со мной. Так не полагается.

Той же ночью я уехал в Конаково. Фельдшерское место Горздрав мне давал — при условии, если местное НКВД со-

¹ Кастальская Н. А. — Наталья Александровна Кастальская, дочь композитора А. Д. Кастальского, профессора Московской консерватории.

гласится на мое житье в поселке фарфоровой фабрики. Начальник райотдела НКВД был и не любезен и не груб — глубоко равнодушен. Выслушав краткую мою просьбу, сказал лениво:

— Найдете работу, и можно будет прописать, хоть в Конакове не 10, а 14 тысяч жителей.

Работа была — требовалось разрешение на прописку. Эту «спихотехнику» я знал хорошо и медлить не стал — уехал в Калинин. Оставив надежды на фельдшерскую работу, устроился товароведом, а вернее — агентом по техническому снабжению в Озеречко-Неплюевское строительное управление. Поселили меня в «гостинице», — в «доме приезжих». Это была обыкновенная крестьянская изба, которую хозяйка сдавала строительству. Пять коек в комнате. Стол. Стулья. Пьянство каждый вечер. Сюда-то привез я из Москвы первую часть «Доктора Живаго» и читал, читал, читал... А когда все засыпали — писал. Писал о всем, что было разбужено во мне этим романом.

В конце ноября я взял рукопись у Бориса Леонидовича. Опять никого не было дома. Этот второй разговор был в кабинетике справа. Там — книжные полки. Письменный стол с выдвижными ящиками — откуда-то из глубины вынырнула зеленая книжка стихотворений.

Борис Леонидович поправил карандашом ошибки и отдал книжку.

Идет разговор о моей «синей тетради» — той тетрадке, которую отдал я в прошлый приезд. Ее у меня сейчас нет. Читает Б. Л., говорит несколько лестных слов о моих стихах.

— Если вы не должны писать стихов, то и я не должен писать. Послушайте стихотворение: «Ты значил все в моей

судьбе». Я дал несколько стихотворений представителю «Литературной газеты». Тот выбрал «Рассвет» — это ведь Сталину посвящено, не правда ли? Какому Сталину? Это стихотворение посвящено Богу, Богу. Звонит снова: «Извините, мы ничего напечатать не можем». Я хочу, чтобы вы внимательно послушали «Свадьбу». В стихотворении этом есть кое-что новое для меня. И я хотел бы знать — действует ли «Свадьба» так же, как прежние мои вещи. «Свадьба» — пример выхода на широкую публику, где самое откровенное, философское изложено в нарочито обнаженном виде.

Жизнь на свете только миг,
Только растворенье
Нас самих во всех других,
Как бы им в даренье.

В «Докторе Живаго» Андрей говорит то же самое. Позднее в стихах «Быть знаменитым» — «Во всем мне хочется дойти» та же мысль изложена в новых, еще более четких вариациях.

— Это — круто разлившийся свист,
Это — двух соловьев поединок.

Ожидание большого читателя перешло в ошущение приближения этого читателя. Поэт русской интеллигенции хочет говорить со всем народом, со всем миром.

— Всю жизнь я хотел сказать многое для немногих.

Стихи последнего времени, начиная со сборника «На ранних поездах», дышат другим. Я пожертвовал многим, возвращаясь на классические дороги.

— Напрасно вы с таким пренебрежением говорите о Сельвинском. Сельвинский — поэт. Просто его беда, что он увяз в «украшательстве», в «искусственности» и этому по-

святил свою жизнь. Вместо того чтобы искать правду жизни, занялся формальными исканиями, задушившими в нем искренний голос.

Мартынов — это не поэт. Это — искусственность, а не искусство. Поэт, которому нечего сказать? Разве бывают такие поэты?

«1905 год» и «Лейтенант Шмидт» — это два сборника, которые я хотел бы забыть.

В. Ш. — Море из «Морского мятежа» мне кажется превосходным стихотворением.

Ты в гостях у детей,
Но какую неслыханной бурей
Отзываешься ты,
Когда даль тебя кличет домой.

Б. П. — Отдельные удачи — не в счет. Марина Цветаева, чье поэтическое ухо было всегда инструментом совести, отрицала самым категорическим образом ценность этих двух сборников моих. Сразу написала, что я — «списываю у соседа», что стихи меня недостойны. Я не особенно обратил тогда на ее слова внимание, а потом увидел, услышал сам — сколько в них искусственности.

В 1956 году чехи прислали с Паустовским письмо Б. Л., предлагая издать «1905 год» и «Лейтенанта Шмидта» в «Избранном». Борис Леонидович категорически отказался. Я читал черновик ответного письма. Пастернак благодарит издателей за приглашение, но разрешение на издание этих сборников не дает. Если издатели действительно относятся к нему с уважением и могут помочь выполнить заветное желание поэта — пусть издадут его новый роман «Доктор Живаго», где он, Пастернак, отвечает на все вопросы искусства,

жизни, истории и общества. В этом же письме Пастернак отрицательно отзываясь о прозе Горького и Алексея Толстого — писателей, отступивших, по его мнению, от идей, от задач большой русской литературы. Послано ли было это письмо — я не знаю.

— Нобелевской премией меня хотели наградить в 1954 году. Но правительство наше в ответ на запрос Стокгольмского комитета сообщило, что возражает категорически. Правительственный кандидат — Шолохов.

Первая часть «Тихого Дона» была очень хороша.

Да. Весна была тогда, весна.

Всю жизнь я хотел писать прозу. Рассказы печатал — плохие. «Детство Люверс» показало мне, что кое-что новое я вижу. «Охранная грамота» — была развитием тех же начал, которые виделись в «Детстве Люверс». «Доктор Живаго» — это другое. Все косноязычие, что плыло свободным потоком, подобно стихам, где много находок связаны, подчеркнуты аллитерацией и, может быть, ею рождены. Все это мудрствование было выброшено, отмечено. Я стремился, понятно, сохранить особую тональность. «Доктор Живаго» в этом отношении несомненный и значительный шаг вперед. Особенно меня беспокоит вторая часть. Столько есть примеров, когда вторая часть, конец, ослабевает. То ли писать надоело, то ли автор потерял интерес к тому, что бурлило в нем вчера. Для меня в этом отношении вторая часть была примером особых забот. Сделал все, что мог.

Третья встреча. 2 января 1954 года. Девять часов вечера.

— Вот вам «Фауст». Многие хотели получить, но я сберег для вас.

Телефонный звонок.

— Да, Коля, да. Благодарю. Поздравляю и тебя.

— Асеев. — Борис Леонидович говорит грустно и негромко. — Асеев. Бывший товарищ. Чужой, совсем чужой человек. Лефовские круги я вспоминаю с отвращением. Пусть переводы, пусть случайная работа — только не это лефотворчество.

Искусство гораздо серьезней и требует совсем других человеческих качеств, чем думали Маяковский и Асеев. Нравственная ответственность поэта, ответственность русского писателя очень велика.

В тридцать пятом году я был в Париже на конгрессе.

Это был тот самый Конгресс защиты культуры, на котором русскую делегацию представляли Шолохов, Шагинян и Виктор Финк. После первых выступлений советских делегатов организаторы конгресса — братья Манны, Мальро — бросились к Эренбургу. Эренбург был «офицером связи» между Западом и Востоком.

— Кого вы привезли? Мы хотим говорить о смысле жизни, о душе Запада и душе Востока, а нам читают иффы надоя и уборки свеклы. Спасайте.

Эренбург послал телеграмму, и в Париж спешно прибыли Пастернак и Бабель. Пастернак вышел говорить — ему аплодировали пятнадцать минут. Он сказал краткую речь — ту самую, где говорил, что поэзия — в траве — надо только нагнуться, чтобы ее поднять.

— Ко мне обращались писатели, журналисты — много, много, чтоб я высказал свое мнение, свое суждение о времени. Я обещал это сделать особо, а не в газетных беседах. Я хочу выполнить свое обещание. Я не хочу быть Хлестаковым, быть хвастуном. Я написал роман — в нем я даю ответ

на все вопросы, которые задавали мне в течение ряда лет и устно, и письменно, и в выступлениях, и в речах, и в беседах. Я написал «Доктора Живаго». Я еще не кончил романа. По плану я проведу его через двадцатые годы и доведу до «ежовщины» — доктор погибает в концлагере.

Почему поэту важно писать прозу? Поэт Пушкин воспринимается вместе с его прозой, на ее фоне понимается. Не все можно сказать стихами. Стихи Лермонтова понимаются, чувствуются тоньше, точнее, лучше, если помнить о его прозе. Сама проза — материал для лучшего понимания стихов. А вот Верлен, который не писал стихов, требует для полного восприятия — современной ему французской живописи.

Единство нравственного и физического мира в «Докторе Живаго» — это от Толстого, его эго принцип.

В. Ш. — Вам не кажется, что женщины лучше мужчин? На Севере я знаю много случаев, когда жены приезжали за мужьями-заключенными. Женщины мучились, голодали и холодали, подвергались всяческим издевательствам и штурмам похотливого лагерного начальства — губили себя, ведь свиданий не давали, да и Колыма — это ведь пол-Европы, восьмая часть Советского Союза. Поселки там разбросаны один от другого, а инструкция начальникам из Москвы — чтобы разлучать, а не соединять. Жена с трудом устраивается на работу поближе к мужу, и как только это установлено — мужа в тот же день переводят на какой-нибудь дальний участок. Режим, бдительность. И жены это все знают наперед и все-таки едут... Я не знаю ни одного случая, чтобы муж последовал за ссыльной женой.

Да, женщины лучше, лучше, лучше.

Вы знали Рейснер, Борис Леонидович?

— Знал. Познакомился на чьем-то докладе, вечере. Вижу — стоит женщина удивительной красоты и что ни скажет — как рублем подарит. Все умно, все к месту. Обаяния Ларисы Михайловны, я думаю, никто не избег.

Когда она умерла, Радек попросил меня написать стихотворение о ней. Я написал «Иди же в глубь преданья, героиня».

— Оно не так начинается.

— Я знаю. Но суть — в этих строках. В память Ларисы Михайловны я дал имя своей героине из «Доктора Живаго».

Поэту необходимо все время писать прозу. Куски отдельные, не заметки, не записи, а куски художественной ткани. Значение таких отрывков очень велико. Надо стараться никому не подражать. Именно в отрывках, в кусках вы избежите чужих стиливых влияний и, значит, добьетесь победы. Ваш огромный личный опыт, ответственность ваша велика. По письмам я уже получил представление о вас. Физический ваш облик укрепляет меня в моем суждении. Хочу верить, что вам дано сказать многое.

Я переводил много. Переводы мне даются легко.

Перевожу для театра. После шекспировских пьес получил заказ на «Марию Стюарт» Шиллера. Это будет легкая работа.

Я много переводил Тициана Табидзе, Яшвили. Я ведь их обоих знал.

— Вы никогда не переводили Гейне?

— Я не очень жалую романтическую иронию. И поэзия и жизнь слишком серьезны — там не до шуток. За шуткой не спасешься. Ирония — плохое оружие, плохой шит.

Со сборника «На ранних поездах» я вышел на новую дорогу. А прежнее — только самое лучшее — я ведь писал вам, что «Был утренник...», «Февраль, достать чернил и плакать...».

Гоголь о Пушкине написал: «У него в каждом слове — бездна пространства». Вот эти слова можно отнести к Пастернаку всех времен, а больше всего — времени «Сестры моей жизни» с необычайной, небывалой в мировой поэзии емкостью строки.

Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности ее
Я б уступил им всем, я б их повел в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище мое¹.

Пастернак не только не был отшельником, но держал руку на пульсе времени. Стремился выступать везде, где только можно было выступать.

— Пусть мне дадут зал и продают билеты. Я покажу — соберу ли я слушателей.

Меня позвали к Пришвину незадолго до его смерти. Мы не были знакомы раньше. Приезжаю. Пришвин в постели. Говорит:

— Позвольте пожать вашу руку и поблагодарить вас за все, что вы написали. Как же, думаю, умру и не познакомлюсь с Вами. — Вот такой разговор. Меня очень тронул этот визит, эти слова.

— Каково ваше суждение о Пришвине?

¹ Из цикла «Разрыв», стихотворение «Когда бы, человек — я был пустым собраньем...».

— Очень высоко ставлю. Очень. Понимал все. Природа ему нашептала. Он человек не книжный.

«И творчество и чудотворство». Я повторял про себя эту строку из «Августа», взволнованный этим рассказом. Позднее оказалось, что «отпущение грехов» понадобилось не только Пришвину.

Приехал итальянский писатель Мачиаро.

— Мои пьесы идут во всех театрах мира, я признан, я писатель и драматург. Но у меня есть нечто, о чем бы я хотел поговорить именно с вами и притом без переводчика.

Выбирается французский язык. Итальянец рассказывает:

— Я долго шел к своей славе, трудно. В молодости у меня был друг — его романы, стихи, пьесы уже получили известность. Я не буду называть его имени — вы знаете это имя. Мы были очень дружны. Я был в полосе несчастий, я думал только о смерти. Мой друг сказал: «Я чувствую, что успех мой случаен, я ничего уже не создам. Я тоже хочу умереть». И мы назначили день и час, чтобы покончить с собой каждый у себя дома. Завтрашний день, завтрашний час. Мой друг покончил с собой. А я — я остался в живых. Я струсил, понимаете, струсил. И целую жизнь я ношу на себе это невидимое страшное клеймо. И вот о том, что такое самоубийство, я и приехал говорить с вами, господин Пастернак. Мне кажется — в мире нет людей, поэтов, писателей, философов, так далеких от самоубийства, как вы. Говорите со мной.

Борис Леонидович говорил, что все проходят через это. Но не все кончают с собой.

— Часто плачу от волнения. Кажется, и причин нет. На экране покажут лошадь крупным планом, а у меня слезы от

волнения. Или Брамса играют — плачу и приговариваю: плохой, плохой композитор...

— Содержание не должно перегружать стихи. Стихи должны быть легче, более игрой... Пример, где содержание раздавило стихотворение и убило поэзию — работы Владимира Соловьева... А обратные примеры, где поэт чутко следит, чтоб содержание, главенствуя, не ущемляло бы прав всего остального, — Тютчев, Баратынский, Рильке.

Это — тоже отрицание прежнего. «Сестра моя жизнь» велика огромной смысловой нагрузкой каждой строки. Емкость строк «Сестры моей жизни» необычайна, несравненна. И кроме того, разве есть у самого Б. Л. стихи, в которых бы содержание потеснилось, уступая главное место чему-то другому. «Все другое» в его стихах и прежних и новых занимает ровно столько места, сколько ему отведено содержанием.

— Не бывает гениального пустозвонства. Гениальный шут может быть только тогда, когда его шутки — не шутки.

— Конечно, я тоже дежурил на крыше дома, сбрасывал немецкие «зажигалки». Военные стихи мои не халтура, не принуждение. В большой войне тиран сливается с народом — это закон старый.

Борис Леонидович был не фанатик, не скептик, не поучающий вождь, проповедующий новую теорию искусства. Теория искусства и жизни была у него законченная, цельная, и лекций никаких по этому поводу он не читал, и взгляды излагались им всегда по какому-нибудь конкретному случаю.

Несомненно, он много думал о смерти, о смысле жизни, о своем месте в обществе — и сделал все выводы из своих размышлений.

Б. П. — Мне кажется, что по-настоящему захватить человека может только произведение, трактующее страдания, боль... Что в искусстве минор сильнее мажора. Что «Евгений Онегин» не потому волнует всех, что это — «энциклопедия русской жизни», а потому, что там любовь и смерть.

В. Ш. — Возможно... Кстати, Белинский отнюдь не такой большой авторитет среди русских литераторов. Есть старая традиция, отрицающая Белинского: Гоголь, Достоевский, Блок — большие имена.

24 июня 1956 года я обедал у Пастернака в Переделкине. Будучи человеком, не очень сведущим в вопросах этикета, явился я ровно к назначенному времени — и застал хозяина в ванне. Провели меня на террасу, познакомили с женой Луговского, которая явилась с какой-то литературной просьбой мужа — стихи для сборника должен был дать или обещать Пастернак. Гости съезжались на дачу. Пришел Асмус, Симонов (актер), ждали только Нейгаузов, чтобы начать обедать. Борис Леонидович читал на террасе нам куски из новой автобиографии, которую он тогда готовил для сборника своих стихов в Гослитиздате — сборник этот вышел много лет спустя в очень ошипанном виде, а автобиография была напечатана во Франции, кажется. У нас она ходила по рукам — Пастернак, как и Мандельштам, Цветаева, Ходасевич, обходился без помощи Гутенберга.

Эти куски автобиографии (которую я читал и раньше) о Блоке, о первом своем сборнике «Близнец в тучах», где никаких «технических» задач не ставилось, о попытке писать свободно, дать вылиться тому, что накоплено неизвестно как, как эта великая способность потом была понемногу утрачена.

На стенах переделкинских комнат — акварели отца, такие же, как и в Лаврушинском.

Помню, обратил я внимание, что в доме очень мало зеркал. Когдаходишь в комнату, обычно раньше всего замечаешь зеркала — это самые живые кусочки любой комнаты. Здесь зеркал не было. Случайность? Нет. Хозяева дачи были уже в таком возрасте, когда зеркала могут только подсказывать неприятное, неизбежное.

И старость дом не миновала,
Как бы ни крепок был закал.
Вот почему зеркал здесь мало,
Напоминательных зеркал.

(В. Шаламов)

Б. Л. свел меня наверх, пока собирались гости, на чердак, откуда сходит небо — большая комната с диваном, с большим письменным столом, со шторами во все огромное окно. Распахнув эти шторы, Пастернак встречался ежедневно с небом, с лесом, с солнцем. Отсюда, из своего рабочего кабинета, присмотрел он и место для своей могилы. У трех сосен на Кладбищенской горе он и похоронен. Но он умер только через четыре года, еще не было ни Нобелевской премии, ни радиостанций всего мира, ревуших: Пастернак, Пастернак, не было ни письма Неру, ни героических усилий написать «Слепую красавицу».

— Вот хочу вам показать свой рабочий кабинет.

Я поблагодарил. Мы вышли к гостям. Пастернак: вот человек, который отразил в русской поэзии ту самую эпоху.

Приехали Нейгаузы — отец и сын с женой, пришла Ольга Берггольц, Луговской, и обед начался.

— Сыграйте это — Борис Леонидович к Нейгаузам. И тот, и другой отказываются.

— Если бы я был музыкант, — Борис Леонидович берет меня за плечо, — я бы такие разделявал вещи, такие...

Борис Леонидович весел, оживлен. Рюмку за рюмкой пьет коньяк, тост следует за тостом.

Ошущение какой-то фальши не покидает меня. Может быть, потому, что за обедом много внимания отдано коньяку — я ненавижу алкоголь. Мне кажется, что жена и Нейгаузы — словом, ближайшее его окружение — относятся к нему как к ребенку-мудрецу. Не очень считаются с его просьбами (отказ Нейгаузов играть и кое-что другое). Сами просьбы, с которыми он обращается к домашним, как-то нетверды. Он — чужой человек в доме. Дача, хозяйство, приемы, обеды — все, что миновало и минует его (житейская чаша) — обошлось, видимо, дорого.

Нейгауз рассказывает о встрече с Варпаховским в Киеве — встретился на улице со своим собственным следователем. Что тут удивительного?

Разговор о «Высокой болезни».

Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой угод.

— Эти знаменитые последние строки «Высокой болезни» в однотомник (который редактировал Луппол) входили, — рассказывает очень оживленно Борис Леонидович. — Я уже держал в руках «листы», где эти строки сохранялись. Я позвонил Лупполу — как бы его не подвести, и Луппол перепугался страшно. Благодарил. Еще раз звонил — благодарил. Где теперь Луппол? Там, где все.

— Церковные стихи Есенина и богохульство Маяковско-

го — для искусства лишь равноправное использование одного и того же материала. Один — богохульничает, второй — славословит, а главное в том, что ни Маяковский, ни Есенин обойтись без этих образов не могут. Евангельские церковные образы важны для жизни, необходимы. Своими стихами из романа в прозе я подтверждаю ту же самую мысль.

Я читал «Ландыш», «Шесть стихотворений», «Камею».

Как слушали? Рубен Симонов слушал как актер — страстно и вовсе равнодушно. С таким же беспристрастием и равнодушием глотал он коньяк. Луговской слушал больше как редактор, чем как поэт. Это — можно напечатать, а это — нельзя. Его жена замечала только то, что научил ее замечать муж — «бронзы звон» или «гранита грань» — грубые аллитерации.

Нейгауз-старший слушал с великим добросердечием и симпатией, сдобренными хорошей дозой коньяку, не особенно вникая в содержание и не волнуясь этим содержанием.

Станислав Нейгауз, увидя с первых строк, что ни о чем, что могло бы потревожить дух музыки, тут речи не пойдет, слушал с дружелюбным и терпеливым вниманием.

Ольга Берггольц слушала хорошо, косясь на Пастернака, не зная еще, как оценить, и готовилась читать сама свои тюремные стихи.

Зинаида Николаевна слушала одобрительно — стихи с Севера должны быть одобрены, да и Борису Леонидовичу они нравятся.

Борис Леонидович слушал, опасливо обводя глазами гостей, готовый броситься на любого, кому бы эти стихи не понравились. Но понравились всем.

Гений в плену семьи.

Вскоре после этой нашей встречи я узнал, что Бориса Леонидовича Литературный институт — тот самый, имени Горького, просил прочесть несколько лекций. Борис Леонидович отказался.

— Все мои заботы — нынешние — это хлопоты по опубликованию романа. «Доктор Живаго» должен увидеть свет. Больше ни о чем не хочу думать, ничем не хочу заниматься. Это — краткий разговор на ходу в Переделкине, около калитки, Борис Леонидович — в войлочной круглой шляпе грибом.

2 декабря 1956 года я еще раз видался с Б. Л. не на улице. Я был не один, не задавал вопросов и все записанное тогда — произнесено почти что «*urbi et orbi*». Борис Леонидович сразу начинает говорить о параллельности двух своих существований, двух своих жизней. Одна — вот этот мир повседневности, другая жизнь — в каком-то большом плане, если не бессмертия, то жизни в кругу больших вопросов, в отвоеванном им месте, в движении каких-то вечных идей, так неохотно пускающих за порог всякого нового человека. Параллельная жизнь — это не приспособляемость. В обоих существованиях живут, не кривя душой.

Мы — свидетели времени, когда идеи, имеющие начало в Сен-Симоне и кончающиеся опытами осуществления этих идей в реальности последних лет, уступят место в искусстве и жизни росткам чего-то нового, «нераспропагандированной» живой траве, уже растущей.

— О Бурлюке. Я отказался видеться с Бурлюком. Лиля Юрьевна Брик готовила эту встречу. Сослался на экзему. Да и в самом деле экзема тогда разыгралась. Что у меня

общего с Бурлюком: нарисуют женщину с одной рукой и объявляют свое произведение гениальным. Я давно, слава богу, избавился от этого бреда. Так мы и не повидались. Когда Маяковский читал «Человек», Белый слушал его зачарованно, слушал, как ребенок. Я рассказывал об этом вечере в «Охранной грамоте». Белый — гений. Но не универсален, не всегда. Наставленный на что-нибудь одно, он прозорлив, гениален. Наставленный на другое — ничтожен. Хороша, отлична его проза. Дань этой прозе отдал и я в «Детстве Люверс». Из стихов лучший сборник Белого «Пепел»...

Белый — методист. Если бы от его дыхания, от его голоса лопнуло какое-нибудь стекло в зале, он выбил бы остальные стекла кулаком.

После самоубийства Маяковского я был у него на квартире, потрясенный. В соседней комнате — Бухарин. Бухарин говорит пошлые вещи. Я думал — мне тяжело, но я чего-то не понимаю, в чем-то ошибаюсь, не верю чувству своему. И только на процессах 37—38 годов я увидел, что и им тяжело, что время мучает всех.

Белый мог чувствовать, воспринимать искусство, как никто. Коры самодовольства (положения, славы) не было у него. Он обнаженными нервами воспринимал все талантливое. Белый был потрясен «Человеком» Маяковского. Тогда Бальмонт читал какие-то сонеты. Я был молод, сказал что-то резкое Бальмонту. Бурлюк отвел меня в сторону и шепнул:

— Не горячитесь. Вы тоже талантливы, вы еще будете с нами работать.

— С кем я вижу? Иванов, Нейгаузы, Ливанов, Симонов...

Чем я занимаюсь сейчас? Застой творческий. Вероятно, еще напишу несколько стихотворений. Читаю французские,

немецкие книги — для практики в языке. Если поеду за границу (меня зовут в Венецию), хочу свободно владеть языком. Хочу напечатать роман — вот главная моя задача, цель жизни. Скоро выходит мой однотомник. Банников просил написать меня предисловие — напишу поправки к «Охранной грамоте».

В этом однотомнике, который был рассыпан в 1957 году и вновь собран в 1961-м, подверглись жестокой ухудшающей авторской правке ранние стихи Бориса Леонидовича.

Банников в свое время безуспешно протестовал против исправлений, ратовал за привычные, известные всему миру варианты, но Б. Л. настоял на своем.

В тот вечер Борис Леонидович выглядел превосходно, крепким физически и духовно.

«Я дышу легко. Я не чувствую необходимости лгать, фальшивить. Я не подписал письма против французских писателей (Сартра и других), и, кажется, наши именно хотели, чтоб я не подписал его».

Зато Сартр в своей статье о «Холодной войне» написал, что Пастернак — отшельник, живущий вне времени и пространства. Но о Сартре после.

Волков-Ланнит¹ спросил о мнении Пастернака о Шкловском. Б. Л. ответил, что ценит и помнит интересные книги Шкловского, но все его открытия («приемы» и т. п.) — вовсе

¹ Волков-Ланнит Леонид Филиппович (1903—1985) — журналист, историк фотоискусства. Шаламов познакомился с ним в кружке «Молодой ЛЕФ», руководимом О. М. Бриком.

чуждое, чужое творческим принципам и практике Пастернака:

— Сейчас не важно, кто талантлив, кто не талантлив в нашем искусстве. Важно столкнуть искусство с мертвой точки?..

Б. Л. далеко не вне политики. Он — в центре ее. Он постоянно определяет «пеленги» и свое положение в пространстве и времени.

Б. П. — В стихах первый вариант — всегда самый лучший. Самый честный, вернее. Когда-то я смотрел на себя, как на инструмент, которым владеет кто-то, чтоб стих лился свободно, как бы чужой рукой писались стихи. В юности, в молодости я отдавался силе этого потока.

В. Т. — Мне кажется, даже у больших поэтов в небольшом стихотворении можно угадать, какая строфа была написана первой.

— По всей вероятности.

Позднее, читая воспоминания Фокина¹, я встретился с той же мыслью — первый танец всегда самый искренний. («Первый исполнитель и является наиболее подходящим».)

Это — та же трактовка того же вопроса. Пастернак писал стихи пятьдесят лет. Всякий, кто сколько-нибудь внимательно перечитывал стихи поэта, сборники, изданные им, знает, что канонических текстов его стихов не существует. При подготовке каждого издания (а их было немало за пятьдесят лет работы, за семьдесят лет жизни), Пастернак всегда делал исправления строк, меняя слова, снимая строфы, меняя их

¹ Фокин Михаил Михайлович (1880—1942) — артист балета, балетмейстер, педагог, участник Русских сезонов 1909—1912 и 1914 г. Автор книги воспоминаний «Против течения» (М., 1962).

порядок. Эти исправления далеко не всегда улучшали стихотворение.

Даже в самых первых переизданиях тексты отличаются от первоначальных; особенно много правки было внесено при подготовке ленинградских изданий 1932 и 1933 годов.

Не всегда можно установить — по чьей воле сняты строфы, изменены слова — самого поэта или цензуры.

Окончание стихотворения «Весной бездонной»¹ в журнальном тексте и тексте «Второго рождения» было:

О том ведь и веков рассказ,
Как, с красотой не справясь,
Пошли топтать, не осмотрев
Ее живую завязь.
Но в жизни красота как раз
И крылась жизнь красавиц,
Но их дурманил лоботряс
И развивал мерзавец.
Отсюда наша ревность в нас
И наша месть и зависть.

В ленинградском издании 1932 года «Высокая болезнь» кончается известными, широко известными строками:

Я думал о происхождении
Века связующих тягот,
Предвестьем льгот приходит гений
И гнетом мстит за свой уход.

В том же издании 1933 года этих строк нет.

Особенно много исправлений в одномомнике, который собирался в 1956 году (издан в 1961). Здесь редактор Бан-

¹ Стихотворение «Весеннею порою льда...» из цикла «Второе рождение».

ников безуспешно боролся с поэтом, защищая старые, известные, канонические варианты.

Замечательные строки «Зеркала» из «Сестры моей жизни» испорчены. Было:

И вот в гипнотической этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.

Теперь:

И вот в усыпительной этой отчизне
Ничем мне очей не задуть.

Мотивом всех этих переделок была отнюдь не требовательность. Просто Пастернаку казалось, что строй образов того, молодого времени чужд его последним поэтическим идеям и поэтому подлежит изменению, правке. Пастернак не видел и не хотел видеть, что стих его живет, что операции он продельывает не над мертвым стихом, а над живым, что жизнь этого стиха дорога множеству читателей. Пастернак не видел, что стихи его канонических текстов близки к совершенству и что каждая операция по улучшению, упрощению лишь разрывает словесную ткань, разрушает постройку.

С этим он считаться не хотел.

Второе, что обязательно надо иметь в виду, — его особые отношения к собственному творчеству. Распоряжаться своим стихом свободно, никаким опубликованием текстов себя не связывая, — так Пастернак всегда смотрел на печатание своих стихов. Богатство словесное было неисчислимо, и он просто не видел необходимости за что-то цепляться, что-то чересчур придирчиво защищать.

Не надо собирать архива
Над рукописями трястись.

Стихи — это далеко не все в жизни. Эту мысль он высказывал неоднократно. В так называемой второй автобиографии, напечатанной в Париже, он пишет о Пушкине, что «все будущее и настоящее Пушкину было менее дорого, чем улыбка Гончаровой». В этой фразе — оправдание собственного поведения, претворяющего разносторонность живой жизни, участие в ней. Это проповедь жизнелюбия, оптимизма, активности — всех тех самых черт характера, которыми и отличался Пастернак.

Пастернак к сороковым годам резко изменил свои прежние оценки людей и событий, осудил Маяковского и лефовцев, разорвал и личные отношения со всем этим кругом. Но из бывших его товарищей остался человек, к которому Пастернак относился с неизменной симпатией. Этот человек — Алексей Крученых.

После 1956 года я видел Бориса Леонидовича лишь однажды — зимой пятьдесят седьмого года, на улице в Переделкине. Говорить с ним не пришлось... Случилось так, что о всех событиях до и после Нобелевской премии пришлось мне узнавать из газет.

12 января 1960 года в тетради сделана запись. Пастернак работает с большим увлечением над пьесой «в прозе». Пьеса — история русского крепостного актера перед освобождением (1861). Кроме пьесы — переводы и переписка громадная — каждому Б. Л. отвечает на языке автора письма. Летом 1959 года шли слухи, что Б. Л. «пишет роман из жизни идолопоклонников».

Работа над переводами Шекспира для Художественного театра, и особенно «Мария Стюарт» Шиллера, сблизила Б. Л.

с актерами театра. Театр сделался для него не только отдушиной, но одним из путей познания мира. Великолепное стихотворение «Актрисе», посвященное А. П. Зуевой:

Талант — единственная новость,
Которая всегда жива, —

напечатанное в журнале «Театр», дает понятие о настроениях того времени.

Я мог бы написать рассказ о своем колымском путешествии за письмом Пастернака.

31 мая 1960 года постучала в дверь Ариадна Борисовна Асмус и тревожным голосом сказала, что Борис Леонидович умер в ночь на 31-е¹. Валентин Фердинандович Асмус был с Пастернаком всю его болезнь, а со времени ухудшения и ночевал на пастернаковской даче. Не инфаркт, не инсульт. А рак легких с метастазами в желудок и кишечник. Нечто вроде тургеневской диагностической ошибки. Быть может, и инфаркты были не инфаркты. Врачом у него был Френкель из Литфонда, но, конечно, приглашали и профессоров. Профессор Петров (по позднему рассказу Перли) был неприятно поражен оживленностью Пастернака, его стремлением облечь каждую фразу в красивую форму. «Ломанье», «предсмертное кокетство» — так умозаключил профессор Попов. Но это было не ломанье, не поза, а нездешний поэтический ход его мыслей, обгоняющих друг друга.

Профессор Петров немного в своей жизни имел дело с людьми искусства.

День и час похорон? Кремация? Панихида? Переделкинская могила? Выбрана была могила у трех сосен, а панихида

¹ Б. Л. Пастернак умер ночью 30 мая 1960 г.

не служилась, хотя слухи о том, что отслужили тайно, в деревне ходили.

Из Лондона приехала сестра. Ее известили с первых дней болезни, но до самой смерти поэта тянули выдачу визы, и сестра, 58 лет, с дочерью, не знающей русского языка, прилетела уже после похорон.

Б. Л. лежал с 25 апреля, состояние все ухудшалось. Рентген показал опухоль легких, рак легких. Все время работал лежа. Торопился дописать пьесу (последняя за это время получила название — «Слепая красавица»). Говорил:

— Пусть ничего в моей личной жизни больше не случается ни плохого, ни хорошего — только бы кончить пьесу.

За несколько дней до смерти говорил Зинаиде Николаевне:

— Если мне суждено поправиться, я буду заниматься разоблачением пошлости — ее одинаково много на Западе и у нас.

В 0.30 31 мая он умер, а через полтора часа Би-би-си уже передавала о его смерти по радио.

Газетные объявления были даны в обеих литературных газетах, но сквозь зубы, непарелью: о смерти писателя, члена Литфонда Пастернака Бориса Леонидовича. Ни слова о дне и часе и месте похорон, совсем как пушкинские похороны.

Первого июня я поехал и попросился с Борисом Леонидовичем. Доступ к нему был открыт с вечера 31 мая (утром «замораживали»). Из маленькой комнатки, «музыкальной», вынесли рояль — на крашеном полу остались резкие царапины — и внесли туда самого духа музыки. Внесли мертвым. Все время казалось, что чудо обязательно произойдет, что

поэт воскреснет. Но Пастернак не отвечал. Цветов было мало — сирень, полевые. Все было тихо, сердечно. Вставали на колени, крестились, плакали — хотя и мало было людей. Я помню все это очень смутно. «Порядком» и справками распоряжались актеры Художественного театра. Кто-то бритый сообщил мне, что «вынос завтра в четыре часа».

Похороны — дело суетное, мирское. Я приехал пораньше, к двум часам, чтоб еще раз поговорить с поэтом, в последний раз послушать его. Не удалось. Уже было полно людей и по всем тропам и дорогам шли гости. И гроб был уже перенесен из «музыкальной» комнаты и поставлен в столовой, и провожающие ходили вокруг гроба «по лучшим образцам».

Трещали невыносимо самолеты, опускающиеся во Внуково, жгло солнце, толпа людей во дворе все росла. Люди топтали башмаками сирень, гряды, траву, наступали на клумбы, крошили каблуками глиняные цветочные горшки. Шелестели киноаппараты, вспыхивали лампочки фотокорреспондентов. В два часа дня еще казалось, что фотокорреспондентов больше, чем друзей.

«Музыкальная» с царапинами рояля, который упирался, когда его вытаскивали отсюда, была зашторена, и в ней перезаряжали фотоаппараты.

В пять часов (а не в четыре) гроб поплыл к кладбищу, и оказалось, что людей собралось более тысячи. Много это или мало? Для «пушкинских» похорон много, а для прощания с первым лириком мира, с признанным поэтом мирового значения, нобелевским лауреатом — ничтожно мало. Это объясняется не только «дисциплинированностью» общества, плохой информацией, неудобным временем.

Но главной причиной, удержавшей многих дома, были известные покаянные письма Пастернака, опубликованные в газетах.

Львом Толстым Пастернак не стал. Эти люди, для которых Пастернак был больше чем поэтом, — остались дома. Пришли те, кому были дороги его стихи, главным образом стихи. У многих из карманов торчали сборники стихов Пастернака, как некие молитвенники, взятые на последние проводы. Эти молитвенники разворачивались, раскрывались на знакомых местах:

О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют.

Великая сосредоточенность была в его посмертных чертах. На мертвых темной кожи щеках исчезли знакомые морщины. Лицо приняло другое выражение. Это было лицо человека, который сказал людям все, что хотел.

Публика на последние проводы пришла очень разная, отчетливо разная. Много было крестьян и крестьянок переделкинских, тех, что посещают любые похороны по русской деревенской традиции. Переводчик Андрей Сергеев (тот самый, которого через несколько лет в журнале «Иностранная литература» назвали Сергеем Андреевым) шептал: «Есть народ, настоящий народ, и это очень хорошо». Это были не те люди, которых хотел бы видеть за своим гробом Борис Леонидович (если такая фраза не звучит кошунственно).

Третья часть была людьми, для которых стихи Пастернака и его личность были (для их собственной жизни) чем-то важным, значительным. С его стихотворениями эти люди советовались как с евангельскими текстами и разлюбить поэта за его житейскую слабость, за нетвердость не могли. Многие

из этих людей писали стихи — Винокуров, Межиров, Боков, Корнилов, Петровых, Звягинцева — или прозу, как Паустовский, Казаков, Каверин. Или актерами. Весь Художественный театр был здесь; отнюдь не навязчиво, не демонстративно, просто Пастернак был их автор.

Были художники — Бродская и другие, литературоведы как Клюева и просто любители стихов — как Кастанльская. Для всех этих людей участие в похоронах, в последних проходах любимого поэта было делом совести, делом долга.

Кроме этих людей, было много писателей, приехавших из-за уважения в Пастернаку, но не потому, что требование души властно заставило их бросить все дела и приехать в Переделкино. Из «видных» писательских имен не было никого — ни Федина, ни Эренбурга, ни Леонова, не было, конечно, и руководящих представителей Союза писателей.

Наконец, четверть этой толпы, следовавшей за гробом, была любителями сенсаций, прибывшими на похороны в жадном ожидании какого-нибудь скандальчика или происшествия, если уж не политического, то личного. В числе этих любителей сенсации была и литературная молодежь институтская. Эта публика оттеснила всех пастернаковских друзей от могилы, куда был опушен гроб.

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста.

Было в нем что-то от эйнштейновского глубокого равнодушия к людям, известного правила писать рекомендательные письма всем, кто обращался к Эйнштейну.

Похвалы Пастернака были всегда неумеренны, но истин-

ный восторг испытывал он, лишь перечитывая собственные стихи.

Автографы, фотографии, книги дарились часто случайным людям, и Пастернак не давал себе труда разобраться, кто достоин его подарка, а кто — нет.

Когда актер Ливанов усомнился в философской ценности «Доктора Живаго», Б. А. чуть не поссорился с ним и отказал ему от дома. Я ставил этот роман высоко, писал большие разборы, хвалил напропалую, но речь рабочих в романе казалась мне лубком. Это было сказано вскользь, в большом письме, а Пастернак это запомнил, подчеркнул, что «упорствует в своих ошибках».

Может быть, было не равнодушие, а желание как можно больше «посеять».

Угнетающее впечатление производила манера хвалить в лицо и ругать за глаза. Луговскому, которого Пастернак не считал поэтом, в лицо Б. А. говорил только комплименты, общие фразы.

В автобиографии (второй) при перечислении (в конце) поэтов, которых Пастернак считает достойными этого звания, встречаются фамилии Симонова и Мартынова, которых не было в первоначальном тексте автобиографии и которые внесены «по просьбе знакомых» (?).

До нашей личной встречи я считал его богом, пророком, по крайней мере. Ни богом, ни пророком он не был.

Вокруг него всегда был закручен комок чьих-то личных интриг.

«Вас будут печатать тогда, когда меня будут свободно печатать». Он не то что не хотел сделать что-нибудь для дру-

гого, а не умел, не знал, как подступить, кому написать. И, как Эйнштейн, писал «по просьбе».

Б. Л. написал в Литературный институт, что я могу заметить его по части лекций в институте — все это было несерьезно, по-ребячески.

Это был человек, живой человек, благодаря которому я не утратил веры в поэзию, живой человек, о встрече с которым я когда-то мечтал, человек, которому я послал плохие стихи, написанные на обрывках бумаги, тайком от конвоя, от надзирателей, от товарищей. И не стыд, не поэтическая скромность заставляли меня таиться, а страх за собственную жизнь, боязнь доноса, боязнь «дела». Где уж тут было править стихи! Да и стихи ли были в этих двух лагерных тетрадках, увезенных на самолете едушим в отпуск знакомым врачом. Отправленные тогда, когда надежд на возвращение, на то, что я умру не на Колыме, не было. В 1951 году, когда я освободился, с Колымы не выпускали бывших заключенных, да еще с моей статьей. Я написал записку, посылая тетради: «Это единственная возможность для меня свидетельства моего бесконечного уважения и любви к человеку, стихами которого я жил двадцать лет». Это было истинной правдой. С необычайным волнением переступил я порог квартиры в Лаврушинском. Но я понимал и другое — что и я по-своему интересен для Пастернака, что то представление, которое создалось у него по письмам, он хотел бы проверить личной встречей — настоящее ли это?

Я был человеком из ада, первым вернувшимся «оттуда» человеком поэтического строя и хоть изломанной, но живой души. Но я надумал уже после. Прошло два года со времени начала нашей переписки, я привез ему синюю тетрадь новых

моих стихов, которые удалось написать, быть может, лучше, чем то, что было знакомо ему ранее. Я протянул ему тетрадь, он взял ее и отнес в другую комнату. А этой же ночью, когда я ушел домой, он позвонил сестре жены — что синяя тетрадь — настоящие стихи, что он поздравляет меня.

Моральный авторитет, чаша святого Грааля — дело хрупкое. Он копится по капле всю жизнь, а остутился — и разбилась чаша. Вот почему не надо было писать этих «покаянных» писем — увеличивать столь знакомый российскому обывателю по 30-м годам жанр.

Поэт и современники — интереснейшая тема. Здесь и Гейне — провокатор, и Некрасов, которому не подавали рук Тургенев, А. К. Толстой, Л. Н. Толстой, и Герцен, и Салтыков-Щедрин на руках Иоанна Кронштадтского. Оценка современников всегда особая, отличная от потомков. Моральной стороне жизни отдается много внимания. Человеческие качества оцениваются строже.

Плаш героя, пророка и бога был Пастернаку не по плечу.

Он не читал моих стихов, то есть читал только «ранние».

И не знал стихотворений, когда моя дорога уже определилась.

Если помнить, что возраст лагерный — особого рода, что лагерное время «не считается», то Пастернак знал именно мои ранние стихи, не вышедшие из круга подражания, чужого примера.

В записке не было никакого преувеличения. Пастернак был тем поэтом, каждое слово которого было для меня дорого. Первая встреча еще в 1926 году с книгой «Сестра моя жизнь» читалась в Ленинской библиотеке, навсегда соединила мои интересы в поэзии с именем Пастернака. «Лейтенант Шмидт» был

второй книгой, с которой я познакомился. Потом был «Близнец в тучах», и «Второе рождение», и «Темы и вариации».

Пастернак давно перестал быть для меня только поэтом. Он был совестью моего поколения, наследником Льва Толстого. Русская интеллигенция искала у него решения всех вопросов времени, гордилась его нравственной твердостью, его творческой силой. Я всегда считал, считаю и сейчас, что в жизни должны быть такие люди, живые люди, наши современники, которым мы могли бы верить, чей нравственный авторитет был бы безграничен. И это обязательно должны быть наши соседи. Тогда нам легче жить, легче сохранять веру в человека. Эта человеческая потребность рождает религию живых будд. Таким человеком был для меня Пастернак.

1960-е годы

Вставная новелла¹

Я могу написать этот рассказ гораздо лучше, чем я его пишу. И не спешка вынуждает меня держаться не очень строгой манеры. Я хочу, чтобы каждое слово этой вставной новеллы дошло до ушей Глеба Гусяка² в не искаженном моим и его мозгом виде, в наиболее понятной, не допускающей лжетолкований форме.

«Сколько лет я тебя не видел? Пять? Шесть?» — подумал Горданов, пропуская Гусяка в узкую дверь своего нового жилья, куда, казалось, не могла пробраться ни одна земная тварь — ни крыса, ни мышь, ни паук.

— Мы не виделись восемь лет, — сказал Гусяк, выставляя вперед, как шиток, свою жирную ладошку. — Ты плохо принимал меня последний раз — не подарил ни одной книж-

¹ Впервые: ЛГ, 1993, 8 октября.

² Настоящая фамилия — Борис Николаевич Лесняк, знакомый В. Т. Шаламова по больнице Беличьей, где Б. Н. Лесняк был фельдшером.

ки своей, не снабдил никакой информацией, так нужной мне в моей глуши. Я, признаться, был обижен — ведь наши отношения... Но потом я думал, думал и придумал. Я понял, что ты занят каким-то важным секретным делом, куда для меня нет доступа. И тогда успокоился.

«Член ЦК, — тоскливо подумал Горданов. — Опять член ЦК». В словаре гордановском с юности существовало выражение «член ЦК», нечто вроде модной идиомы, когда людям воздавалась честь, им не принадлежащая, под шумный шепот окружающих...

«Член ЦК» — это и есть слух, одна из моделей «холодной войны».

Услышав, что дело течет по знакомому руслу, где можно предсказать любой поворот, любой перепад в неудержимости потока, Горданов хотел прекратить этот разговор.

— Это все?

— Нет, не все! Весной этого года меня вызывали и допрашивали по поводу твоих рассказов.

— Но ведь мои рассказы есть во всех редакциях, во всех издательствах, и не одной Москвы. Я впервые за семнадцать лет, что прожил в Москве, сталкиваюсь с такой самодеятельностью, чисто художественной самодеятельностью, местным следовательским творчеством. Ввиду ошеломительности известия, важности вопроса, принципиальности его прошу рассказать мне все подробно и подряд.

25 мая 1972 года магаданский бывший зэк Глеб Гусяк получил неприятный вызов. Гусяк решил встретить судьбу лицом к лицу и храбро отправился туда, куда его вызывали и где он не бывал более тридцати лет,

На крыльце учреждения, куда его вызывали, мелькнула

знакомая Гусялку женская фигура и не только махнула, а как бы сделала ручкой. Встревоженный, вошел Гусяк в дверь учреждения, порядки в котором, как он слышал от многих знакомых, здорово изменились. Это внутреннее сознание изменившихся порядков и поддерживало дух экономиста, выдавшего и тридцать седьмой, и тридцать восьмой год на Колыме.

Поправив галстук, он вошел в кабинет. Кабинет был открыт, окна распахнуты. День был солнечный, для Магадана это редкость, и все ловят эти лучи — и следователи и подсудимые. Солнце било через плечо следователя, как сильная лампа, прямо в глаза Гусяка. Гусяк сощурился и отодвинулся.

— Значит, это вы и есть Гусяк, Глеб Гусяк, — с видимым интересом сказал следователь.

— Да, это я.

— Тогда мне придется сначала закончить официальную часть. — Следователь подвинул к себе бланк допроса, авто-ручку: — Фамилия?

— Ну, я могу побеседовать и без записи.

— Нет, нет, память человека — шаткая вещь, а мы — люди официальные. Не откажите в любезности начать все с самого начала.

В животе Гусяка что-то забурчало, и он, отвечая на анкету, все пытался уловить момент начала настоящего допроса, какого-нибудь сверхтайного удара из-за частотола анкетных данных. Но анкетное колесо катилось обычным порядком, не убыстряя и не замедляя свои обороты. Все было записано и доведено до нынешнего утра в этой истории болезни.

— Скажите, вы хозяин литературного салона в Магадане?

— Салона?

— Ну да, вроде парихмахерской, где обмениваются новостями, читают газеты, обсуждают литературные новинки, знакомятся с метеосводкой Би-би-си.

— У меня действительно бывают люди, обмениваются новостями, литературными новинками. Ведь это не запрещено?

— Отнюдь. Весь вопрос, с какими целями существуют эти салоны и какие новости там обсуждают.

— Но ведь в Москве и Ленинграде есть такие, почти официальные.

— Все дело в этом «почти», — сказал следователь, — но я не работник Москвы, я отвечаю только за Магадан. За то, что читается в Магадане.

— У меня нет ничего недозволенного.

— Надеюсь. Вот у меня только что была гражданка, с которой вы поздоровались на моем крыльце. Вот ее допрос. У нее найдены рассказы московского автора под названием «Колымские рассказы». Я прочел их внимательно. Колыма — моя служба. Ничего в этих рассказах нет, чего бы не признавало правительство, а стало быть, и я. Там есть только один рассказ, который я считаю измышлением досужего пера. Это рассказ о том, как лошадь посадили в карьер.

— «Калигула»?

— Совершенно верно.

— Если даже это и неправда, товарищ следователь, — медленно, смакуя заранее взвешенную фразу, выговорил Гусяк, — то ведь это не моя вина, а автора.

— Конечно, я так, к слову. Ну, какие бы ни были рассказы этого автора, гражданка, которая встретила с вами на моем крыльце, сказала, а я записал ее слова, что она получила эти рассказы от вас для распространения. Вот, подпишите здесь и можете быть свободны.

— Я никогда не подпишу этой клеветы на себя, этой возмутительной лжи, которой...

— В чем тут ложь, не пойму, — сказал следователь.

— Я никогда не давал ей этих рассказов для распространения.

— Но вы давали эти рассказы?

— Давал.

— Ну, так в чем же дело?

— Я давал для прочтения, а не для распространения.

— Ах, вот в чем дело, — холодно сказал следователь. — Я исправляю в вашем присутствии: для прочтения. Теперь подпишите.

— Подписываю. В этом деле надо следить за всякой тонкостью, за всяким опасным оборотом речи. Мой тридцатилетний опыт говорит...

— Безусловно. Теперь перейдем ко второй части нашего знакомства. Вы ведь собираетесь лететь в отпуск?

— Да, в последний годовой отпуск.

— Москву, конечно, будете проезжать? Скажите мне, — Чарусов откинулся на кресле, пропуская солнце, бившее из-за его спины, прямо в лицо Гусяка. — Скажите, зачем вы это делаете? Ну, показываете эти рассказы о том, что было в тридцать седьмом году? Ну, автор их хочет попасть в историю, а вы-то размножаете их зачем?

— Я — не размножаю.

— Ну, показываете, обсуждаете, ведь ничего этого нет сейчас. Вы объехали вдоль и поперек всю Колыму, ведь ничего подобного нет.

— На всякий случай.

— На какой случай?

— Ну, чтобы все это не повторилось.

— Ах, вот что. Вы считаете, что распространение таких рассказов...

— Я не распространял таких рассказов.

— Ну, хорошо — чтение. Вы считаете, что чтение таких рассказов...

— Да, я верю в Литературу с большой буквы.

— Вы, наверное, пользуетесь его личным доверием?

— Безусловно, — сказал Гусяк.

— Вот-вот. Только нам не нужна ни пейзажная лирика, ни мертвая вода. Нам нужно нечто более гражданственное, более реалистическое. Например, где, когда, сколько договоров им подписано, цифры, даты, записывайте все, чтобы нам потом вас не проверять. Это — элементарно на вашем новом поприще. На что он живет?

— На пенсию.

— Сколько?

— Семьдесят два рубля в месяц.

— На эти деньги жить нельзя. Поэтому сугубое внимание, а мы его оформим сразу как тунеядца, если его годовой заработок, баланс, будет не в его пользу. Вы поняли меня?

— Понял.

— Я считаю вас советским человеком, который сам отдаст в руки то, что, по его мнению, может представлять интерес для такого учреждения, как наше. Сейчас мы с вами

пойдем в вашу квартиру, и вы отдадите своей рукой все, что считаете вредным. Кстати, немножко прояснилось, и я с удовольствием пройду пешком. Редко приходится бывать на улице...

— Я не буду входить к вам, — сказал следователь, не вешая плаша и стоя у порога, весьма невнимательно оглядывая помещение местного литературного салона. — Вы сами, своей рукой достаньте из своих тайников, — следователь улыбнулся, — то, что вы считаете сами наиболее зловредным для советской власти.

— Вот. — Гусяк протянул две книжечки стихов и несколько листков, напечатанных на машинке.

— Весьма лестные надписи, — сказал следователь, укладывая сборники в свой портфель.

— Этот человек мне лично многое обещал.

— Тем лучше.

— Вот так ты и назвал мою фамилию.

— Это не я, это она, эта подлая растлительница душ, я только подтвердил.

Горданов смотрел на Гусяка не с удивлением, а с омерзением, ему так хотелось, чтоб хоть один человек, прошедший Колыму, остался человеком. А впрочем, это было ребяческое желание. В самых глубинных слоях его мира, воспитанных опытом, его опытом, не было места для таких надежд.

— Так что тебе нужно от меня?

— Мне нужно, чтобы ты подтвердил, ты ли мне лично давал эти четыре рассказа.

Гусяк чуть не плакал, голос его дрожал.

— Все это правда, правда.

— Ты не откажешься от своих слов?

— Да, конечно.

Гусяк перевел дыхание.

— Значит, я могу записать, — в руках Гусяка оказалась новая записная книжечка, — склероз, брат, записать, что ты лично мне давал эти рассказы.

— Конечно.

— Спасибо.

Рукопожатие чуть не привело к уловлению руки, но Горданов вывернул руку.

— Еще что?

— Понимаешь, мне следователь сказал, чтобы я записал все твои заработки за последний год. Я, помню, видел у тебя, ты нес какую-то рукопись в издательство.

— Мои переводы в Алма-Ате.

— И договор есть?

— Да.

— Позволь мне записать его номер, мне это очень важно.

Горданов открыл папку своих договоров.

— Еще что?

— Ну, прощай, ты меня просто спас.

Горданов хотел добавить еще несколько слов, но Гусяк выскользнул на лестницу.

1972 г.

Неотправленное письмо (Солженицын)

Записи В. Т. Шаламова о Солженицыне многочисленны, хотя и не составляют единой рукописи. Фрагменты их имеются в «толстых тетрадах» Шаламова, где записывались в основном стихи, но также и размышления, реплики на различные публикации и т. п. Есть черновые наброски, отдельные фрагменты переписаны на бейло, листы их пронумерованы автором. (Кстати, таков фрагмент, касающийся советов Солженицына о необходимости религии для Запада¹.)

Отдельная тетрадь с заглавием на обложке «Солженицын» содержит неотправленное письмо Солженицыну, которое датируется 1972—1974 гг. Письмо это является ответом на высказывание Солженицына в его книге «Бодался теленок с дубом»: «Варлам

¹ Знамя. 1995. № 6. С. 143—144.

Шаламов умер». Так отреагировал Солженицын на письмо Шаламова в «Литературную газету» (ЛГ, 23.02.72).

Некоторые записи В. Т. Шаламова, опубликованные мною в «Знамени» (1995, № 6), вызвали вспышку раздражения Солженицына (Новый мир, 1999, № 4, 9).

Странно, что этот человек, все получивший при жизни — славу, государственные почести, семью, поклонников, деньги, полностью, кажется, реализовавший свой творческий потенциал, — не обрел в старости покой, но сохранил такую агрессивность и не нашел лучшего объекта, чем Варлам Шаламов, ни единой строкой своих рассказов и стихов не солгавший, не «облегчавший» их ради «прорыва» и в угоду «верховным мужикам».

Да еще и в «зависти» Шаламова упрекает этот олигарх от литературы! Нет, не тот строй душевный был у В. Т., чтобы унижаться до зависти. Презирать, ненавидеть — мог, завидовать — нет.

Ничего не имел при жизни Шаламов — ни признания, ни здоровья, ни семьи, ни друзей, ни денег...

Но был ему дан самый ценный дар — мощный талант, беспредельная преданность искусству и нравственная твердость.

И дружество и вражество,
Пока стихи со мной,
И нищенство и княжество
Ценю ценой одной.

Он «никого не предал, не забыл, не простил, на чужой крови не ловчил», он написал «Колымские рассказы», великую прозу XX века.

И. П. Сиротинская

Беловой фрагмент записей

— Для Америки, — быстро и наставительно говорил мой новый знакомый¹, — герой должен быть религиозным. Там даже законы есть насчет [этого], поэтому ни один книгоиздатель американский не возьмет ни одного переводного рассказа, где герой — атеист, или просто скептик, или сомневающийся.

— А Джефферсон, автор Декларации?

— Ну, когда это было. А сейчас я просмотрел бегло несколько Ваших рассказов. Нет нигде, чтобы герой был верующим. Поэтому, — мягко шелестел голос, — в Америку посылать этого не надо, но не только. Вот я хотел показать в «Новом мире» Ваши «Очерки преступного мира». Там сказано, что взрыв преступности был связан с разгромом кулачества у нас в стране — Александр Трифонович не любит слова «кулак». Поэтому я все, все, что напоминает о кулаках, вычеркнул из Ваших рукописей, Варлам Тихонович, для пользы дела.

¹ В. Т. Шаламов и А. И. Солженицын познакомились в редакции «Нового мира» в 1962 году. Начало 60-х годов — недолгий период вполне официальных успехов А. И. Солженицына вплоть до выдвижения его на Государственную премию СССР в 1964 году. Его стратегия на завоевание доверия у «верховного мужика» приносила реальные плоды. Варламу Тихоновичу, с его полной неспособностью на стратегические и тактические свершения, все это было антипатично, и он не раз с тех пор называл А. И. Солженицына «дельцом».

Книги В. Шаламова «Колымские рассказы» (1980) и «Графит» (1981) изданы в Америке и были высоко оценены критикой. Естественно, автору никто не ставил в упрек, что его герой — неверующий. Но книги А. Солженицына дошли до американского читателя первыми.

Небольшие пальчики моего нового знакомого быстро перебирали машинописные страницы.

— Я даже удивлен, как это Вы... И не верить в Бога!

— У меня нет потребности в такой гипотезе, как у Вольтера.

— Ну, после Вольтера была Вторая мировая война.

— Тем более.

— Да дело даже не в Боге. Писатель должен говорить языком большой христианской культуры, все равно — эллин он или иудей. Только тогда он может добиться успеха на Западе.

Колыма была сталинским лагерем уничтожения, все ее особенности я испытал сам. Я никогда не мог представить, что может в двадцатом столетии [появиться] художник, который [может] собрать воспоминания в личных целях.

Почему я не считаю возможным личное мое сотрудничество с Солженицыным?

Прежде всего потому, что я надеюсь сказать свое личное слово в русской прозе, а не появиться в тени такого, в общем-то, дельца, как Солженицын. Свои собственные работы в прозе я считаю неизмеримо более важными для страны, чем все стихи и романы Солженицына.

1963 г.

Записи в отдельных тетрадах

30 мая после получения письма¹ дал телеграмму и стал ждать 2-го в воскресенье приезда.

2 июня. Солженицын. Рассказ «Для пользы дела».

— Я считаю Вас моей совестью и прошу посмотреть, не сделал ли я чего-нибудь помимо воли, что может быть истолковано, как малодушие, приспособленчество.

Пьеса «Олень и Шалашовка» задержана по моей инициативе. Театр (Ефремов) настаивал, чтоб дал в театр читать, чтобы понемногу готовить, но я отказался наотрез. Я написал две пьесы («Олень и Шалашовка» и «Свеча на ветру»), роман, киносценарий «Восстание в лагере»².

Получил огромное количество писем. Написал пятьсот ответов. Вот два — одно какого-то вохровца, ругательное за «Ивана Денисовича», другое горячее, в зашиту. Были письма от з/к, которые писали, что начальство лагеря не выдает «Роман-газету». Вмешательство через Верховный Суд. В Верховном Суде несколько месяцев назад я выступал. Это — единственное исключение (да еще вечер в рязанской школе в прошлом году). Верховный Суд включил меня в какое-то общество по наблюдению жизни в лагерях, но я отказался. Вторая пьеса («Свеча на ветру») будет читана в Малом театре.

А. Солженицын. 26 июля 1963 года. Приехал из Ленинграда, где месяц работал в архивах над новым своим романом. Сейчас — в Рязань, в велосипедную поездку (Ясная По-

¹ Письмо А. И. Солженицына от 28.05.63 о его приезде в Москву.

² Киносценарий «Знают истину танки».

ляна и дальше вдоль рек), вместе с Натальей Алексеевной¹. Бодр, полон планов. «Работаю по двенадцать часов в день». «Для пользы дела» идет в седьмом номере «Нового мира». Были исправления незначительные, но неприятные. За границей об «Иване Денисовиче» писали много, английские статьи (до 40) читал со словарем. Разных позиций, самых разных. И то, что это «одна политика» (перевод «Ивана Денисовича» был посредственный, тональность исчезла), и то, что это «начало правды», большой творческий успех. Весь мир переводил, кроме ГДР, где Ульбрихт запретил публикацию.

«Новый мир». Твардовский расположен. Члены редакции остались к Солженицыну безразличны, как и писатели!

— Хотел писать о лагере, но после Ваших рассказов думаю, что не надо. Ведь опыт мой, четырех по существу лет (четыре года благополучной жизни).

Сообщил свою точку зрения на то, что писатель не должен слишком хорошо знать материал.

Разговор о Чехове.

Я: — Чехов всю жизнь хотел и не мог, не умел написать роман. «Скучная история», «Моя жизнь», «Рассказ неизвестного человека» — все это попытки написать роман. Это потому, что Чехов умел писать только не отрываясь, а безотрывно можно написать только рассказ, а не роман.

Солженицын: — Причина, мне кажется, лежит глубже. В Чехове не было устремления ввысь, что обязательно для романиста — Достоевский, Толстой.

¹ Решетовская Наталья Алексеевна, первая жена А. И. Солженицына.

Разговор о Чехове на этом кончился, и я только после вспомнил, что Боборыкин, Шеллер-Михайлов легко писали огромные романы без всякого взлета ввысь.

Солженицын: — Стихи, которые я привозил печатать («Невеселая повесть в стихах») — это доведенные до кондиции выборки из большой поэмы, там есть хорошие, как мне кажется, места.

Приглашал на сентябрь в Рязань для отдыха.

Фрагменты беловых записей

Символ «прогрессивного человечества» — внутрипарламентской оппозиции, которую хочет возглавить Солженицын — это трояк¹, носитель той миссии в борьбе с советской властью. Если этот трояк и не приведет к немедленному восстанию на всей территории СССР, то дает ему право спрашивать:

— А почему у писателя Н. герой не верит в Бога? Я давал трояк, и вдруг...

Чем дешевле был «прием», тем больший он имел успех. Вот в чем трагедия нашей жизни. Это стремление к заурядности, как реакция на войну (все равно — выигранную или проигранную).

¹ В. Т. Шаламов считал наибольшей ценностью жизни независимость, поэтому категорически отказывался всегда от собранных прогрессивной интеллигенцией денег на помощь опальным, как принято было тогда.

— При ваших стремлениях пророческого рода денег-то брать нельзя, это Вам надо знать заранее.

— Я немного взял...

Вот буквальный ответ, позорный.

Я хотел рассказать старый анекдот о невинной девушке, ребенок которой так мало пишал, что даже не мог считаться ребенком. Можно считать, что его не было.

В этом вопросе нет много и мало, это — качественная реакция. И совести нашей, как адепта [Бога] [нрзб.].

Но передо мной сияло привлекательное круглое лицо.

— Я буду Вас просить — деньги, конечно, [нрзб.] идут не из-за границы.

Я не встречался с Солженицыным после Солотчи.

1962—1964 годы

В одно из своих [нрзб.] чтений в заключение Солженицын коснулся и моих рассказов.

— «Колымские рассказы»... Да, читал. Шаламов считает меня лакировщиком. А я думаю, что правда на половине дороги между мной и Шаламовым.

Я считаю Солженицына не лакировщиком, а человеком, который не достоин прикоснуться к такому вопросу, как Колыма.

1960-е годы

Из тетради 1966 г.

Большая литература создается без болельщиков.

Я пишу не для того, чтобы описанное — не повторилось. Так не бывает, да и опыт наш не нужен никому.

Я пишу для того, чтобы люди знали, что пишутся такие рассказы, и сами решились на какой-либо достойный поступок — не в смысле рассказа, а в чем угодно, в каком-то маленьком плюсе.

«Учительной» силы у искусства никакой нет. Искусство не облагораживает, не «улучшает».

Но искусство требует соответствия действия и сказанного слова, и живой пример может убедить [живых] к повторению — не в области искусства, а в любом деле. Вот какие нравственные задачи ставить, — не более.

Учить людей нельзя. Учить людей — это оскорбление.

Из тетради 1970 г.

Одно из резких расхождений между мной и Солженицыным в принципиальном. В лагерной теме не может быть места истерике. Истерика для комедии, для смеха, юмора.

Ха-ха-ха. Фокстрот — «Освенцим». Блюз — «Серпантинная».

Мир мал, но мало не только актеров, — мало зрителей.

Из тетради 1971 г.

С Пастернаком, Эренбургом, с Мандельштам мне было легко говорить потому, что они хорошо понимали, в чем тут дело. А с таким лицом, как Солженицын, я вижу, что он просто не понимает, о чем идет речь.

Деятельность Солженицына — это деятельность дельца, направленная на узко личные успехи со всеми провокационными аксессуарами подобной деятельности.

Неописанная, невыполненная часть моей работы огромна. Это описание состояния, процесса — как легко человеку забыть о том, что он человек. Так утрачивают добро и без какого-либо [вступления] в борьбу сил, что всплывает, а что тонет.

Запись в отдельной тетради «Солженицын»

Неотправленное письмо

Я охотно принимаю Вашу похоронную шутку насчет моей смерти и с гордостью считаю себя первой жертвой холодной войны, павшей от Вашей руки.

Если уж для выстрела по мне потребовался такой артиллерист, как Вы, — жалею боевых артиллеристов.

Но ссылка на «Литературную газету» не может быть удовлетворительной и дать смертный [приговор]. Дают его стихи или проза.

Я действительно умер для Вас и таких друзей, но не тогда, когда «Литгазета» опубликовала мое письмо, а раньше — в сентябре 1966 года.

И умер для Вас я не в Москве, а в Солотче¹, где гостил у

¹ В Солотче Шаламов гостил у Солженицына в 1963 г.

Вас всего два дня. Я бежал в Москву... от Вас, сославшись на внезапную болезнь...

Что меня поразило в Вас — Вы писали так жадно, как будто век не ели и [нрзб.] было похоже — разве что на глотание в Москве кофе...

Я подумал, что писатели [нрзб.] разные, но объяснил Вам методы своей работы.

— Вы знаете, как надо писать. Я нахожу человека и описываю его, и все.

Этот ответ просто вне искусства...

Оказалось, главная цель приглашения меня в Солотчу не просто работать, не скрасить мой отдых, а — «узнать Ваш секрет».

Дело в том, что кроме «превосходных романов, отличных повестей, со стихами — плохо».

Вы [их] написали невообразимое количество, просто горы. Вот эти-то стихи мне и довелось почитать в Солотче еще две ночи, пока на третье утро я не сошел с ума от этого графоманского бреда, голодный добрался до вокзала и уехал в Москву...

Тут я должен сделать небольшое отступление, чтобы Вы поняли, о чем я говорю.

Поэзия — это особый мир, находящийся дальше от художественной прозы, чем, например, [статья] от истории.

Проза — это одно, поэзия — это совсем другое. Эти центры и в мозгу располагаются в разных местах. Стихи рождаются по другим законам — не тогда и не там, где проза. В поэме Вашей не было стихов.

Конечно, отдавать свои вещи в руки профана я не захо-

тел. Я сказал Вам, что за границу я не дам ничего — это не мои пути, какой я есть, каким пробыл в лагере.

Я пробыл там четырнадцать лет, потом — Солженицыну?.. Колыма была сталинским лагерем уничтожения, и все ее особенности я скажу сам. Я никогда не мог представить, что может быть после XX съезда партии человек, который собирает [воспоминания] в личных целях... Главный опыт, которым я живу 67 лет, опыт этот — «не учи ближнего своего».

О работе пророка я тогда же Вам говорил, что «денег тут брать нельзя» — ни в какой форме, ни в подарок, ни за <слово>.

Я считаю себя обязанным не Богу, а совести и не нарушу своего слова, несмотря на особые выстрелы пиротехнического характера.

Я не историк. Свои сборники почитаю ответом. Я не умер, для меня честнее рассказы, стихотворения... Я буду художником. Мне дорога форма вещи, содержание, понятое через форму.

Вы никогда ничего не получите.

И еще одна претензия есть к Вам, как к представителю прогрессивного человечества, от имени которого Вы так денно и ношно кричите о религии громко: «Я верю в Бога! Я религиозный человек!» Это просто бессовестно. Как-нибудь тише все это надо Вам...

Я, разумеется, Вас не учу, мне кажется, что Вы так громко кричите о религии, потому что это будит внимание к Вам и выйдет у Вас <заработанный> результат.

Кстати — это еще не все в жизни.

Я знаю точно — Пастернак был жертвой холодной войны, Вы — ее орудием.

«Вы моя совесть»¹. Разум. Я все это считаю бредом. Я не могу быть ничьей совестью, кроме своей.

1972—1974 годы

Беловая запись

Пастернак был поэт мирового значения, и ставить его на один уровень с Солженицыным нельзя. Конечно, если кто-нибудь из них (Пастернак, Солженицын) заслужил, выбежал, выкричал эту премию — то это, конечно, Солженицын.

Издевательство над русской литературой было допущено вполне сознательно. Кто там разберет в переводе — Шекспир это или нуль. Так важен тут момент чужого языка.

1974 г.

¹ См. запись от 30 мая 1963 г.

Содержание

Несколько моих жизней	3
Рассказы о детстве	13
Двадцатые годы	20
Москва 20-х годов	110
Бутырская тюрьма (1929 год)	132
Москва 30-х годов	139
Герман Хохлов	144
Воспоминания (о Колыме)	150
Берзин	261
Несколько слов о Хренове	276
Павел Васильев	280
Александр Константинович Воронский	285
Разговор с Михаилом Светловым	301
Вечер памяти О. Э. Мандельштама	304
Пастернак	316
Вставная новелла	360
Неотправленное письмо (Солженицын)	368

Литературно-художественное издание

Варлам Тихонович Шаламов

ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор *П. Е. Бронер*
Художественный редактор *О. Н. Адашкина*
Технический редактор *Н. В. Сидорова*
Корректор *Т. И. Радина*

Сдано в набор 23.02.2000. Подписано в печать 14.11.2000.

Формат 84×108^{1/2}. Гарнитура «Оптимa».

Усл. печ. л. 20,16.

Тираж 5000 экз. Заказ № 2202.

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Гигиеническое заключение
№ 77.99.14.953.П.12850.7.00 от 14.07.2000

ООО «Издательство «Олимп»
Изд. лиц. ЛР № 065910 от 18.05.98.
129085, Москва, пр. Ольминского, д. 3а, стр. 3
E-mail: olimpus@dol.ru

ООО «Издательство Астрель»
Изд. лиц. ЛР № 066647 от 07.06.99.
143900, Московская обл., г. Балашиха,
пр-т Ленина, д. 81

ООО «Издательство АСТ».
Изд. лиц. ИД № 02694 от 30.08.2000
674460, Читинская обл., Агинский р-н,
п. Агинское, ул. Базара Ринчино, д. 84
www.ast.ru
E-mail: astpub@aha.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в типографии издательства
«Самарский Дом печати»
443086, г. Самара, пр. К. Маркса, 201.

Качество печати соответствует предоставленным диапозитивам.



Варлам ШАЛАМОВ

Варлам Шаламов – замечательный русский поэт и прозаик. Трагичность судьбы В.Шаламова определила биографию Шаламова-художника. Его творчество – истинный памятник мученикам Колымы, «реквием по погибшим». Материалы этой книги – яркая и точная летопись зловешей «красной империи» XX века.

ВПЕРВЫЕ публикуем «Воспоминания» Варлама Шаламова.

«... У Шаламова не было ни одной конъюнктурной строки. Он не написал ни одной вещи против совести. Варлам Тихонович просто не хотел участвовать в играх с его именем – в играх политического свойства».

Ю.Шрейдер